

ЮН



1994



В номере:

"ТАЙНА
ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА I" -
историческая книга
Льва Любимова.
Неизвестная повесть
Дмитрия Рахманова
"ХУДОЖНИК И
МАСКИ".

Начало криминальной
игры "ОТРАВЛЕННАЯ
ПЕШКА".

20-я комната:
"ЯЩИЧКИ НА ГРУДИ
ВЕНЕРЫ".

Юмор Константина
Мелихана.

ТЪ



Дмитрий АБАЗА г. Москва.

Смотрите третью страницу нашей обложки.

Обыкновенный фетишизм. Холст, масло. 1991 г.

ЮНОСТЬ



94.
1⁽⁴⁶⁰⁾ 1994

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 ГОДА**

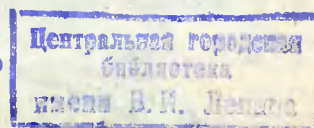
Редакционная коллегия:
главный редактор
Виктор ЛИПАТОВ

собкор по Уралу и Сибири
Юрий БЕЛИКОВ
заместитель главного редактора
Натан ЗЛОТНИКОВ
ответственный секретарь
Владимир КОЖЕМЯКИН
главный художник
Олег КОКИН
редактор отдела публицистики
Александр КОРМАШОВ
редактор отдела поэзии
Николай НОВИКОВ
редактор отдела прозы
Эмилия ПРОСКУРНИНА
руководитель литстудии
Юрий РЯШЕНЦЕВ
заместитель главного редактора
Юрий САДОВНИКОВ
редактор отдела сатиры и юмора
Александр ХОРТ

Редакционный совет:

Петр АЛЕШКОВСКИЙ
Геннадий ГОЛОВИН
Фазиль ИСКАНДЕР
Юрий КУБЛАНОВСКИЙ
Наум КОРЖАВИН
Александр ЛАВРИН
Валерия НАРБИКОВА
Булат ОКУДЖАВА
Игорь ОБРОСОВ
Владимир ОРЛОВ
Валерий ПРИЙМЕНКО
Евгений СИДОРОВ
Владимир СОКОЛОВ
Лев ТИМОФЕЕВ

Коммерческий директор Феликс МАЗУР



МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВЫЙ ГОД КАК СТРАНИЦУ НАДЕЖДЫ

Мы открываем этот год, 1994-й, как Год Человека. Потому что в пылу борьбы, столкновений, упорного деления на «белых» и «красных» мы забыли: жизнь дарована Богом, и только он волен распоряжаться ею. Политики предоставили право решать вопросы жизни и смерти случаю. Случай ходит по земле с окровавленным топором, сталкивает народы в братоубийственных войнах и выводит на улицы наших городов и сел молодчиков, вооруженных ножами и скорострельным оружием. Жизнь человека стала информационной строкой в сообщениях скачущих телекомментаторов, сообщающих, что в Абхазии, Грузии, Армении, Азербайджане, Чечено-Ингушетии погибло столько-то человек. А столько-то погибло на улицах российских городов от рук преступных мафиози. Погибло и погибло. И никого не интересует: почему гибнут люди, кто ответственный. Политики играют в свои игры. Политики, при правлении которых гибнут люди, должны немедленно уйти со своих постов в глубокое политическое небытие.

Так пусть 1994 год станет годом защиты права быть человеком.

Пусть охрана жизни человека станет незаблемым законом.

Пусть человек сумеет осуществить свое право на свободу, на хорошо оплачиваемый труд, на счастье, которое только он сам выбирает.

Пусть этот человек будет читателем нашего журнала; журнала, проповедующего любовь к человеку и любовь человека к великому Божественному дару, имя которому — жизнь.

Ирина Гусева

Юлия Скорощенко

ПОД ЕЛКОЙ

И — Новый год

И — Новый год. И вежды цвета беж у дам. И кавалеров коронарное кружение. И залпы пробковых головок, от одежд освобожденных. И умов брожение. И истины — залейся! И винительный падеж уже заметно изменяет тамаде по методу языкового погруженья. Стрелки шампанские приветствуют сближение супружниц-стрелок на часах. И сам мешочник-дед небрит, зато с иголки одет. И содержимое горла уже не удержит строй ни решки, ни орла. И серпантин к сему моменту со спагетти, похоже, путает голодная урла, И музыка, должно быть, умерла. Делец-слепец регенерирует маркетинг, и восклицательно подбывает клюка дарует ощущение каблук на попраином паркете. Лишь древу ведом путь от мысли до курка. Как та непоправимая река, предел мечтаний голубой аорты, так перспектива ширится, преодолев порог. И ночь темнее прежнего. И Бог за кадром, словно человек за бортом. Друзья привносят ласки, всплески рук, но тесен нам спасательный их круг. Их губы не чураются отменит на блюдах с полудохлою халвой, на звуках, что устали быть молвой, и лезут в душу, метя в междометья. И как утроба у трубы из меди, тускнеет прошлое, у древа блекнут кольца. Клюют аороны, как народовольцы, вредителей — усопшие харчи. И мартовские звонкие грачи — огонь в очах, что полымья в печи. И воронки, птенцы гнезда их плоть от плоти. И кулики на арендованном болоте... Сиди, школяр, историю учи. Узнаешь, как зеленая тоска родит в драконах миф о Ланцелоте. Как кайюшон на молнии-застежке скрывает жало мудрое змеи. И как собачью жизнь у нас встречают по одежке — по качеству дубленой кожи поводка. Как тигры ждут ударного броска, и даже крысы примеряют ласты... И — Новый год. И ноаый лик у власти. И холод у виска.

Москва



В оформлении поэзии
использованы рисунки
Ирины Гусевой

Карнавал

1

Закат в каналы бросил
По сгустку акварели,
И капли с легких весел
Чуть-чуть порозовели.

Потом аэтрами воздух
Тер небо что есть силы,
Покв в тяжелых звездах
Оно не проступило.

И мудрый Панталоне
Тотчас повесил луны:
Одну на небосклоне,
Одну в воде лагуны.

А третья где, квиалья?
Небось оставил в баре? —
Спросил его Тарталья,
Который был в ударе.

Был взгляд луны холодной
Вперед в рыбчьи спины —
Печальный и бесплотный,
Как сердце Коломбины.

2

Вода, блестящая, как мвсло.
Взвилась ракета и потвсла.

Летит еще одна — и хлоп!
А вот шипит их целый сноп.

Зажглись на водах павильоны
И звезд на небе квадрилоны.

А в улицах потоп огней,
Клубок кружащихся теней.

Вот донны, подобрав подолы,
Полезли в черные гондолы.

Шестом толкнулся гондольер —
В корсет уткнулся кавалер.

3

Как струны под смычком, все чувства в ней поют,
Взор увлажнен слезой, от зноя сизой...
«Придете ль наконец в мой призрачный уют,
В объятья нежности, прелестная Маркиз?»
В густой тени садов она нашла приют,
Глаза совсем мокры — от страсти или от брызг?
А мысли далеко, под парусом плывут
У Островов Любви, одетых пениной ризой.

Ее томит озиоб и мучит едкий стыд.
Ее, объятую их негой великой, —
Осудят смертные, в Бог простит.
Не здесь ли ты, Орфей, ждал встречи с Эвридикой?
Чу, гравий под ногой царя царей хрустит,
И вот пред нею Клерк с изысканной гвоздичкой.

4

Щеголевт и свеж, в тени стоит Маркиз,
И с ним — Поэт или Клерк. Он бледен, как бумага.
И выполняли бы любой ее каприз!
Любой, я говорю, а вы — любить, бедняга!
Вы, сумасшедший друг, влюбляетесь в маркиз:

Постель не повод, брвт, для этакого шнга,
Как дружеский пикник — для положенья риз! —
Вы нас хотите раз-лучить? — Звчем? Вот шнга! —
Скрестились сталь и сталь смертельнейшего часа.
Прямой укол Маркиз отбил наискосок.
Там — разъяренный взор, здесь — скучная гримаса.
Ах! Кажется, Маркиз попал ему в висок!
Тот падвет, увы. Взор мутен. На песок
Бежит брусничный сок — кровь мертвого паяса.

5

Нежнейшая из жен сошла в сннь водоема,
Оставив все, что мы покровами зовем.
Там бледное лицо китайским фонарем
Колеблется в воде беззвучно, невесома.
А муж на берегу в кустах стоит, при нем
Подзорная труба. С ним, наподобье гнома,
Какой-то волк морской, рвсчерченный резцом

В цветы заморские: он Моторист Парома.
Как зговоришки, вы шепчетесь вдвоем.
Глаза устремлены в хрустальный водоем.
Упорен тихий спор, но наконец сойдутся.
И радости Мвркиз: поставил ив своем.
Дает тому пять лир и пять иль шесть инструкций
И лишь тогда идет к беседке близ наsturдий.

6

На фоне неба высвечены ало
Дав литервторы у воли канала.
У стен палатко — в окнах нн свечи —
Два чудаков беседуют в ночи.
Их губы шевелятся, словно травы:
Мессир Гольдонн, вы кругом не правы.
И сонное бряцанье шпор и шнга:
Сор Карло Гоцци, вы пустой дурак.
А ветер стуквет охришпей ставией,
Как бы стушеванная спор сей давний.

Москва



Тимур Зульфикаров



Фото Леонида Шимановича

СВЕТЛЫЙ ВЕТЕР В НОЩЬ РОЖДЕСТВА

Поэма

В дни Рождества 1985 г.
написана в 4 дня.

Ты знаешь светлый ветер в Ночь Рождества?..
Теплый иерусалимский благовонный елейный
ветер с запахом дальних ливанских кедровых
мускусных смол?

Теплый неожиданный безумный светлый талый вол-
глый ветер среди ночных ледовых январских древнерус-
ских заснеженных спящих чудящих долов лесов холо-
мов холмов...

Зачем он?..

От него умирают задыхаются маются старые
и больные люди.

Но святая светлая смерть звезда в Ночь Рождества.
Да!..

Но зачем Господь насылает этот довременный
светлый нежный весновей волновей тепловей медовый
ветр среди ледовых лесов холмов полей?

Зачем?..

Это Господь посылает южный щедрый мятный
теплый ветер Богоблаженной Богородице Роженеце
среди русских ледяных холмов, чтобы Она не застуди-
ла не заморозила не повредила новорожденное Дитя...

Это Господь посылает теплый ветер как летучее
овечье одеяло милость плену на плечи рамена живо-
жемчужные Ея! Да... да... да!..

И тогда!..

И вот тогда юродивый блаженный Руси Тимофей-
Измигул а в Азии дервиш Ходжа Зульфикар нагохо-
дец пришел на Русь на Святой Сочельник.

...О Русь моя!.. как давно я не видал Тебя!.. О Русь
святая января! Снег летит ниспадает залепляет обнимает

оббивает тебя струится стремится неоглядно на тебя
Как льняная ледяная плащаница на распятого Христа
Ой Господь! несметна длань метель Твоя!..

Ужель и тут воля Твоя?

Гойда! Айда!.. И я бреду по немым предрожде-
ственным ночным деревьям переславль-залесским
предчуящим ворожающим холомам холмам!

Господь, где воля правда твоя?

Велика Русь, а правде нет в ней места! Ей-ей!.. да!..

На Руси правда — лишь тропка, а ложь — поле
неоглядное. Но в ненастье да в метель в поле без
тропки не обойтись... да?..

А метель несметна необорима расплескалась раз-
металась ныне...

А метель мне очи кочевые выдует выбьет выгонит
выест вынет... И тело стынет...

И было сало а стало мыло...

На Руси правда — собака цепная. Долго долго
лютю зло ее на цепи держали и держат. Ныне если
выпустишь ее — она с алчбы тоски слепоты маеты
туготы и неволи всех перекусает!

Да! да! да! Господь мой! Оле!

Да как же Ты дозволил?

Но лучше пусть правда укусит меня, чем ложь
оближет трупоядным лстывым необъятным неустан-
ным гнилым языком...

Ой Господь!

А любовь? А любовь на Руси нынешней? Кто она?
Вдова?

Если нет правды на Руси — нет и любви?

Если нет в колодце воды — зачем бадя на цепи?..

Ой Господь!

Ой метель в переславль-залесских холмах древне-
русских гуляет пляшет пьянит дурит поет метет несет!
Стои Господь!

Али меня в ночи метельной по холму иль над
холмом жемчужным несет уж как селезня гуся крыла-
того?

А где нынче гуси-лебеди над Русью? Куда их нынче
отнесло?

Али Господь?.. О!.. Ой!..

Я вспомнил.

Я пил из лесного осеннего ручья бегучего ледника
близ Семипалатинска-града.

И тут я наклонился над родником и тут что-то
колыхнулось раскололось полыхнуло во глуби нетро-
нутых вод. Словно там рыба белая прошла метнулась
зажглась.

Что-то полыхнуло в глубине вод вод вод.

Я поглядел на ясное небо.

Не было ни грозы ни молнии.

И я плеснул шатнул воззвал руками: Господь мой!
Что это?

И тут колыхнулась шатнулась пошла содрогнулась
вся земля твоя вся Русь Твоя Господь мой.

И тут я подъял очи кочевые свои очи блаженного
странника и увидел в небе осеннем перелетные стаи
гусей-лебедей и индийских скворцов.

Только стаи кружили в небе косо тревожно низко
и я вышел в поле семипалатинское и там птицы летели
близ головы моей и я трогал их руками и они мне
давались квелыми крылами мяклыми млявыми.

И тут я увидел что они слепые бредовые.

И очи их слепые невидящие.

Господь от какого огня ослепли они.

И их крылья рухлые слепые.

И они мне в руки в лицо тычутся птицы поднебесья
вышние а теперь земляные как мыши?

Всю жизнь я мечтал потрогать летящую птицу —
и вот потрогал...

И у них глаза белесые нелепые слепые как избы
малороссийские майские выбеленные

И слепые перелетные стаи летят не на юг, а на
север на погибель потому что они слепые низкие.

Господь мой! это от Бомбы атомной солнечной
лунной той от огня бесова столпа луча сатанинского
невиданного...

И я бежал от поля, а слепые стаи на север на
смерть не чуя не зная уходили, а иные стаи не могли
уж восстановить подъять взметнуть крылья и ползли
ттились по земле и их тучные мыши крысы заживо
грызли.

Господь ты был с птицей а стал с мышью? Господь
прости мне!

И тогда я подумал: Вслед за птицами пойдут попол-
зут в поле слепые человеки... И слепые мыши...

О Господь зачем мне бродить по Руси зачем мне
такбе видеть?

Господь я хочу быть слепой Твоей птицей осенней
летящей вместо спасительного юга на север гибель-
ный!..

Господь! В последние времена палых ползучих птиц
будут грызть мыши и крысы...

...На солнце на смерть на правду и на Бога твоего
во все глаза не поглядишь — ослепнешь...

Господь а невинные птицы глядели. И ослепли...



Е. М. Кустодиев. «Русская Венера»

Человече! Держи на Руси голову поклонну а серд-
це — покорно... Гойда! Айда!..

Да устал Господь мой.

Да устал русский человек раб илот червь смерд
птицей слепой лететь к смерти своей... Ей! Ей!.. Ей!
Гей! Гой!

Но Ношь Сочельника Святого окрест меня мя
Господь мой!

И метель несет меня с холма на холм!..

И Тимофей-Измигул заблудший дервиш Азьи был
в широком крестьянском черном бухарском чапане
и в белой кисейной чалме, а на ногах у него были
войлочные псковские валенки и метель наполняла
надувала рукава раздольного чапана и сам чапан и лез-
ла в валенки, и Тимофей простирали расставляли руки,
налитые летучим ветром, и как распятый огромный
тяжкий ворон суздальский парил перелетал с холма на
холм и не ломал ноги, ибо скользил по пуховому
богатуму снегу

Ой Господь!.. Летать по холмам хорошо светло в ночь Сочельника, а скоро Святое Христово Рождество! О...

То ли ветер, то ли метель, то ли сам Господь переносил переставлял его летучего с холма на холм, с холма на холм...

О Господь!.. В Твоих холомах русских вьюжных витать летать светло хорошо!.. И метель слепая шумная бездомная густая как сметана костромская несет меня Тимофея-Измигула с одного переславльского жемчужного перламутрового снежного сыпучего холма на другой холм...

О!.. О!.. Ой!..

Господь я заблудился! Тут где-то есть деревня Тотма-Пух и старинное Едрово-Голь-Большее село.

И там озеро Едрово где уж третью переставит задыхается уже налим последний святой

О!.. Где оно?..

И летит скользит по метельным крутым холмам кругам Тимофей-Измигул последний Руси скомрах цыган калика странник изгнанник дервиш Азии дальней...

О Господь пожалей помилуй укроти метель свою! Я ведь зад свой нищий костлявый гладный хладный сотру измну кочуя витая упавая от холма к холму...

И тут Господь словно услышал жалобу мою.

И стала метель и я стал на каком-то безымянном сыпучем холме устав летать и ушли тучи-снега и вышли высыпали в небеса тихие ясные Плеяды Стожары Волосажары

И враз ночь стала звездиста огниста

На Рождество Христово метель — пчелы хорошо роиться будут

Небо звездисто — урожай на горох

А коли звездисто и стожар горит — иди смело на медведя...

Так на Руси говорится!

И тут Тимофей сразу с холма увидел село Едрово-Голь в ночи ясной звездистой и в животе его голодном запело заурчало словно он богатого того будущего звездного гороха наелся набрался в поле щедром.

И Тимофей пошел по свежему пуховому снегу к селу и там все избы темные непробудные колодезные стояли хотя Ночь Сочельника была но в избах смутно бездонно спали безбожники русичи беспамятные

И Тимофей-Измигул сойдя с небес сойдя с летучих певучих холмов шел по селу Едрово ночному и содрогался шатался от тьмы этой и думал о Святой Сошествице Таиннице Богородице что должна понести Дитя в такую ледовую пустынную ночь в такой Руси спящей замертво заживо

И где Она омоет Младенца? и где запеленает? и в какую избу темную спящую постучит чтоб обогреться?

И содрогнулся пошатнулся ужаснулся Тимофей-Измигул блаженный тьме аспидной египетской адовой безлюдной окрест себя

Господь прости мне, но зачем Богородице брести нести раждать уповать в такой Руси? в таких ледовых полях? в таких болезно сонных мертвых селах долах деревнях?

Господь зачем тут сирота Спас?

Господь прости мя...

Но не знаю, куда ведет святая Длань Твоя?..

Но такую ночь какая озарит Твоя вселенская заблудшая хрупкая звезда? Свеча? а?..

Но тут Тимофей-Измигул затаенно сокрушенно хищно увидел прорубь дымную на озере Едрово и у проруби-водокрещи-ледовой купели-цитадели был шаткий деревянный помост.

И подумал: Одна прорубь Крещенья грядущего на Руси дымит, не спит. Но тут из проруби в дымах-парах на помост изшла явилась встала крутая раздолжная жена и нагая пошла бросилась метнулась в нежный свежий сыпучий сухой снег и там лежала колыхалась билась каталась металась в снеговой пуховой необъятной постели, как раненный веселый тяжелый дебелый гладкий зверь.

А потом встала со снегов, потянулась, распустила дотоле собранные в узел волосы — и длинные льняные пьяные волосы сухо разошлись хлынули по ее плечам и лишь сокрыли переспелые упалые длинные груди ея, а в молодости длинные власы ее достигали и покрывали лоно и лягдвей ея... да!..

И она сухими власами сбивала сметала стирала снимала с себя снег и тихо покойно царственно раздольно роскошно дыша пошла босо наго в избу свою окраинную мимо Тимофея-Измигула и он не решился тронуть-кликнуть ее, а она не заметила его.

...Для русских вдов прорубь — брачная постель. А неоглядный снег — мех нищих, шуба снежных горностаев, пока весна не обернет их тальными водами!.. И нет иных у бабы на Руси утех. Ей-ей!..

Но есть, есть вдовье пыльное мечтанье-сказка: Если на Рождество и на Крещение омоешься в проруби — жди гостя залетного, дорогого ночного... И она ждала... И он явился...

И тут Тимофей-Измигул пошел за ней и она вошла в избу и он сразу увидел огонь в окраинной рухлой избе и постучал и ему открыла она — вдова Варвара-Фекла-Кутья.

Она блаженная гулливая блазнительная была и звали ее в селе «Кутьей» ибо варила кутью на поминках в ночи Сочельника и в селе береглись сторонились боялись ее и называли колдуньей козьей, потому что злой соседке своей Марфе старухе она наворожила, нагадала, напутала и у той коза кормилица одна враз пала.

Она на войне мужа и сына потеряла и с тех дней стала задумчивой дурной блаженной и купалась томила в прорубях зимой и всякий день варила поминальную кутью и поминала убитых своих.

О Русь уже и бабы жены твои сходят с ума от войн и крови твоей... Истинно!

И от кровавых вождей кровопийц безбожников твоих слепых что хотят весь мир спалить да в крови утопить утолить! да!

О Русь! иль только блаженные сумасшедшие юродивые твои не спят в Святые Ночи Сочельника и Рождества! Истинно! да!

О Русь!.. Берегись!.. В такую ночь, когда все спят, недреманные алчные хворые воспаленнодряхлые вожди

что любят кровь как все старики упыри и начнут войну ту последнюю... да!.. И никто не проснется в твоих домах избах... Господь! не дай...

Но старцы любят Последние Времена!

И Тимофей-Измигул вошел в избу низкую никлую нищую и он молод был и от полетов лихих в холмах рдяны как вишни Владимира губы и щеки его были и млада курчава неистова кипуча как варзобский ночной водопад была его борода, какие уж редко рождаются в Руси голодной, и глаза горели — один синий русский лазоревый, другой — черный азиатский вороний и он улыбался Варваре-Фекле-Кутье и она сказала:

— Ты Царь небесный! Ты Спас! Батюшко ты с небес на Русь спящую сошел в Святой Сочельник!

Но я ждала Тебя Иисусе! Я намылась в проруби Твоей. Я сварила кутью Сочельника я напекла блинов с конопляным маслом я надела старинный материнский вологодский сарафан-кумачник яркий молитвенный малиновый, какой забыли на Руси моей, но я не забыла.

Тогда Тимофей перекрестился и сказал:

— Я странник Азии и Руси. Мать моя русская а отец таджик. Имя мое на Руси Тимофей-Измигул юродивый блаженный! Слыхала? Я ищу могилы деда Владимира и бабки Раисы моих похороненных под Новгородом.

Но боле я ищу святую могилу-юдоль Святого Блаженного Николая Псковского что спас от царя Иоанна Грозного от кованых ратей его от лютого избиенья град Псков!..

А ныне кто? какой юродивый какой заступник какой креститель Русь от избиенья погрома кровоядного упас? Нет такого.

Тогда Варвара сказала:

— Такая война прошла по Руси и такой тиран народоубийца Сталин душегуб лютич прошел погулял по Руси, что теперь и живых-то не сыщешь, а ты ищешь мертвых.

Тогда Варвара-Фекла-Кутья хохотнула дико косо остро огнисто и сказала:

— Ты заблудший цыган. Разноглазый бес!.. Ха-ха! Хвалился лошак родом племенем! А я приняла тебя за небесного царя!..

Русские бабы любят инородцев, принимая их за небесного царя! Гойда! Айда!

А наши-то мужи все воины все ратники все заступники все в земле уповают зреют лежат ворожат не спешат...

А те, что живы, от смертного вина водки зелья слепого самогона лежат, как мертвые...

Тогда Варвара-вдова сказала:

— У Руси глаза были лазоревые васильковые голубые голубиные... Да стали огненные погромные кровавые соколиные...

Бросался сокол на чужих цыплят...

Бросается Русь на чужие народы...

И чьи перья кровавые летят?..

Тогда Тимофей-Измигул сказал:

— А еще в странствиях моих я ищу праздника веселья радости светлой на Руси а вижу пианство

темное погромное всенародное повальное и насилье разгул гульбу охоту пагубу гон слепой тупой палачей-безбожников.

Ай загуляла Смерть на Руси!.. ай загостилась!.. засиделась! залютовала! заждалась!

Тогда Варвара сказала:

— До Звезды ничего есть нельзя, и я постилась, но Звезда Рождества уж пришла. Садись, Тимофей-Цыган, будем пить самогон за Звезду, будем есть кутью и блины с конопляным маслом и сочники картофельные и яблоки моченые и капусту квашеную томную!

Тогда Тимофей сказал:

— Первый блин в Сочельник овцам от мора. Давай я отнесу блины овцам твоим Варвара.

Она сказала:

— Нет у меня ни овец ни ягнят. Кругом я вдова. Гляди — и сарафан мой кумачник яркий от тела моего ярого вдовьего неутоленного рван...

Тогда Тимофей поглядел на нее алчными азиатскими очами молодого мужа странного и увидел что тело ее еще густое сахарное сметанное снежное как ярое тесто круто яро млечно проливается пробивается проявляется чрез ветхий бедный сарафан! Аааа!..

И тогда блаженная Фекла-Кутья сомлело сотлело зашептала запричитала запела:

— Тимофей-Цыган! Если на Христово Рождество в доме шьют — то слепыш родится! Потому я не зашила свой сарафан.

Но какой иглой усмирю зашью я гуллиное молочное пуховое тяжкое одинокое вдовье тело свое? А?? О?.. Я ведь в крещенских прорубях родного озера Едрово тело свое грешное блудное купаю ввергаю блюду смиряю, а оно не смиряется!

Тимофей, айда в проруби купаться?.. Там нынче лещ и налимы трутся выются мечутся раждают икрой разрываются...

И мы с ними потремся в проруби попляшем?..

Айда, азиат!.. Русская кровь тебе от матери досталась, а она в проруби просится играючи!..

Вдова Фекла-Кутья устал я в холмах с метелью летая

Вдова вначале ублажи угости накорми облакай утоли меня

Вдова а как Богородица в этих лютых полях деревнях будет раждать?

Где будет пеленать?

Где кормить?

Где молозиво сливать?

Где сукровицу рану омывать? оставлять?

Русь ты была вольна колыбель люлька зыбка а стала гроб домовина Христа... да...

Айда! Гой, гульба!..

Тогда!.. Тогда стал Тимофей-Измигул с Варварой-Феклой-Кутьей пить гулять

Тогда стал пить самогон и есть кутью и блины и сочники картофельные и яблоки моченые

И стал от самогона сонного кровомутного бредового забывать метель и холмы Руси и деревни темные ее

и Звезду Рождества и Богородицу грядущую лелеющую лепечущую лепую вдовую в ледяных полях полях

А Она Сошественица была близка а Она блуждая во холомах дивных звездных шла шла шла
А Она к селу Едрово-Голь брела и была близка

Господь! где огонь в избе где огонь в душе в Ночь Рождества — там близко близко Богородица прошла!
И долго долго след Ея босой алмазный с сукровицею рубиновой по Руси немой петлял петлял петлял!..

Человече! Спящий! Долго долго тлел роился жил ждал уповал сиротский вселенский тот След пока ты спал... Аааааа...

Но Тимофей-Измигул был весел слеп раздолен разгулен отворен весь пиан пиан пиан
Но Варвара-Фекла-Кутя вдова была пьяна вольна и отворила все телесные врата

Тимофей Тимофеюшко я порченная дурная юродка я
Я доярка чужих коров а сама нищая как все на Руси нынешней

А я корова чужих мужей быков
А я доярка мытарка чужих гулевых пьяных блудных мужей быков
Ей-ей Господь!

А на Руси нынче все нищие, все чужие друг другу. Земля, деревья, травы, камни, зверье — все чужое, все ничье.

Люди все чужие — как мимолетающие осенние холодные облака... Их и потрогать и полюбить нельзя...

Да, Господь мой... Прости что богохульствую в такую Ночь!

И вдруг с тоски-лебеды она завизжала заверещала застонала залепетала залопотала...

...Летела утка в поднебесье
Одна без селезня утка
Лежала вдовушка в постели
Кругом одна без мужика!..
Айда!..
Одна!..

И стала рвать на себе ветхий сарафан и чрез щели дыры в сарафане пошло вздымалось ее белое сахарное тело, словно и на него намело нанесло свежих пуховых гладких снегов снегов снегов...

И тело со сладкой медовой алой раной бездной дышало обещало взывало

И Тимофею стало страшно и тошно, оттого, что зашел он в избу вдовы босово визжащую, но потом он выпил еще стакан самогона и вновь стало ему хмельно и весело как в холмах летучих.

И он снял содрал с себя бухарский халат и чалму и валенки и остался в белой долгой таджикской рубахе.

...Фекла-Кутя ты блаженная дурная и я блаженный юродивый а Господь говорит: Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну...

Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих...

Истинно так! Феклушка! Истинно!..

Погляди — великий Праздник пришел на Русь — Христово Святое Рождество, а все темно пьяно спят.
Я прошел многие деревни и града — а везде тьма и сон.

Только в твоей избе свет горит и кутя варится!
Только блаженная Фекла-Кутя одна Бога помнит на Руси. И я бродяга странник древних могил Азы и Руси с тобой — Тимофей-Измигул.

И двое нас в спящей Руси. И только Богородица Сошественица где-то бродит чудит ворожит в алмазных полях полях полях... Ай где она?

Ай в нашу избу бы забрела?..

Тогда Фекла-Кутя вышла вся нагая непочатая из сарафана и легла на раздольную постель и на обильные льняные подушки и разметалась разметала свои белые лядвеи стога и беломраморные груди-купола с сосками похожими на цветы розовой герани, что стояла на морозном подоконнике.

И она закрыла глаза и сказала:

— Тимофеюшко, друг захожий прохожий, цыган резаный погожий! В детстве малолетстве на косьбе ржаной ткнул меня жадный Власий-мужик-гулевик недоспелым колосом меж ног. И с тех пор мне там неизбывно ненастно жжет! Иди сюда мой сладкий глубокий колосок! Найдем и тебе место елейное лестное в медовой копне моей в стогу моем златом! Ой жжет!..

...Фекла-Кутя! А за окном ночь звездиста огниста!

А небо звездисто — урожай на горох!

...Тимофей-Измигул а когда на Руси будет урожай на живых мужей мужиков а на мертвецов?

...Фекла-Кутя! А коли звездисто и стожар горит — иди смело на медведя! А коли можно на медведя идти — значит и на бабу взойти можно! Фекла, можно?..

...Тимофей! Держи на Руси голову поклонну, сердце — покорно, а душу — униженну!

...Фекла я держу голову поклонну сердце покорно душу — униженну уязвленну! Но хоть фаллос рог мой! ствол кол мужа можно держать воспаленно воспаленно?

Можно? Иль на Руси нынешней и этой нет воли свободы? О Боже!

...Тогда Фекла сказала не размыкая не отворяя глаз:

— Цыган! Можно! Но омой свои кусты заросли потаенные как я омыла в проруби прелести мои! Омой азиат свою царь-пушку и ядра тесные к ней в русской огненной рождественской алмаз-воде струе! Ей-ей! Потому мы и отстаем от Европы что не омыаемся не очищаемся пред совокуплением! Ей-ей! Потому мы азиаты колодезные сонные!

...Фекла! Потому у них в Европе чахлые негодные дети рождаются что они омыают смывают первые ярые терпкие семена!

А приплод хорош от немытых божьих фаллосов-столов!

Погляди на степных ядреных оленей и на лесных густомысых кабанов!.. Зачем им воды спелых серебряных родников?

О! Мы ж не рыбы, что трутся средь вод!..

— Иди, омой плоды свои Тимофей! Потому от Европы светлой мы отстаем! — и Фекла льняной

богатой подушкой сокрыла затаила наготу снежную безбрежную ладную холмистую покатую свою.

— От Азии на Русь приходили завоеватели кровавые, но они были волки и шли в волчьей шкуре. И они гнали народ на народ.

А от Европы приходили лжепророки в овечьей шкуре. И они были страшней, ибо ставили брата против брата. И они соблазнили совратили Русь.

И они вызвали мятеж смуту бойню резню пагубу мор раскол в народе русском.

И Русь чиста целомудренна невинна была и потому соблазнили ее. Разве можно совратить матерую гулящую бабу?

Только девственницу можно соблазнить. И соблазнили совратили Русь бесы Европы!

Да!..

За тысячу лет Крещения Иисус Христос сделал Русь чистой тихой кроткой и бес легко взял ее! Истинно так!

И по путям Христовым пуховым постелям кротким чистшим дорогам бес пришел на Русь и совратил.

И тут велико зло лукавых пришлых гортанных пенногубых господ хворых вселенских чесночных тайных безбожных иудеев. И иных инородцев. Истинно так!

Но! Но и в самой раздольной неохватной душе русской гулевой гулявой есть гниль хмель зависти соль перец гиблый ревности и страсть убивать иль быть убитым.

Мятеж безбожный есть в душе русской. Да! И раба воля страсть воевать иные пределы народы языки! Истинно так!

И я пришел на Русь Рождества в обличье юродивого, чтоб насильники бесы безбожники палачи, которых ныне боле, чем внезапной садовой икшанской кровяной тати тли, не удавили тайно меня и не спрятали в безымянную могилу, которым несть числа на Руси...

И на Руси никогда не было слышно гласа мудреца, а лишь глас юрода да палача...

И на Руси мудрец дышал, учил в обличье юрода... да!..

И был храм Василия Блаженного, а где храм Сергия Радонежского, а где храм Протопопа Аввакума мудреца?.. а?..

...Тимофей сними рубаху свою иноземную

Ночь — избавленье от одежд денных

Смерть — избавленье от пут сетей мрежей земных!

Омой свою царь-пушку и ядра сытые яростные к ней в русской крутой январской рождественской алмаз-воде струе!

И приходи к губам соскам гераневым к грудям к куполам моим лядвеям снежным жемчужным перламутровым моим и приходи к живым покатым холмам телесам гладным мраморам моим!..

И полетаешь в них слаще чем в холмах земных!..

Тогда Тимофей снял с себя рубаху и нагой вышел из избы в ночь. Ибо он был странник и не боялся холода нагой земли.

А ночь звездиста а холмы свеженаметанными гладкими крупитчатыми снегами ходят ворожат чудят чудят чудят а холмы постели облитые лунными жемчугами стоят молят чудят ворожат!

Ай Русь Рождества сладка чиста ты в своих постелях колыбелях зыбках снежных холмах!..

Тут Тимофей увидел водопровод близ избы и струя воды тихая шла струилась из железной покрытой ледовым пушистым смертным инеем косматым дремучим ивнем трубы, чтобы не замерзла небегающая стоячая вода.

И сизые наледи скользкие были окрест водопровода и Тимофей нагой разгульный поставил фаллос ствол свой кочевой лихой под мелкую огненную струю и ему на миг почудилось что струя пробила промыла насквозь острием ледовым ножевым своим его плоть, но тут фаллос восстал неслышанно взметнулся столбом бычьим рогом от ледовой купели струи и тогда Тимофей побежал вспять в избу.

И тогда Тимофей хохоча и визжа от холода хмельной веселый вбежал в утлую избу неся бережно и весело впереди себя огненный свой необоримый неистовый кол ствол и тут изба показалась ему малой мелкой и показалось ему что фаллос его сейчас уткнется упрется как рог быка в противную срубную стену и проломит просквозит пройдет сквозь нее как нож срезень чрез крупитчатый снег...

Тогда вдова открыла жаркий жадный колосистый лучистый сноп-глаз и отвела откинула подушку с тела безумного терпкого холмистого своего с двубашенной одновратной крепости лакомой прелести своей и зашептала:

— Бей меня! Коли колосом своим! Дави! Грызи! Насквозь! На века! Насмерть! Отнеси меня на фаллосе бревне шесте дрыне андроне колу своим с постели в гроб! О! Упокой меня на фаллосе столбе роге бычьим кровяном своим! О!

И Тимофей на вдову Феклу-Кутю яро огненно извилисто возлег.

О! Ой?..

Но тут от тепла что ль избяного дремного томного? Иль оттого, что не успел Тимофей полюбить разглядеть Феклу — но враз как сосулька весной шумно обрушился обвалился обломился сник его ствол. И не возмог!.. О!..

Тогда Тимофей вновь яро спешно сметливо выбежал из избы и поставил ствол охочий охотничий под ледяную лепетливую струю и вновь фаллос кол колос его яро восстал и он в избу торопко терпко душно вбежал но тут вновь фаллос его опал увял.

— Фекла, пойдем к водопроводу и содеем затем там, а?

Но она гневно ленно блудно смолчала.

Тогда в третий раз Тимофей-Измигул к водопроводу подбежал, но тут на сизых наледях поскользнулся поехал он и нежданно негаданно пьяно криво сел верхом промежностью всей на водопровод, как на коня, и фаллосом неистовым и хрупкими ломкими нижними курчавыми потаенными власами и орехами заветными ядрами яйцами к ледовой трубе насмерть припал пристал прикипел примерз прилип. Приковало привязало примотало его насмерть.

Пригорюнился он насмерть. Не может двинуться сойти.

Хочет оторваться — кожа кровавая власатая ломкая рвется губительно жжет точит. Не дает оторваться.

Не может оторваться Тимофей-Измигул. Нагой на водопроводе ледовом стоит верхом колышется сидит.

О русские лихие повольники мужи! Где вы?

И вы скакали верхом на гулевых овсяных конях а теперь нагие стынете верхом на ледовых водопроводах!.. А!..

А потом вздохнув Тимофей всадник ледовый непутевый улыбочиво окрест глядит глядит глядит

А окрест!

А окрест чудят ворожат рассыпаются чуть пылят чуть чадают чуть горят палат чары чародейные лунные жемчужные рождественские холомы холмы холмы холмы

Ах, полетать повитать бы снова в них!..

А под луной дальние и ближние деревни очарованы ясны ясны ясны далеко неоглядно видны...

И тут глядит Тимофей-Измигул окрест и видит далеко, глубоко, чисто, что по всем селам и деревням стоят нагие мужи и они насмерть прикованы приросли нагими огненными рьяными пьяными фаллосами-стволами-колами и хрупкими ломкими нижними курчавыми власами и орехами ядрами яйцами к трубам водопроводным

И так стоят верхом на водопроводах по всей чистой заснеженной Руси нагие ночные ледовые медовые мужи

И уповают и улыбаются покойные смиренные и ждут мягких теплоструйных весенних добрых ветров Руси

И ждут по всей Руси весны и талых вод воли прикованные очарованные лунные рождественские тайные ночные нагие святые мужи

Господь!

Скорей многоводную весну пошли!.. чтоб оттаяли и водопроводы и вдовы и мужи моей Руси!..

И!

Держи на Руси голову поклонну, сердце — покорно, душу — униженно уязвлено, а фаллос — приковано! То-то!

Последняя была воля гульба на Руси и та застыла померзла.

Господи где же последняя воля?

Но где-то в полях холмах переславльских алмазных святых чудящих Богородица Сочественница бережется таится хоронится грядет со Младенцем бродит бродит...

Тогда! Но тогда!

А тогда! О Боже! Что это?

И!..

Тогда в ночь пошли задули святые ветры весновенные теплые щедрые иерусалимские малороссийские дальние одеяла пелены летучие светлые светлые ветры ветры ветры

О Господь! Ты веешь? Ты жалеешь?

И Ты насылаешь теплый ветер ветер как теплое одеяло овечью летучую милоть чтоб Богородице Рожденице в полях ледовых со Младенцем было теплее нежнее!

И пошел воспарил в полях несметный ночной светлый ветер

И снега враз обмякли сотлели изникли сомлели ручьями тайными хрустальными запели зашумели и на избах запели капели

И Тимофей умирающий замерзающий на ледяной трубе почувал как отпустило его как смертная труба под ним обмякла потеплела и иней ивень смертный игольчатый пушистый знобкий на ней стал водой млявой лепетной весенней капелью

О Господи как же Ты жалеешь!

Бог до людей как мать до детей! Ей-ей!

И сошел со смертной трубы тишайший Тимофей И по всей Руси сошли с ледовых водопроводов алчные лихие ледовые пьяные мужи мужи мужи

Господь дай им!

И Тимофей-Измигул на очарованных неслышных послушных ножных перстах высоко тихо тихо прошел в дивных милых теплых лепечущих снегах и вошел в избу и сказал Варваре-Фекле-Кутье:

— Вдова святая! Фекла таялая моя! Мы хотели грешить любострастничать в Ночь Рождества. Да Господь не дал нам. Надевай свой древний русский малиновый маковый кумачник-сарафан. Пойдем в холмах святых летать витать. Будем Богородицу Рожденицу со Дитем Ея Новорожденным озябающим искать в сиротских русских холмах.

И тут он содрогнулся, сокрушился вспомнив тех семипалатинских слепых низких квелых заблудших гуслей лебедей скворцов...

И перекрестился и сказал:

— Пожалей помилуй Господь!..

И Варвара молчно покорно покойно встала с постели напрасной горячий от тела чудного ее и надела сарафан, а Тимофей накинуд на плечи рамена прекрасная ея свой обильный бухарский чапан а сам надел белую вольную долгую рубаху.

И они тихо босо вышли из избы и пошли и встали под сильный светлый ветер благоуханный дальный на высокий жемчужный холм над селом спящим Едрово-Голь.

И тут светлый ветер прибыл словно ждал их и наполнил пьяным сладким шалым крутым крепким воздухом ее сарафан и чапан и его волнистую долгую рубаху, как лилющий парус.

И вначале они привстали на ножных перстах и потянулись ввысь выями как лебеди а потом легко пошли со холма сорвались летуче и ветер понес переставил их на другой жемчужный холм.

И Варвара-Фекла-Кутья святая русская вдова только охнула:

— Ох Господи как страшно! как хорошо! как вольно! И полетела в маковом малиновом блаженном сарафане своем по холмам чудящим творящим обсыпанным рождественскими несметными алмазами звездами жемчугами

И Тимофей-Измигул изловчился подпрыгнул и полетел вослед за ней в белой льняной рубахе своей расставив раскидав разметава руки и как бы оберегая перволетящую Варвару-Феклу-Кутью

Варвара! Летящая вдова! Иль ты Русь сама?.. И куда? куда? куда?

И они полетели в холмах переславль-залесских

Далеко далеко далеко

И искали Святую Рожденицу со Дитем Святым Новорожденным в холмах да не находили. И от холмов переславль-залесских к валдайским холмам их понесло их повело

И унесло и увело

О Господь!

В Ночь Рождества убито темно бездонно все спят на Твоей Руси

И лишь двое блаженных — Варвара-вдова и Тимофей-юрод летают витают ликуют ликуют бродят в лунных святых жемчужных холмах Твоих

Господь! дай им...

И всем кто спит не спит в Святой Светлый Ветр на святой Рождественской Руси!

Господь! Гряди!..

Дмитрий Рахманов

ХУДОЖНИК И МАСКИ

Повесть



*Пусть говорят — ночная полутьма
Введет в обман и призраки покажет.
Нет, только ночь тебе всю правду скажет,
А дню не верь: обманывает день!*

Провожала его сестра. По яркому снегу между стройных высоких сосен они добрались до флигеля, который им указали в конторе.

Отведенная ему койка стояла у окна в широкой келье.

— Как здесь хорошо! Светло! Чудесный вид из окна! — воскликнула сестра и спохватилась. Брату окно не могло дать радости.

Он промолчал, беспомощно улыбнувшись, оцупал кровать и сел на нее.

Сестра взялась за чемодан, чтобы разложить вещи.

— Не надо, я потом сам, — остановил он ее. — Мне надо помнить, что где лежит.

— Смотри, чтоб не разворовали, — шепнула сестра на ухо, опасливо оглянувшись на другую койку, на которой неподвижно лежал человек, натянувший на голову одеяло.

Но брат не мог смотреть: месяц назад он перестал видеть и вторым глазом. Он опять неловко улыбнулся. Они сидели молча, не находя слов перед расставанием. Все было переговорено раньше.

— Ты не опоздаешь на поезд? — спросил он.

— Да, да, пора. — Она заторопилась, обрадованная, что может уйти.

Прощаясь, они по привычке приложились друг к другу губами.

Ему тоже стало легче, когда она ушла.

«Враги человеку домашние его», — не раз вспоминал он это изречение, не зная, откуда оно.

Последние долгие годы он жил в доме сестры и ее мужа на положении бедного родственника. Как художник он не зарабатывал из-за болезни глаз. Он лечился. Лечился добросовестно, всеми доступными ему способами: у частных и амбулаторных врачей, у гомеопатов, у знахарей, у гипнотизеров, ездил в Мацесту на грязи. Когда вынули один глаз, он продолжал лечиться и надеялся. «Нельзя терять надежду», — говорил он себе. — Жизнь — это борьба, а в борьбе побеждают сильные, настойчивые». Но болезнь оказалась сильнее его. Однажды утром, проснувшись, он увидел темное пятно на стене. Пятно росло, расплывалось, и к полудню весь мир скрылся от него за этим прожорливым пятном.

Quod medicamenta non sanant... morsasanat. Это была не смерть, а затемнение, переход в туннель. Но лечение кончилось. На него смотрели теперь как на здорового. Предстояло искать работу, новую профессию. И прежде всего надо было убраться из дома, где он стал всем в тягость. Поскорее уйти из среды зрячих, не понимавших его, раздражавших его своим непринятым участием.

Он выбрал трудовую колонию, куда направляли слепых, — бывшие монастырские владения в стороне от железной дороги. Кроме инвалидов, слепых и зрячих, здесь получали кров и работу беспризорные, воры, отбывшие срок, и проститутки. Флигель со слепыми был переполнен. Временно его поместили в другой.

«На дне я, как Барон у Горького», думал он, лежа на койке.

В его чемодане было много съестного — напутственный дар родных. Но как уберечь еду от голодных? Это было невозможно и зрячему, тем паче слепому.

Колонию снабжали скудно. У власти было немало других забот, более для нее важных. Изгнав капиталистов, она переняла их страсть к стяжательству и строительству. Как можно больше машин, как можно больше металла, стало ее лозунгом. Переворачивая деревенский быт в борьбе с домашним врагом — кулаками, она перемещала народ из сел в города и на новые стройки. Войны не было, но население жило на неравных пайках, и большинство голодало, как в военное время.

Скоро голод овладел и слепым художником. Непривычный труд в щеточной мастерской стал ему не по силам. Он ослаб и, чтоб сохранить себя, не вставал с койки.

Другую койку занимал венгр с контуженной головой. Пряча голову под одеяло, он, как страус, уходил от людей, чтобы ему не мешали распутать трудный узел, завязавшийся в мозгу после двух войн — империалистической и гражданской. Но узел не распутывался. Венгр вставал с койки раздраженный, скандалил, ополчался на власть и на администрацию колонии. Во время припадков он был опасен, повисал над художником, как дамоклов меч. К концу зимы венгра

отправили в психиатрическую больницу: он бросил кипящий чайник в заведующего колонией, пришедшего его успокаивать.

До весны художник лежал один, не скучая, приобретая новых знакомых. К нему приходили из других келий и флигелей. Он был интересный собеседник, с воображением, сообразительностью и жадой жизни.

Однажды вор с кличкой Шуруп принес ему молоко с рынка. Художник узнавал уже многих колонистов по голосу, по произношению. Шуруп говорил упросто и неожиданно.

— За решеткой бывали?

Вор с одобрением наблюдал, как неторопливо художник принял и вкушал его дар, сдерживая жадность, возбуждаемую голодом.

— Сидел, — неохотно признался художник.

— Сразу видать настоящего человека. Что думаете дальше делать?

— А что я могу? Что бы ты делал на моем месте?

— То самое, как и на своем.

Художник насторожился, почувствовав, что вор говорит неспроста.

— Не понимаю, — проронил он тихо.

— Щетки — горькое занятие. Пускай их негры или китайцы делают. Не зря эта богадельня называется колония. Вам другое надо. Ваша сила в голове. Мысли у вас в точку идут, не вразброс, как у иных интеллигентов. К тому же судьба вас сильно отметила.

— В том-то и дело. Слепому дороги закрыты.

— Это как себя поведете. Если покажете способность, то она при вашем физическом изъяне в десять раз сильнее подействует. Народ страшится уродов.

— Черная метка, — молвил художник, улыбаясь.

— Что за метка? — спросил вор.

— В повести о морских разбойниках есть слепой, которого боялись.

— Поняли меня. Вам долго объяснять не надо.

«Не спросил, за что я сидел», — соображал художник после ухода вора. «Профессиональная деликатность... Впрочем, вряд ли он предполагает во мне уголовника...»

Сидел художник в тюрьме за службу в белой армии. Его часть не успела отойти и была окружена у самой границы. Он был взят в плен. В то время если не расстреливали, то держали недолго. Художника не расстреляли. Но в тюрьме он заболел сыпным тифом, потом возвратным. После болезни что-то и случилось с глазами. Он стал терять зрение.

«...Вор хочет войти со мной в какую-то сделку, — продолжал соображать художник. — Чем я рискую? Ниже дна опуститься невозможно, а я уже на дне... И он прав: слепого бандита будут уважать, а к слепому из колонии одно презрение... Обездоленные и униженные всегда раздражали общество. Их философа, Иисуса, высекали и повесили... А разбойника Варавву освободили по требованию народа».

И он думал еще, что из этой колонии не было иного выхода.

Власть не могла обеспечить население пайковым снабжением. Поэтому она оставила рынки как отдушину для частной торговли. На рынке, кроме деревенских продуктов, покупали и продавали носильное

с тела и новое, полученное законно или по блату, а то и просто краденое из магазина.

Художник попросил вора продать ему на рынке рубашку.

— На пару пойдем, — сказал вор. — Без бабы постель греть, хуже обессилеешь.

Колония была недалеко от районного центра.

На рыночной площади ноги вязли в оттаявшей глине, скользили по буграм. Пахло навозом, сеном, квашеной капустой, пыльными картофельными мешками. Кричали люди, ржали лошади, скрипели возы.

Художник боязливо продвигался среди звуков и запахов, ожидая удара оглоблей. Вор оставил его одного, предложив встретиться в чайной. Художник не возражал. Ему хотелось научиться самостоятельно ориентироваться в людном месте. Но теперь он был не рад. «Как на фронте», — вспоминал он страх, испытанный в былые годы.

От голода, от весеннего воздуха, от усталости после путешествия по раскисшему шоссе дрожали ноги и кружилась голова. Когда рядом запахло теплым хлебом, он вспомнил, что утром не ел, и почувствовал обморочную слабость. Чтобы не потерять сознания, опустился на землю, в грязь.

— Слепой в луже утоп, — крикнул чей-то веселый голос.

Заспорили обеспокоенные бабы голоса.

— Вином не пахнет, — определила женщина, нагнувшись над художником. — Обессилел с голоду.

Она подошла к мужчине с обмотанной шеей, стоявшему у телеги с мясом. Сказала ему строго:

— Хлеба надо подать. За добро и нам Бог поможет.

— Приведи сюда, — ответил мужик простуженным голосом. — Пускай отлежится на сене.

— Можно и сюда, — согласилась женщина. — От слепого худа не будет. Без глаз не украдет.

Художник видел и без глаз.

В его мозгу возникали образы в ответ на запахи, на вкус, на звук, на слова, на тепло, на холод, на соприкосновение с предметами. Мягкое сено, куда его посадил мужчина с простуженным голосом, пахло изысканным уютом, так же как и горбатый ломоть ароматного ржаного хлеба с шершавой коркой, который ему сунула в руку женщина.

Это были муж и жена. Они привезли на рынок разделанную коровью тушу. Мужу не хотелось резать корову, только отелившуюся. Жена настояла: «Скоро опять в колхоз потянут... Хочешь быть умнее людей?» У них и в окрестных деревнях мужики резали скотину на случай, если придется вступать в колхоз.

По этой причине на рынке стояло много возов с мясом и торговали вяло. Но вокруг слепого стало оживленнее. Покупатели останавливались здесь, задерживались, и образовался хвост.

— Через тебя нам Бог помогает, — сказала женщина.

Художнику пришла невеселая мысль, что он, как урод на ярмарке, привлекает народ.

— Далеко ли отсюда чайная? — спросил он.

— Погоди, уже вместе поедем, — ответил простуженный голос. — Угощу тебя.

В чайной крестьянская чета оказала слепому уважение. Будто он в самом деле был послан небом им в помощь. Муж поставил пол-литра, жена нарежала

сала, нежного, розового, без волокон.

— Свиныю картошкой откормили, — похвалилась она.

Сало таяло во рту, распространяясь теплом по телу, как и вино. Художник чувствовал, как в его изысканном нутре отомкнулись все двери, и он наполнился горячей благодарностью, любовью к этим простым людям.

Муж, отпив вина, стал собеседлив. Рассказывал, как запрошлым летом работал в Москве с артелью каменщиков. Лектор приходил к ним на стройку, агитировал их, чтоб расширяли свои хозяйства в деревне, не опасаясь.

— Это, говорил, и государству выгодно, и вам. У кого, к примеру, мельница не боле, чем с четырьмя поставами, тот, по закону, еще не кулак. Еще середняк считается... А нынче не токмо что мельница...

— Нынче Серёгина раскулачили, — перебила жена, — а у него одна молотилка была.

— Врежь! — как с цепи сорвался от соседнего стола залистый тенор. — Раскулачили, значит, следовало. Небось шкуру с соседа драл за свою молотилку. Спекулянтов в Сибирь.

— В Сибирь и сослали, — хрипло подтвердил муж. — Во, время-то. Власть сама не знает, что будет завтра делать.

Художнику представилось, как вся страна сдвинулась с устоев и ползет вслепую, на ощупь, неведомо куда. «Никто не прозревает, что ждет его завтра, все так же слепы, как и я...» Ему стало жутко и весело. Чайная, тонущая в сумерках, казалась насыщенно яркой. Кругом бессвязно спорили, буйно гудели голова, звенела и брэнчала посуда...

— Деньги... Деньги смотрите, чтоб не украли, — сказал он тихо, обеспокоенный мыслью о воре.

— Здесь, — прохрипел муж, хлопнув рукой по плушубку. Потом пощупал это место на груди и, как-то весь изменившись, побледнев, полез рукой глубоко под одежду.

Денег там не было.

В чайной все смешалось.

Слепому художнику она представлялась теперь уродливой карикатурой Домье. Ему казалось, что к их столу тянутся руки страшных человекоподобных чудовищ, разноголосые орущих, протестующих, спорящих, дающих советы.

— В чем деньги-то были?

— В тряпице.

— Какая тряпица! Платок, красный платок! — возмущенно вскрикнула женщина.

— Платок, говоришь, красный? — отозвался пронзительный тенор. — Постой, ты куда, приятель? — окликнул он молодого парня, пробравшегося к выходу.

Парня схватили. У него в кармане оказался красный платок.

— На снегу, у чайной нашел, — оправдывался парень.

Ему не поверили. Стали искать на нем деньги.

В эту минуту художник услышал условный свист. Он встал, щупая кругом себя палкой.

Знакомый упругий голос сказал:

— Слепого-то пропустите.

И упругая рука вора крепко взяла его под мышкой.

Они вышли не остановленные, среди возбуждения и шума. От пойманного парня требовали, чтобы он

сказал, кому передал деньги. Парень отпирался, неуверенно, неубедительно, испуганный наседавшими на него мужиками.

— Убьют его, — сказал художник вору, когда они отошли от чайной.

— Бить будут. Зверье, — озлобленно пробормотал вор.

— А какой он из себя?

— Младенец. На платок позарился.

— Ты думаешь, не он украл?

— Об этом пускай агенты угрозыска думают. Я в их дела не мешаюсь.

Художнику почудилось, будто вор улыбается. Подозрение охватило его. Но он не решился выяснить правду. Взамен спросил про свою рубашку.

— За четвертной столкнул, — ответил вор.

В келье у художника появился новый сожитель. На койку, освобожденную венгром, временно поместили молодого грузина, безногого, ожидавшего протезы. Прыгая в трамвай, он угодил под колесо прицепного вагона. Отняли обе ноги выше коленей.

Грузин был веселого нрава, днем часто смеялся. Но ночью плакал. От бессилия, от того, что не может отомстить. Ему казалось, что кто-то зло подшутил над ним.

— Кто там наверху шутит? — говорил он художнику. — Бог, дьявол? Плохая шутка, понимаешь, молодого человека оставить без ног. Совсем плохая шутка.

— Не сдавайся, — советовал художник. — В Библии Израиль, патриарх еврейский, боролся с Богом и поборол.

— Ты еврей? — спросил грузин.

— Нет.

— Так зачем чепуху говоришь? С Богом бороться... Попробуй комиссара здравоохранения побороть! Протезов полгода жду...

Протезы были его мечтой, его утешением. Он объяснял художнику, как далеко шагнула техника после мировой войны, какие замечательные делают теперь протезы.

— Совсем нормальный вид, понимаешь... в кино за барышнями можно ухаживать.

За барышнями он ухаживал уже и сейчас. Бойкая полновзвучная Клава, работавшая на кухне, скоро уступила ему. Она приходила к нему ночью, иногда даже днем, не стеснясь слепого художника. В колонии любили свободу.

Слушая их возню и скрип койки, художник думал о том, что женское сердце особенно склонно к состраданию. Жалость к калекé может перейти у женщины в активное чувство, в любовь. Но может ли здоровая сильная женщина полюбить и его, слепого? Он сравнивал свое положение с возможностями грузина и приходил неизбежно к заключению, что его хуже. Слепые живут в каком-то ином мире, чуждом для зрячих. Нет, надо оставить мысль о девушке.

В парке зацвела яблоня. Еще сильнее аромата яблони был запах потеплевшей земли. Птицы ликovali. По утрам парк оживлялся их голосами.

И у художника расправлялись крылья желаний. Обрезанные. Летать он не мог. Он завидовал вору, уходившему из колонии, звавшему его с собой.

— По-крупному будем работать, — соблазнял вор. — Для этого фантазия требуется, образование. У вас это есть.

— Не выйдет, — отвечал художник. — У меня не получится.

До сих пор он краснел от стыда, вспоминая деревенскую чету, сделавшую ему добро и через него пострадавшую. Позже вор рассказал ему, что вынул деньги у мужа перед чайной, когда тот покупал водку для угощения:

— Размяк, раззява, от удачи и около вас очень старался.

Художник возмущился:

— Люди добро делали, а ты... из-за тебя и я подлую роль сыграл.

Но вор прочно стоял на своем:

— Знаю я это добро. Приманивают на него слабых, как мух на сладость... Человека легче всего на добре расколоть. А мужик тот же волк. Слыхали, как в чайной оскалились.

В рассуждении вора была правда. Однако художника беспокоила другая правда, выраженная заповедью «не укради»: «Откуда это табу? Вряд ли от божества. Вернее, общество, имущие защищают себя им от обездоленных». Он вспомнил Франсуа Вийона — поэта, связавшего свою судьбу с ворами. Вийон освободил себя от табу. Время было другое.

— У меня не получится, — повторил он. — И за тебя опасаясь. Советская власть всем подрезала крылья, и ворам.

— Подрезала, верно, — согласился вор. — А только наше сословие не сдается. Нынче оно одно держит знамя свободы.

— Свобода относительная, — возразил художник. — Ведь и вы в «законе» живете.

— Мы себя сами судим... Да я-то на особняка буду работать, один.

— Один в поле не воин.

— Временно, для клея, придется привлекать чело-веков. Только не будут они меня знать. Лица своего не буду им показывать.

— Черная маска?

— Зачем маска. Грим. На деле под гримом, а в другое время могу свою рожу свободно показывать людям. Раздвоение личности.

«Насмотрелся в кино детективов», — решил художник.

— И без грима могу рожу переспособить, не узнаете. Одно время думал к цирку пристать. Да как посмотрел в их журнал, пропала охота. Профсоюз, собрание, соревнование... Нынче артисты у власти выслушиваются, а я шутю при короле состоять не желаю... Они расстались друзьями.

К воротам монастырского парка подъехал на извозчике крупный мужчина в дымчатых очках с тяжелым портфелем. Отпустив извозчика, пошел по дорожке между цветущей травы, протягивая далеко вперед ореховую палку, тонкую и твердую, как щуп средневековых геологов. Палка звонко ударяла по грунту, мужчина шел медленно, часто останавливаясь, словно и в самом деле искал что-то под землей.

Услышав эти звуки, художник понял, что прибыл новый слепой. Здесь ходили по дорожкам быстрее и увереннее.

— Товарищ, что ищете? — окликнул он приезжего. — Если контору, то...

— Заведующего колонией, — ответил приезжий.

Домик заведующего был на другом краю парка. Художник предложил проводить.

— Слепой поведет слепого, — сказал он с горькой иронией.

— Вы слепой? Тогда сперва побеседуем.

Нащупав скамейку, они уселись. Приезжий оказался членом правления Всероссийского Общества слепых, командированным из Москвы для обследования.

Он стал расспрашивать о работе и быте колонии. О щеточной мастерской, об общежитии, о взаимоотношениях слепых с другими колонистами. Полуголодное снабжение и нищенская оплата труда, которые были на первом плане в рассказе художника, не вызвали в приезжем ни возмущения, ни удивления. Вероятно, он привык к этим условиям, как привыкает врач к тяжелым болезням пациентов, против которых у него нет средств.

— Прежде-то какая была ваша профессия? — спросил он художника.

Ответ смутил его.

— Да-а. Это для вас уже невозможно. А вот скульпторы слепые бывают. В Москве живет девушка, недавно лишилась зрения, так она лепит. И работы ее покупают. Неплохо зарабатывает... В каждом из нас скрыты возможности, о которых мы и не подозреваем.

И приезжий рассказал о себе, как первое время, ослепнув, целыми днями пиликал на скрипке, думал, что это только и доступно слепому. А теперь, кроме работы в правлении Общества, преподает математику в школе.

— Как же вы показываете на классной доске чертежи, формулы? — спросил художник.

— Рука привыкла. А больше ученики изображают. Проверять письменные работы помогает мне нуждающийся десятиклассник. Плачу ему за это... Верьте мне, впрочем, вы скоро сами это узнаете — возможности слепого неисчерпаемы, бесконечны, как вселенная, как звезды ночью, когда их не заслоняет свет солнца. Они будут открываться вам, когда вы освободитесь от влияния зрячих, которые считают слепоту самым большим бедствием.

— Слепые тоже так считают, — возразил художник. — В колонии, кто ослеп позже, считает себя счастливее слепых от рождения. Он все-таки видел свет и гордится этим.

— Знаю, — нехотя согласился приезжий. — С этим ошибочным представлением надо бороться... Проводите меня к заведующему.

Проводив, художник вернулся на скамейку и долго сидел, раздумывая над тем, что говорил приезжий. Сравнение со звездным небом поразило его. Раньше ему никогда не приходило в голову, что яркий свет солнца скрывает больше, чем обнаруживает. Если бы на земле всегда был день, люди ничего не знали бы о вселенной.

Для художника теперь всегда была... нет, не ночь. Что-то другое. Его восприятие мира изменилось. Сократились расстояния вселенной. Солнце, ласкавшее сейчас его кожу плотным горячим касанием, было ближе к нему, чем прежде, когда он его видел, много ближе. И живые звуки в парке проникали в его сознание глубже, возбуждали сильнее, возвращая прошлое. Исчезало ощущение времени.

Что за звуки! Неподвижно внемлю
Сладким звукам и,
Забывая вечность, небо, землю,
Самого себя...

Восстановив в памяти стихи дальше, до последней строки, художник решил пойти вечером на собрание слепых, послушать, что будет говорить приезжий.

На собрании он услышал обычную в то время речь. Член правления призывал слепых помогать власти в затаенном ею строительстве. Надо больше производить, уверял он, тогда бытовые условия будут лучше, заработок в щеточной мастерской будет выше. Чтобы больше производить, надо организовать между собой соревнование, поощрять передовых работников, давать им премии, писать о них в газете. Надо вызывать на соревнование мастерскую другого района. Если их мастерская будет первой, снабжение будет лучше. «Ваше благополучие в ваших руках, — закончил свою речь член правления. — Государство дает вам дефицитный материал и орудия производства, а организовать труд — это ваше дело».

«Политическая речь», — отметил художник. На его лице появилась горькая улыбка. «Слепых-то оставили бы в покое... Со мной он не так говорил... Со мной он говорил то, что думает, а перед обществом — то, что требует власть... Раздвоение личности...» Художник вспомнил вора.

И, не дождавшись конца, ушел с собрания.

Однако разговор с членом правления оставил глубокий след. Думая о слепой скульпторше, художник спрашивал себя: можно ли образы, создаваемые мыслью, воспроизводить зрительно, явно, без помощи глаз, вслепую? Еще прежде, рисуя с натуры, он замечал, что получается хорошо, когда рука не копирует предмет, находящийся перед глазами, а следует за его зрительным образом, оживающим в голове.

Но вслепую рисовать можно только непрерывной линией, не отрывая пера от бумаги. После отрыва рука не может без помощи глаза вернуться к той точке, где линия оборвалась, не может найти ее. При лепке не так: работу можно щупать и находить оставленную точку.

От размышлений художник перешел к опытам. Глину из оврага ему принесла Клава.

Клава заходила в его келью по привычке с тайными приношениями из кухни. Грузин был в отъезде. Его вызвали в город примерять готовые протезы. Появление Клавы, ее звонкий голос и смех всякий раз возбуждали художника. В нем поднималась жаркая волна и влекла его к Клаве. Ему хотелось взять ее руку. Но одинокий невидящий глаз на бледном лице не мог передать ей этого желания, а щупать воздух в поисках соприкосновения художник не решался. Боялся показаться смешным.

Клава первая коснулась его руки, когда увидела работу — голову и торс обнаженной женщины. Полные груди женщины были приподняты, лицо, живое, смеялось.

— Как же так? — спросила Клава, недоумевая. — Как же вы видите?

— Говори мне ты, — сказал художник.

Он задержал и сжал ее руку, когда она передавала ему обратно скульптуру.

Грузин вернулся расстроенный.

Первое знакомство с протезами разочаровывало. Они не слушались его, не сгибались в шарнирных суставах. Он с трудом отрывал их от пола.

— Паршивая техника. Ходули легче.



— Не сразу, — успокаивал его художник. — Запацись терпением. Надо сызнова учиться ходить.

Грузин был нетерпелив. Поковыляв на протезах по комнате и коридору, не рискуя спускаться по лестнице в парк, он отстегивал их, ставил рядом с собой на койку и ложился отдыхать. Протезы возвышались над ним, как останки страшного скелета из чужих миров.

Клава испугалась, когда увидела их. Полированное дерево зловеще отсвечивало и будто имело к ней отношение. Противно пахли кожаные ремни.

Ночью она не пришла, сославшись на раннее дежурство на кухне.

А через день грузин уезжал. Он только для того и жил в колонии, чтобы скорее получить протезы. В городе у него была квартира, и его ожидала работа в винной лавке.

Клава проводила его на станцию.

Художник радовался. Ему было бы невыносимо теперь слушать возню на койке.

Он ждал Клаву, и она пришла.

— Мне хочется сделать твой портрет, — сказал художник, устремляя несколько выше ее свой невидящий глаз, чистый, без бельма. Впадина другого была закрыта черной повязкой.

— Стало быть, видишь? — сказала Клава.

— Вижу воображением, но мне надо проверить прикосновением.

— Вот ты какой! — Клава засмеялась.

— Садись ближе, — попросил художник.

Клава придвинулась. Оба сидели на койке.

Теплые пальцы художника коснулись ее лица.

Прямой небольшой нос, как он и представлял себе, но глаза расставлены не так широко. Рот больше, с крутым изгибом, неплотно сжатые губы... Он открывал неведомое, новую землю, превращая в зрительные образы индивидуальные осязаемые особенности каждой черты, и переживал восторг новизны, влюбляясь в них.

Когда пальцы ощущали уши, маленькие, крепкие, Клава засмеялась.

— Щекотно.

От ее сдержанного смеха художник почувствовал прилив жаркой волны. Он призвал себя к спокойствию, к сосредоточенности, как того требовало искусство. Но мысли начали путаться.

Клава почувствовала его волнение.

— Проверять будешь одно лицо? — спросила она шепотом. — Или как у той? — Она намекала на скульптуру.

Руки художника задрожали и опустились ниже.

— Погоди.

Клава не спеша расстегнула блузу. Под руками художника были ее полные теплые груди.

Он понял, что сопротивление бесполезно.

Долго ждала Люба, сестра художника, писем от брата. Не дождавшись, стала собирать посылку. Продукты доставала ей соседка — молодая жена демобилизованного красноармейца, которую с грудным ребенком пускали в лавки без очереди.

Муж Любы, важный инженер, на 15 лет ее старше, в годы нэпа отстроился в особнячке, облюбовав место на подъеме с красивым видом на реку. И двор живописный — в глубине старая кирпичная стена, поросшая мхом, полузакрытая кустами сирени. Посередине — развесистая ветла бросала тень на крышу.

Особнячок инженера, как катерок, отбежал под ветлу от большого дома, несимметрично разросшегося, с наружными переходами и железными лестницами, опутанного проволокой антенн и вервием, на котором развешивали белье. Не дом, а океанский корабль с палубами, мачтами, трубами, снастями и парусами.

В этом доме и проживала с семьей соседка Даша. Она и раньше за небольшую плату стояла в очередях для Любы. Но на этот раз, узнав, что продукты слепому художнику, отказалась от денег:

— Для Константина Ильича грех не постоять. Надо сочувствовать.

Художник, когда жил здесь, часто играл с ее старшим мальчиком, рисовал ему зверей и их дом, похожий на корабль. Видел тогда еще одним глазом. «А теперь в потемках живет, — думала Даша, — будто наполовину похороненный от людей. И сестре не пишет. Не интересно ему с живыми переписываться».

По сравнению с ним Даша чувствовала себя кругом счастливой и обязанной помочь потерпевшему. Но и ее не за горами поджидало несчастье.

Муж ее, Алешин, служивший на границе, вернулся из армии с двумя щенками-овчарками. Вырастив их, получил место ночного сторожа в меховом магазине. Вечером отправлялся с собаками на работу, а днем, отославшись, прогуливал их на бульваре. Можно бы и поближе, но Алешину льстило внимание публики. Зубастые злые звери на поводке внушали прохожим страх и уважение.

Однако не все боялись.

Этим летом появлялся изредка на бульваре старый охотник, прежнего покроя мужчина — широкоплечий, высокий, седоватые баки пониже ушей срослись с усами. Одежда на охотнике — военную донашивает, как и Алешин.

— Вот, — говорил охотник, вытаскивая из кармана куски колбасы и передавая их Алешину. — Собственно ручно дай. Сторожового пса никто не должен кормить, кроме хозяина. Закон!

И старик рассказывал о дрессировке и о разных собачьих случаях на охоте. Все из прошлого, когда он был помоложе. А теперь тоже в сторожах. Стал на ухо глуховат — глухой не охотник, — и медведь ему ногу повредил. Он опирался на палку.

Алешин угощал собак, заставляя их попрыгать и побегать, и с интересом слушал занятого старика. Сам-то Алешин неразговорчив, стеснителен, но силен, быка повалит.

Хоть из своих рук старик не давал, а понимали собаки, от кого колбаса. Как увидят старика на скамейке, так и тянут к нему Алешина. Старик отставлял палку и, смотря на собак из-под спутанных бровей, совал им в пасть руку и давал обнюхать себя. Алешин заметил, что рука у старика несморщенная, крепкая, как у молодого, и на лице такая же дубленая кожа.

«Крепкий старик, — думал Алешин. — Дуб. На старинных харчах вырос».

Осенью старик исчез. Два месяца скучал по нему Алешихин и очень обрадовался, когда под Новый год над освещенной скамейкой увидел знакомые усы. Выяснилось, что старик определился на работу в другом районе, в охрану номерного объекта. На днях случилось у них происшествие. Ночью один из охранников привел нечаянно в действие сигнализационную систему. Вот было переполох-то!

Алепкин посмеялся и на радостях разговори́лся. У него в магазине тоже сигнализационное устройство, которое он включает на ночь, а поутру выключает. Он объяснил, как он это делает. Потом, по предложению старого охотника, отвел собак домой, пошел с ним в пивную старый год проводить.

В пивной старик быстро захмелел.

— Бдительность, — бормотал он, смотря мутно из-под неподвижных бровей. — В нашем деле бдительность — главное. Да тебе-то что? Уснешь, псы разбудят.

— Чтобы уснуть, этого не положено. А собаки действительно.

— Не говори. Спокойная должность. Вроде отдых, а не работа.

— Действительно. А только скушно бывает,— признался Алешин.— Хотя б сегодня. Одному Новый год встречать.

— Вмѣстѣ встретимъ. Зайду къ тебѣ объ полночь.

— Не положено,— сокрушенно возразил Алешин.— Дисциплина не позволяет посторонних принимать.

— Коли так, погоди.

Опьяневший старик вышел и скоро вернулся с запечатанной четвертинкой:

— Бери! Не выпьешь в полночь, год не будет счастливым.

Алешин засунул четвертинку поглубже, от глаз жены.

Дома Даша заметила, что муж выпивши, но не сильно. «Проветрится», — думала она, когда он, поужинав, выводил собак из каморки.

Утром она его не ждала — по случаю Нового года продленное дежурство. В обед понесла ему еду в магазин. На ее стук залаяли собаки. Алешин открыл не сразу, заспался. Первый раз с ним случилось такое на работе. И не помнит, когда заснул. Должно, вскоре, как выпил водку. Обошел магазин. Шкафы заперты, пломбы на месте, только сигнализация выключена. Верно, он забыл ее вчера включить. Поискал еще бутылку от водки. Не нашел. Чудно! Куда делась?

А на следующее утро продавцы, придя в магазин, обнаружили в шкафах большую пропажу. Недоставало многих шкурок дорогих и двух котиковых шубок.

Ночная операция прошла у вора гладко. Шкафы легко отмыкались и замыкались. Только с одним замком пришлось повозиться. И как в насмешку, шкаф этот оказался пустым. В ту минуту вору казалось, что шкаф все понимает и смеется над ним. Смеялся-то тот, кто играет судьбами смертных, — вездесущий игрок, который, как верил вор, поощряет ловких, но иногда, забавляясь, путает их карты. Тройка, семерка... дама.

Но на этот раз вышел туз. Неприятная минута слабости длилась недолго. Преодолев ее, вор, работавший в перчатках, пересчитал, как хирург, свой инструмент, чтобы ничего не оставить. Бутылку, на



которой могли быть следы его пальцев, взял с собой. Чистая работа. Главное, под гримом. Если доберутся до хромого охотника, пусть ищут старика с седыми усами.

Покачиваясь на верхнем диване скорого поезда, вор улыбался, представляя себе, как оперативники милиции сообщают другим отделениям приметы этого старика. Сам-то вор молод и брит, волосы русые, почти рыжие. И имя по ксиве подходящее — Алексей Русанов. Так теперь именуется вор Шуруп легально. Правильная ксива, прописанная законно. Одно только плохо: нет у Русанова определенного занятия. А без этого в Советском Союзе играть долго нельзя. Где-нибудь во Франции или в Америке Алексей Русанов жил бы свободно на широкую ногу, не возбуждая сомнений. Мало ли там богатых людей без делов? У нас не так. Сразу засомневаются. И хоть карман будет туго набит, а придется надеть хомут, потянуть ляжку в учреждении или на заводе.

«Неинтересная все-таки наша страна», — огорченно

думал вор, лежа среди колеблющихся теней, прислушиваясь к ночным движениям в коридоре. Поезд с яркими, как напоказ, окнами торопливо стучал колесами, будто стремясь вырваться из страшных лап ночи. Но ночь, нескончаемая, не выпускала его.

Их было двое в узком купе. Внизу лампочка под оранжевым абажуром освещала плешь близорукого гражданина, зарывшегося, как страус, в страницы книги.

«Блатной роман», — разглядел вор, свесивши голову за край мягкой полки.

— А не страшно? — спросил он.

Близорукий гражданин вздрогнул. Он читал, чтобы не заснуть, опасаясь верхнего пассажира. Детективные рассказы, увлекая его, еще больше усиливали чувство страха.

— Что страшно?

— Да вот это самое, про что читаете. Про воров, про убийства. Ночное время нервное.

— Ничего, — пролепетал нижний пассажир. — И вам, значит, тоже не спится.

— Зуб болит, — соврал вор. Не заботясь о правде, вор никогда не медлил с ответом.

Пассажир с плешью обрадовался.

— О, это мы сейчас устроим.

Он полез в чемодан, толстый, тяжелый, из крокодиловой кожи.

— Не зубной врач случайно? — спросил вор.

— Просто врач.

— По внутренней боли?

— Мы лечим разные случаи, — уклончиво ответил гражданин с плешью.

«Гомеопат!» — догадался вор.

Лекарство капалось из маленькой склянки и пахло спиртом. Похожие бутылочки — березовый гриб, настоянный на спирту, — вор не раз выписывал себе сам из гомеопатической аптеки, когда не было денег на водку.

— Прошло, будто и не болело, — объявил он через пару минут.

Ему хотелось еще поговорить с гомеопатом, но тот, успокоившись, уже укладывался спать и не отзывался.

А вор долго не засышал. Новая мысль занимала его. У гомеопатов хорошие заработки. Могут тратить деньги, не вызывая подозрений. Укрытие, лучше не придумаешь. Будто и на виду, а весь контроль — фининспектор. Фининспектора можно приручить взятками. Диплом нужен... а может, у гомеопатов не требуют? Лекарства-то их пустяковые, святая водица. Впрочем, ежели нужен, можно выкрасть диплом для образца, потом вернуть. Однако сыграет ли он гомеопата со своим образованием? Почему нет? Пропишывай тот же березовый гриб или ромашку, или какую другую траву. Да на это дело есть, наверное, справочник. А что касается наружности... Вор, приблизив к зеркалу бледно-голубые глаза, внимательно осмотрел свой узкий лоб и длинные скуластые щеки. Очки дадут ученый разрез. Можно дымчатые или простое стекло...

И, раздумывая о будущем, Шуруп увлекся представлением своей раздвоенной личности.

В приемной гомеопата больные ожидали очереди. Человек десять, не больше. Кто сидел тихо, с тенью страха Божьего на посеревшем лице, кто рассказывал

вполголоса о своей болезни и о слышанных им случаях чудесного исцеления, когда обычные врачи не помогали. Свободно держал себя длинный дядя, вошедший последним с объемистым потертым портфелем. Пожилой, сутулый, потрепанный, узкая черноватая бородка с проседью, а глаза бойкие, беспокойно бегают за стеклами с золотой перемычкой, ищут чего-то.

К нему подкатилась сестра, круглая, белая, румяная, кисель со сливками, реклама здоровья.

— Вы записаны? — спросила сестра, смотря подозрительно.

— Доложите шефу: инспектор Наркомфина, — откомендовался вошедший, слегка картавя.

— Новый фин, — шепнула врачу сестра, пройдя в кабинет. — Кажется, из бывших чиновников.

«Самая вредная разновидность», — соображал врач, поспешно отпуская больного, приглашая инспектора войти.

— Я уже представил декларацию, — предупредил врач приветливо.

— Знаю, — сказал инспектор, садясь без приглашения. — Пришел познакомиться лично. Декларация... Он порылся в портфеле, ища ее. — Ах, черт возьми, оставил в конторе. Не важно... Некоторые пункты вызывают сомнение.

— Что вы! И так ничего для себя не остается. Для человечества стараетесь!

— Положим, положим, — мягко возразил инспектор. — Кстати, вам, конечно, известно, что право практиковать должно быть подтверждено дипломом.

— Разумеется. — Врач выдвинул ящик письменного стола. Отыскав диплом, развернул его, протянул инспектору.

Инспектор читал долго.

— Запросим институт, — сказал он наконец, полупренебрежительно бросая диплом на стол рядом с собой.

— Вы сомневаетесь в подлинности этого документа? — Врач покраснел от возмущения.

— Формальность, формальность, — успокоительно объяснил инспектор. — Ваша настольная книга? — Он указал на однотомный «Справочник гомеопата». Взяв книгу, полистал, положил небрежно на стол, закрыв ею диплом. — Да-с, мы, финансовые работники, формалисты.

— Но этого института уже нет. Я не знаю, сохранился ли архив?

— Осложнение, осложнение, — сказал инспектор, улыбаясь, торжествуя.

«Хочет взятку», — сообразил врач.

Он нагнулся к ящику, отсчитал несколько бумажек.

— Моя обязанность как врача — бороться с осложнениями. — Хмурясь, протянул бумажки инспектору.

После ухода инспектора врач поспешил возобновить прием, забыв о дипломе. Вспомнил, когда вынул из ящика вечернюю почту. Там было письмо без марки, без почтового штампа.

«Если желаете получить диплом обратно, — прочел он, — принесите сто рублей в Первомайский сквер в среду в 12 ноль-ноль. К вам подойдет мальчик. Пароль: фининспектор. Оцените скромность погоревшего, которому нужны деньги».

Сперва врач не понял. Только после тщетных поисков на письменном столе и в ящиках ему открылся смысл: «Неужели этот инспектор?..» Врач был ошеломлен.

млен. Он мог предположить все, что угодно, только не это. Так естественно было впечатление, произведенное фининспектором.

День за днем, подобно растению, пускающему корни в непривычную почву, открывал в себе художник способность жить в новой среде. Исчезала обособленность, рушились стены, отделявшие его духовно от обиженных судьбой, от неудачников и бродяг.

Чтобы совсем сродниться с жизнью колонии, он возобновил работу в мастерской слепых. Но скоро опять оставил ее. Достойно ли человека, пусть слепого, тереть до гладкости костяные ручки зубных щеток в течение полного рабочего дня? Такая работа не сближает, а унижает людей. Материально она была не нужна художнику. Его поддерживали посылки сестры и дары из кухни, которые приносила Клава. А еще крепче — ее любовь.

В летние месяцы, когда часть населения колонии предавалась бродяжничеству, вторая койка в его келье часто бывала незанятой. Он оставался подолгу наедине с собой. И почти все время отдавал скульптуре. Работал с увлечением, напряженно. Это не значит, что он много раз переиспывал осязаемую форму. Но прежде чем начать лепку, он долго осваивал образ мыслью. Меняя детали, вживался в них. Иногда видел во сне.

Среди законченных работ выделялась женщина с разверстым ртом. Она звала, кричала. Лицо ее выражало недоумение. Будто она увидела что-то непонятное и страшное, но больше удивлена, чем испугана. В ней узнавали слепую девушку из крайнего флигеля, недавно родившую от неизвестного отца. Художник был у нее по поручению местного комитета слепых, выяснить, чем ей можно помочь. Уже в коридоре он слышал ребенка. «Плачет... не принимает нашего мира, — подумал художник. — И в самом деле, мир наш страшен». Молодая мать конфузилась, отмалчивалась, ничего не просила. Художнику казалось, что она скрывает то, что криком выражает ребенок. Из этого впечатления и возникла скульптура зовущей женщины, удивительно похожей на молодую мать.

А Клавин портрет ему долго не удавался. Пока однажды Клава не пришла к нему вечером позже обычного, потому что по просьбе вахтерши, уехавшей на несколько дней к дочери, доила ее корову. «И скотина ласки просит, — рассказывала о корове Клава, скользнув под одеяло к художнику. — Все мордой ко мне тянулась». После этого художник нашел то, что искал. Скульптура изображала женщину с пучком травы и коровью морду, тянущуюся к траве и к женской руке. У коровы было выражение доброе, близкое к святости: потребность в пище как бы превращалась в потребность любви. А женщина смотрела вдаль.

Многие узнавали в ней Клаву.

Была еще одна удача — портрет библиотекарши. Под тяжестью огромной книги сгибалась девушка с длинными кудрями и с большими глазами на худощавом лице энтузиастки. Фигура ее говорила о страданиях.

Работая над этой скульптурой, художник вспоминал стихи безвестного, рано погибшего поэта, посвященные другому поэту, почтенному и поседевшему: «Любимец муз, библиотекарь старый, вчера впервые я увидел вас, и вспомнил я про Сильвестра Бонара, и про его судьбу рассказ. В вас все едино — поступь,

тонкожилые, покато плеч с сутулою спиной. Вы, как и он, свой долгий век прожили с мечтой возлюбленной, как с верною женой».

«Вероятно, и судьба этой юной энтузиастки — вековать с книгами», — думал художник.

Библиотекарша часто посещала его по поводу большой партии книг, которые она выхлопотала для колонии. Книги эти, вывезенные из помещичьих имений, долго хранились в городе в подвале закрытой церкви.

— Отбери. На твою ответственность, — сказали ей в райисполкоме. В этом собрании могли быть издания, нежелательные для власти.

Составляя каталог, она в сомнительных случаях советовалась с художником. Как-то пришла с томиком Гумилева. Ей нравились эти стихи, но ведь Гумилев был враг Советской власти.

— Есть здесь стихотворение «Память»? — спросил художник. — Прочтите мне его.

Когда-то, в ранней юности, художник любил Гумилева. Гумилев привлекал его тем, что искал красоту в материальном чувственном мире и воспевал человека, жадно ищущего приключений. Таким был и сам Гумилев — мореплаватель и стрелок. Позже он погиб в борьбе с Советской властью, что еще больше сближало с ним художника.

Сейчас художник ожидал того волнения, которое вызывали в нем прежде стихи Гумилева.

Библиотекарша начала нерешительно, невнятно, смущаясь оттого, что читает вслух недозволенное.

Но после стала читать хорошо, от сердца, но художник не взволновался. Его удивляло, что он не замечал раньше слабости стихов, будто бы эмоциональных, но исходящих из неглубокого источника. Все наружу, ничего внутри.

А юная библиотекарша продолжала с нарастающей убежденностью и энтузиазмом:

«...Память, ты слабее год от году — тот ли это или кто другой променял веселую свободу на священный долгожданный бой? Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь, но Святой Георгий тронул дважды пулею нетронутую грудь...»

Фальшь последних строк больно резанула художника. «Святой Георгий... как возвышенно о крестиках, выслуженных на мировой бойне!»

Он понимал теперь, что материально-чувственный мир, воспеваемый Гумилевым, был фикцией, обманом.

Но что же есть, что реально? Ответ на этот вопрос художник вынашивал долго, как женщина носит еще не явленный плод.

Как-то давно он видел игру кукол на сцене. Куклы не подражали людям, они двигались с переломом в суставах, делали головой невозможные повороты, в танце показывали фигуры, недоступные ни танцору, ни акробату. И все-таки они были живы. До такой степени он был увлечен их игрой, что забыл о масштабах, и был поражен, когда кукол на сцене сменили артисты. Живые артисты, огромные, как гулливеры, казались много грубее кукол — в них не было столько жизни.

Он понял тогда, что не подражанием природе живо искусство, и перестал писать этюды с натуры. Это все, что ему открылось в то время.

Теперь же он думал о том, что куклы на сцене не

только живее людей, они бессмертнее их. Их жизнь не зависит от биения сердца, от кровообращения, от работы легких. Их создали не материя, не закономерности биологии, а мысль режиссера и автора. Мысль, руководимая любовью деятеля к своему, еще не явленному детищу. Они живы, потому что отражают ее.

«Вот где, может быть, настоящая реальность, источник жизни, источник всего, — думал художник, — мысль, рожденная любовью, сознательная деятельность, а не случайные изменения чувственного мира, не реакции вещества, как мы себе представляем».

Он лежал у окна влажным осенним утром. В саду, тихо позванивая, сыпался на листья дождик. Рядом мокротно дышал растрепанный тощий старик — новый сосед по койке. Вчера вечером старика привели беспризорные, вернувшиеся из летних скитаний. Голодный, бездомный, он бродил с ними, пока позволяла погода. Ночью старик давал знать о себе запахом махорки и кашлем, а под утро уснул.

Художнику вспомнился другой старик и сырое осеннее утро с ветром. Мокрые листья летели с черных деревьев. Рассвет, расширив пространство, обнаружил движущуюся фигуру, длиннополую, странно знакомую, с бородой, закрывавшей лицо до глаз. Старый еврей брел встреч взводу, с которым шел художник. В гражданскую войну не было сплошного фронта, разный народ встречался в районе военных действий. Но старик смутился, чувствуя враждебность к нему вооруженных людей. Он собирался заговорить, объяснить, какая причина подняла его в такой ранний час. Надо было помочь ему, шуткой разрядить напряжение. Художник не успел. Из колонны раздался выстрел.

Старик падал медленно, на бок, без крика, как подрубленное дерево.

— Взвод, стой! — взревел художник.

В коллективе, где каждому дано право убивать, где убийство — разрешенная практика, вес и влияние получают те, кто осуществляет это право уверенно, не сомневаясь. Жестокие божки! — их боятся и уважают. Во взводе художника молодой солдат, прозванный Красивым, «с девичьей улыбкой, с змеиной душой», убивал с вызывающей наглостью. Художник ненавидел его за наглость, за страх, который он внушал, и за серебряную пластинку с изображением медведя, вставшего на задние лапы, которую он носил на груди, как амулет. Украл где-то либо снял с жертвы.

Теперь представлялся случай разделиться.

Но когда он подходил к Красивому, уже вскинувшему на плечо винтовку, к ним подскакала перетянутая в талии белесая Маруся в черной черкеске — адъютант и любовница полковника.

— Не задерживайте взвода, — приказала Маруся, наезжая высоким белым конем на художника, и выстрелила в воздух из пистолета.

Художник уступил. Бешеная бабенка застрелила бы его безнаказанно.

Он покраснел от стыда, вспоминая, как уступил тогда из трусости, из опасения за свою жизнь. А нечего было опасаться. Смерть — призрак, обман, как и стихи Гумилева. Он понимал это теперь, смотря в прошлое. Старик, поваленный выстрелом, сделал хорошее дело и остался в сознании, где все всегда живо, неумирающей сильной деталью осеннего пейзажа. А он, художник, обманутый призраком смерти,

продолжал фиктивное существование... окончившееся слепотой. Слишком много нехорошего видели его глаза в белой армии. Вот почему он ослеп, а не вследствие тифа, сыпного или возвратного, как объясняли врачи...

Дождь, устав возиться в кустах, стих. В келью проник настоящий аромат палых листьев и мокрой коры. Остро ощущалась осень, тихая, неторопливая, обволакивающая окрестность. И будто оттуда, из обнаженных просторов, в сознание художника пришли стихи, которые ему накануне прочла библиотекарьша из маленькой книжки Блока. Она приходила поделиться радостью, что ей попало это первое издание, такое интимное по сравнению с посмертными томами; казалось, дыхание Блока согревало страницы.

Когда в листе сырой и ржавой
Рябины заалет гроздь,
Когда палач рукой костлявой
Вобьет в ладонь последний гвоздь,
Когда над рябью рек свинцовых
В сырой и серой высоте
Пред ликом родины суровой
Я закачаюсь на кресте...

Как сквозь роняющие листву деревья, в стихах обнажались правда и красота осени. Пора умирания без смерти.

«По-настоящему красиво то, что любишь, — думал художник. — Не потускнела же для меня красота от потери зрения. Потому что любовь не умерла».

Люди стали ближе ему. Он стал лучше их понимать, не мешала физическая оболочка, раньше скрывавшая их от него. Кашляющий старый бродяга, шумные беспризорные, их разговоры вчера у натопленной печи, в которой они пекли картошку, выкопанную с колхозного поля, даже их жуткая ругань сладко ранили душу, не вызывая неприязни. Не было больше гумилевской пелены. Не было чувства, что он на дне.

Следствие по делу о краже из мехового магазина застряло на Алешине. Кого бы допустили собаки без шума, если б он не помог? Служащих магазина собаки не признавали, рычали на них, как убедилсяследователь при дознании. А было тихо на углу в ту новгородную ночь. Милиционер на посту не слышал лая.

В четвертинке Алешин признался только жене.

— Молчи про это, — наказала жена, побледнев.

И Алешин молчал.

Делая обыск в его квартире, прислушиваясь к собакам, рычащим и царапающим дверь из каморки, следователь спросил невзначай:

— По двору бегают или весь день тут держишь?

— Пусти их на двор, еще загрызут кого, — ответила бойкая Дарья вместо Алешина.

— По бульвару пробегаюсь с ими, — сказал Алешин.

— А знают они кого-нибудь, кроме тебя?

— Никого не подпустят.

— Охотника-то забыл? — вмешалась опять Дарья.

Сообразив выгоду мужа, она поведала следователю о хромом охотнике, кормившем собак колбасой, как ей рассказывал муж.

— Тот самый старик, с которым ты под Новый год выпивал? — спросил наугад следователь, уверенный в том, что Алешин, выпивши, спал на дежурстве.

Алешин и Дарья обомлели.

— Нам все известно. — Следователь смотрел в гла-

за Алешину, чувствуя, что попал в точку. — Правду говори, лучше будет.

Так следовательно дознался до правды.

Когда дошло до Алешина, что он обманут стариком, ярость охватила его. Уволенный из магазина, с утра до вечера бродил он теперь по бульварам с безумной надеждой встретить опившего его вора. «Пускай погуляет, — думал следователь. — Может, и в самом деле встретит. Всякое случается в нашей практике...» Еще из-за семьи не арестовал следователь Алешина. Взял только подписку о невыезде.

И Алешин скоро устроился на завод разнорабочим. Проезжая по городу на грузовой машине, смотрел по сторонам, все еще надеясь встретить седоусого старика.

А следователь ждал. Столкнуть такой заметный товар непросто. По всей стране отделения милиции и таможня разосланы розыскные списки. Сообщены и приметы хромого охотника.

Вор, однако, столкнул.

Через полгода у двух переезжавших границу шведов нашли в багаже котиковую шубу, черно-бурых лисиц, соболя. Шведы показали, что в меховом магазине далекого сибирского города рядом с ними приценивался к мехам речной капитан и удивлялся высоким ценам. Потом едва заметным жестом позвал их на улицу. Оттуда пошли они с капитаном в гостиницу, и там, в номере, он продал им эти меха. Нет, он не хромал, и не седые усы они запомнили, а рыжую бороду кругом лица и то, что капитан пристально рассматривал деньги, плохо видел. «Желтая вода, глазная болезнь моряков», — объяснил он им. Роста он был такого же, как они, — высокий.

Меха переслали в милицию того города, где была кража.

— Наши, те самые, — признали продавцы в магазине. Они были рады, что часть украденного возвращается государству и их вина стала как бы меньше.

Но следователю осмотр мехов не дал, за что зацепиться. Одно лишь подсказывалось: хромой охотник, по-видимому, действовал не в одиночку. У него был сообщник, тоже старик.

«Два старика? И такая дерзость!.. Удивительный случай», — думал следователь.

С этой мыслью и с тяжелым сердцем он шел по вызову к новому прокурору.

Прежнего в прошлом месяце арестовали.

Обогащаясь, власть не добрела, а свирепела. Давно прошли годы раскулачивания, а репрессии продолжались. Аресты по доносу стали бытовым явлением. За ними следовали негласные приговоры в каторжные лагеря и тайные казни. Появилось новое понятие — «враг народа». Власть клеймила им всех, кого подозревала в недоброжелательном к ней отношении. Не щадила и самых верных своих слуг.

Прежний прокурор был старым членом партии. В чем его обвиняют — следователь не знал, но в его невиновности не сомневался. Долго вместе работали. Поэтому он и себя чувствовал под ударом. Как угадать, кто будет следующей жертвой. Не разбирая, хватала власть правого и виноватого.

«Мы идем по стопам французской революции, — рассуждал следователь. — Чтобы уцелеть, надо не иметь убеждений, быть беспринципным, как Фуше».

Он искал моральной поддержки у этого гибкого начальника французской полиции, прошедшего невредимо все режимы — от Робеспьера до возврата к монархии. Следователь шел обратным путем. Он начал карьеру при царе, пережил благополучно революцию, а дальше?.. Как будет дальше?

Новый прокурор, партиец молодой формации, холодный, официальный, не похожий на революционера, прошел школу служебных интриг, а не царских тюрем. Он охотно клонил ухо к тем, кто желал втереться к нему в доверие. Ему указали на дело о краже мехов как на пример попустительства врагам народа со стороны прежнего руководства. В шайке, совершившей кражу, несомненно, участвовали свои, а никто не арестован.

— Мне говорят: у вас вор вора ищет. — Прокурор не смотрел в глаза следователю, и от этого взгляд его казался еще более вызывающим и наглым.

Следователь понял, на что намекает прокурор, и хотел было привести доводы в пользу Алешина, но вспомнил Фуше. «Соглашаться надо... Плетью обуха не перешибешь». — И он стал валить вину на прежнее начальство.

Такая тактика новому понравилась. Лестно ему было, что известный специалист-следователь, превосходивший его опытом и знаниями, унижается перед ним. Он стал милостив:

— На первый раз прощаю. Повинную голову меч не сечет. Исправьте ошибку.

Дверь открыла Дарья — тонкая, гибкая, с полнотелым ребенком на руках. Испугалась, увидев следователя с милиционером. Из-за стула бледный мальчик лет десяти взирал на них с любопытством.

Алешин спал. Вчера он отъездил две смены.

— Не тревожь пока, — сказал следователь и приступил к обыску.

За дверью в каморку слышалось царапанье собачьих лап, негромкое ворчанье.

— Не расстались еще с собаками?

— Одну продали.

— Кому?

— Завод купил.

Собака злобно залаяла, будто поняла, что говорят о ней.

Алешин открыл глаза. Спустив ноги с кровати, еще не очухавшись, смотрел то на милиционера, стоявшего у двери, то на следователя, выдвигавшего ящики комода. Следователь искал небрежно, зная, что ничего не найдет. Обыск был необходимой формальностью и отсрочивал неприятную минуту ареста.

— Собери ему смену белья и покурить, да пожевать чего-нибудь на первые дни, — сказал наконец следователь Дарье, стараясь казаться веселым, протыгивая Алешину портсигар.

Алешин неловко толстыми пальцами выковырял папиросу.

— За что ж его-то берете? — выплеснулась торопливой речью Дарья. — Вора не нашли, его вместо вора берете. А я что с ими буду делать? — Она указала на мальчика, прятавшегося за стулом. — Как же жить будем? Берите и нас заодно. Всех берите.

— Будет, — сказал Алешин неуверенно, стыдась.

— Суд разберется. — Следователь, встретив тревожный взгляд бледного мальчика, отвел глаза и зажег папиросу. — Вернут тебе его.



— Не больно от вас ворочаются. К вам как в царствие небесное. Назад ходу нет. До суда б хоть оставили.

— Не могу. Служба. Да не пропадешь ты. В Советском Союзе на всех работы хватает... А чтоб на первое время обойтись, продай мне собаку.

— Мы ее со щенка вырастили. Все равно как дочка родная.

Дарье собаки, после того как магазин перестал платить за них, были одной обузой, и только час назад она поссорилась с мужем, доказывая, что надо и эту продать кому-нибудь. Но теперь ей было жаль мужа.

— Покупайте, — сказал Алешин, покраснев, расстроженный сочувствием и благородством жены.

На следующий день следователь пришел к Дарье за собакой.

Власть не упразднила денег. Она сама пользовалась ими как могучим орудием подчинения людей своей воле, своим целям. Поэтому и в частных руках деньги оставались силой. Гражданин с деньгами мог успеть во многом... например, легко разрешить для себя трудный жилищный вопрос.

Столкнув шведам меха, Шуруп купил отдельную квартиру — две комнаты с удобствами на тихой улице. Вывесил дощечку на входной двери: «А. В. Русанов, врач-гомеопат». Скромно. В подъезде не вывешивал. Незаметнее лучше. Дорога фирма, а не пациенты.

На случай приготовился и к пациентам. Из фармакопеи и руководства по народной медицине выписал несколько рецептов. Заготовил флакончики со слабыми растворами спирта и солей, баночки с мазями.

Первой пришла женщина с опухолью под мышкой. Была в амбулатории, там сказали — надо резать, а она боится. Ей посоветовали к гомеопату. Гомеопат и без ножа вылечит.

— Болит? — спросил Шуруп.

— Вроде бы нет. А тянет и боязно. Говорят, будет расти, съест она меня. — Выцветшие глаза женщины расширились от страха.

— Ну, ну... говорят. Меньше слушай, что дуют в уши. Вот, возьми.

Шуруп протянул женщине флакончик со спиртовым раствором, сказал, чтоб капала в стакан с водой и пила утром и вечером.

— Поначалу десять капель, потом каждый день прибавляй по капле. Твое здоровье в этой склянке.

Женщина просияла, словно он ее уже вылечил. Стала развязывать носовой платок, в котором у нее были деньги. Надо было назвать цифру — ту, что брал гомеопат, перед которым Шуруп разыграл фининспектора, но с непривычки язык не поворачивался. Заметив его нерешительность, женщина предложила:

— Может, возьмете продуктами. Творог, сметана. Все свое, свежее.

Она жила на окраине и держала корову.

После ее ухода стены в квартире будто покосились. «По кривой линии иду», — констатировал Шуруп. Кража, грабеж представлялись ему благородным занятием, связанным с риском, с опасностью, требующим умения, опыта, призвания, а эта гомеопатия... «Был честный вор, стал мошенником», — вынес он себе приговор.

Вечером подался в ресторан. Сидя у окна, завешенного тяжелой бордовой портьерой, поглядывал на кудрявую блондинку в лиловой блузке, сидевшую за кассой. Ждал, когда придет к ней инкассатор за выручкой. За ближним столиком раздавшийся вширь мужчина обнимал разомлевшую женщину в розовом платье. На круглой спине у женщины расстегнулись две пуговицы пониже незакрытого волосами затылка, и рука мужчины тянулась туда, к тугому телу. Оглянувшись плавно направо, налево, женщина шепнула мужчине, и оба вышли на время, не расплатившись с официантом.

Шуруп завистливо посмотрел им вслед. Ему тоже хотелось женской близости. Но он боялся. Боялся себя, своего темперамента. Сблизившись с женщиной, он весь открывался ей. Женщина могла его выдать. Поэтому остерегался случайных знакомств.

За портьерой улица была видна до угла, освещенного скошенным светом одинокого фонаря. К подъезду подъехала машина. Инкассатор?.. Нет, из машины вылезли двое пьяных и долго спорили со швейцаром, не пускавшим их в подъезд.

В зале опустела эстрада, ушли музыканты, забрав инструменты. Блондинка в лиловой блузке подсчитывала кассу. Стали приглашивать свет.

«Инкассатора сегодня не будет, — понял Шуруп. — Выручка остается в кассе на ночь... Интересно!»

Не все дела «врагов народа» разбирались тайно, без гласного суда. О некоторых процессах печатались подробные отчеты в газете.

В колонию московская газета приходила на четвертый день. Получив ее в полдень от библиотекарши, художник отправлялся на поиски добровольного чтеца. Нелегкая задача. Среди колонистов мало охотников долго читать газету. Когда-то безногий грузин читал ему вслух охотно. С тех пор прошли годы.

Его теперешний сосед, растрепанный кашляющий старик, отказывался от чтения газеты принципиально:

— Фальшь! Молчком читать противно, а на голос вовсе не могу. Вроде я верю.

Старик не верил газете, не верил процессам. В измене Советской власти обвиняли революционеров, в прошлом боровшихся за эту власть, и они на суде признавали свою вину, помогая обвинителю разоблачать их. Старик не сомневался, что показания их при следствии вынуждены насильем и что этими процессами власть отвлекает от себя недовольство населения. Во многих местах еще было плохо с продовольствием, и в колонии по-прежнему княжил голод, а газеты сообщали о небывалом повышении производительности на фабриках и в шахтах, о колхозах, ставших миллионерами.

— Кому же эти миллионы идут? — спрашивал старик. — Не народу, нет.

Но художник жадно следил за событиями.

— Надо быть в курсе, — уговаривал он старика. — Такие перемены в стране! Неужели неинтересно?

— Была перемена, да сходит,— упорствовал старик.— Обратно на старое поворачивается. Прежде царя славили: славыя, славыя наш русский царь. А перед нынешним и вовсе лбы расшибают. И отец, и мудрец, и прочая, и прочая.

Действительно, народная власть трансформировалась в волю единого вождя-полубога. Не только слово, сказанное против этого вождя, каралось как тяжелое государственное преступление, но и молчать, не славить его в общественных выступлениях было опасно. Из книг художник знал, что и прежде бывало такое в истории, но он не понимал, как все-таки удается одному давить безотказно на всех при коллегиальной форме управления.

— Всем мозги закрутил,— продолжал старик.— Генералам советским красные полосы на штаны нашил, как при Николае. Недолго, и золотые погоны нацепит.

— Генеральские лампасы?! Загибаешь, отец.

— Лично видел в Москве такого фазана.

«Старик, пожалуй, не врет,— размышлял художник.— Революционный огонь превращается в пепел, а из пепла возрождаются традиции старой России. В газетах стали проповедовать патриотизм — гордую древнеримскую любовь к отечеству. Слова «герой», «патриот», «родина», сваленные революцией в мусор, снова приобретают активность в общественной жизни».

Слова эти много значили и для художника, когда он сражался в белой армии. Но белые проиграли. Их победила армия, у которой на вооружении были другие слова: «интернационал», «мировая революция», «рабочий класс». Почему же теперь победители как будто не полагаются больше на действенность своих слов?

— Настоящая перемена,— снова заговорил старик,— это если сам человек в себе меняется.

— А с тобой была такая перемена?

— Случилась,— не сразу ответил старик.

Вечером, когда в трубе выл ветер и оба они лежали на койках под одеялами, старик, кашляя, рассказал художнику свою историю.

Был он прежде хозяином в деревне. В войну попал в плен к немцам. Работая у них в поле, дивился их довольству, их гладким хатам, крытым черепицей. Обещал себе: «Если буду жив и вернусь домой, поведу хозяйство по-ихнему».

Но домой вернулся не скоро. Замирившись с Россией, немцы продолжали войну на западе и, отговариваясь отсутствием транспорта, затягивали отправку на родину работающих у них русских военнопленных. И когда наконец отправили, то не поездом, прямой дорогой, а пароходом, через много морей, на юг, где была белая власть.

Опять его взяли в армию. Но он не хотел служить белым, дезертировал. С полгода покочевал по городам, пока не попал наконец в свою деревню.

— Деревня небольшая, двенадцать дворов на взгорье,— рассказывал старик.— Внизу речка. Как вышел из лесу, все двенадцать передо мной как на ладони. Я, конечно, своим гнездом интересуюсь. Смотрю... и не вижу. Избы моей нету. Лица старая, наклоненная стоит, как стояла, лавка под ней крашеная, а избы будто и не было. Заместо нее дом германский под красной черепицей, большие стекла, чистые, блестят на солнце... новый хозяин. Сердце у меня упало.



Померли мои или с сумой пошли?

Сел на пенё, закурил. Кругом все знакомое, родное, только мое место почужело. И хотя дом точно, какой я желал себе, а теперь он мне некрасивым казался. Мертвый какой-то. За огородами никого не видно. Слышно, на той стороне в поле работают. Корова звякнула колокольцем. Вышло из лесу к речке стадо. Пастух... Он самый, кривой Терентий.

Испугался Терентий, меня увидел. Одиному глазу не поверил. После объяснилось. Извещение обо мне было, что пропал безвестно. Считали, убит. А еще до того поставили жене пленного немца, помогать семейству в работе. Немец и срубил этот дом. Девочка у моей жены от него... год будет.

Старик закашлялся, стал крутить папиросу. До художника дошел сытый аромат махорочного дыма.

— Взял я с пастуха слово никому не говорить, что видел меня,— продолжал старик, откашлявшись.— Жизнь, что река, вспять не пойдет. Простился, пошел обратно лесом. И так мне вдруг легко стало. Все года забота о семье, как груз, тянула меня в одну сторону,

к родному гнезду. А тут враз освободился. С тех пор так и живу, легче цыгана.

— И ни разу не пожалел? — спросил художник.

— Об чем жалеть-то? Немца раскулачили, жена с ним в Сибирь уехала, с дочкой. И мне так же было бы, если б я по-германскому старался. Судьба — индейка, а жизнь — копейка.

— А твои дети? У нее ведь и от тебя были дети?

— Два мальчика. Им лучше. То были б кулацкие сыны, а теперь нет за ними родительского греха. Один на инженера кончает. Другой работает. Гостил я у него на Урале. Скучно показалось. Птица из гнезда улетает, и человеку негоже себя на цепи держать.

Процесс «врагов народа» завершился смертным приговором большинству обвиняемых. Теперь власть требовала от народа одобрения приговора на собраниях, которые ее слуги созывали на каждой фабрике, в каждой конторе, в институтах и университетах. Никому не позволяла власть оставаться в стороне. И от колонистов она требовала выражений сочувствия своим действиям. Даже от слепых.

Беспризорный старик на собрание не пошел.

— Николай, когда казнил, моего одобрения не просил. На свою душу брал. А nonetheless и меня хотят в ихние дела впутать. Мне своих грехов довольно.

Художник понимал старика, но не идти не решился. С него больше спрашивалось, он был выбранным в комитете слепых. Доверие обязывало. Слепые еще больше зрячих боялись конфликта с властью. Рассчитывали на ее помощь в их беде.

И еще художник пошел из-за библиотекариши. Она тоже доверяла ему, уважала его чрезвычайно. Но вместе с тем она была искренней слугой власти. Верила власти беззаветно. Если власть казнила, значит, за дело, для блага народа. Она не поняла бы его, если б он уклонился от одобрения приговора, и самолюбивое чувство не позволяло ему потерять ее доверие и уважение.

Обычно слепые собирались отдельно, в темном подвале своего флигеля, где для порядка тоже висел портрет сверхвождя-самодержца, хотя они его не видели и часто даже забывали включить лампочку. Им было одинаково светло без нее. Но в тот вечер собрание было общее для всех колонистов — в красном уголке, где сверхвождь не только был изображен живописно во весь рост, грозно отталкивая падающий за ним стул, но и скульптурно, в углу, в окружении красных знамен.

Первым выступил заведующий колонией. Как тень генерального прокурора, он воскрешал судебный процесс, клеймя обвиняемых. Казалось, что обвиняемые тоже присутствуют здесь или, может быть, их сообщники. Впечатление это усилила библиотекариша, говорившая по-женски с гипнотической настойчивостью. Как сомнамбулой, ею управляла мстительная воля сверхвождя, его жажда жертв.

Слепые пугливо перешептывались между собой. Наконец, взяла слово слепая с бледным беспокойно-подвижным лицом, напоминавшая оперированную морскую свинку. В быту она мелочно ссорилась, а на собраниях выступала авторитетно, курая фамию власти, как бы по долгу службы. Художник относил ее

к тому женскому типу, что безуспешно старается высечь в себе искру веры, кладя поклоны и целуя иконы в пустых церквях.

Сам художник не мог принудить себя к выступлению. Он был под влиянием беспризорного старика, и не те слова, которые можно было говорить на собрании, приходили ему в голову, а совсем другие. Слова эти складывались в ритм, рождали образы и искали рифмы.

К огорчению библиотекариши, он промолчал до конца.

Кончилось чтением резолюции, которой собрание одобряло кровавый приговор и благодарило вождя за охрану народа от врагов.

— Кто «против»?

Не поднялась ни одна рука. Все молчали.

— Принято единогласно!

«Безгласно», — подумал художник.

Когда он вернулся в свою келью, в его голове сложились стихи, которые он еле слышно поведал беспризорному старику:

— Россия! Вновь твои костры бросают отсветы на плахи, и снова топоры остры, и снова правят мономахии...

— Истинно так, — одобрил старик. — На каждом километре по начальничку. И все с топориками.

После ареста Алешина Дарья по совету следователя пошла к прокурору. Но прокурор и говорить не хотел с ней о том, чтобы до суда отпустить мужа. Дарья поняла: он ее главный враг.

И на суде прокурор требовал применения самой строгой статьи. Защитник, бесплатный, от профсоюза, робко доказывал, что, пока вор не найден, нельзя привлекать за соучастие, не имея к тому же улик. Но судья не слушал защитника, перебивал, не давал говорить и отпустил Алешину по статье все семь лет без скидок.

Дарья ахнула, что так много. Но дальше не стала жаловаться. Привыкла к тому, что с властью бесполезно спорить. Власть всегда знает лучше. К тому же муж виноват тем, что выпил на дежурстве. И в ее отношении к прокурору было больше страха и чувства своей приниженности, чем ненависти.

До тех пор, пока однажды она не увидела его на своем дворе. Проследив, она выяснила, что прокурор ходит во флигелек, к Любе, жене инженера, когда мужа нет дома. Сразу слинял с него авторитет власти. Он стал в ее глазах обывателем, ищущим незаконного удовольствия.

Через год инженера арестовали, сослали. В его квартире взяли на учет лишние комнаты, и в них поселился по ордеру прокурор. Дарья не сомневалась, что прокурор все подстроил нарочно, чтобы жить с Любой. Но соседям она не говорила об этом. Боялась задавать сильного. Если и ее возьмут, что будет с детьми?

Она привыкла справляться одна за то время, как муж был в армии. И теперь зарабатывала стиркой, мытьем полов, уборкой комнат в конторе.

— Удивляюсь на тебя, как ты живешь, — спрашивал ее инвалид-портной, пробавлявшийся на их дворе частными заказами. — Двое детей все-таки.

— Нечего удивляться, — сердито отвечала Дарья. — Кошка живет, и собака живет. Разная бывает жизнь.

С прокурором Люба познакомилась на даче. Она лежала в цветущей траве на берегу у одинокой ивы, отдавая жарким прикосновениям солнца, когда он разделся близко от нее, взобрался на верхнюю ветку и прыгнул. Гладкое сильное тело раздробило в воде отражение дерева. Увлекаемая его смелостью, Люба тоже бросилась в воду, с нижней ветки. Все стало просто, доступно. Они легко заговорили друг с другом.

Удивила Любу серебряная пластинка — медведь, ставший на задние лапы, — которая, как образок, висела у него на волосатой груди.

— Амулет, — объяснил он, загадочно ухмыляясь.

— Вы суеверны? Несовременно!

Однако несовременность усиливала индивидуальность, и он показался Любе еще значительнее, когда она узнала, что он прокурор и партиец.

— А партия позволяет амулеты?

— Не на все нужно позволение. — В глазах прокурора блуждал огонек желания.

Он хотел увлечь Любу подальше от воды, в полумрак между мохнатыми елями. Но смелость ее покинула. Она окликнула Никишу — сына, игравшего на берегу с мальчиками.

— Похож на отца? — спросил прокурор, заметив, что Никиша мало похож на мать.

И на другой день, и на следующий Люба нашла прокурора у ивы. Он проводил на даче свой отпуск.

А в воскресенье Николай Николаевич уехал по делу к сослуживцу — через несколько станций по той же дороге. Взял с собой Никишу. Люба встретила прокурора в лесу на тропинке к реке.

— Сегодня на нашем месте массовка, — сказал он ей. — Пойдемте подальше... покажу хороший песчаный пляж.

Он повел ее в сторону. Но они не дошли до пляжа. Среди лесных запахов и испарений тело наливалось гнетом жаркого дня.

На лужайке у высокой копны Люба остановилась. От ближней густой ели выпячивался куст с розовыми и лиловыми цветами — красивый, дразнящий. Это место не пускало от себя, тянуло к земле.

— Отдохнем...

Обессиленная, опустила Люба на скошенную душистую траву. Прокурор обнял ее. Она недолго сопротивлялась... На грудь ее легла серебряная пластинка с медведем.

Когда она встала, куст с цветами не казался ей больше таким вызывающе красивым. Ель глядела неприветливо. Место стало чужим. Надо всем преобладала мысль, как она встретит сейчас мужа и сына.

Случилось это в августе, незадолго перед возвращением в город. В городе прокурор часто звонил ей по телефону, звал к себе, но она боялась. Пока однажды вечером он не пришел к ней неожиданно сам, узнав, что Николай Николаевич в командировке. И после стал приходить днем.

Папка с делом о похищении мехов порядочно истрепалась и оттеснялась новыми папками к архив-

ным полкам. Но гибкая, как лоза, Дарья с полнотелым ребенком на руках не ступевывалась в памяти следователя, и укором оживали иногда встревоженные глаза ее старшего сынишки. Напоминал об этом деле следователю и живой свидетель преступления — Карина, собака Алешина.

Он взял ее к себе, чтобы и без Алешина опознать хромого старика охотника, если похожий субъект отыщется. Умная тварь пошла бы к старику, как к другу. Но старик не попадался. Годы прошли без приобщения к делу новых данных. За эти годы характер Карины не изменился. Как и прежде, она не любила чужих. Рычала, если кто подойдет к ней. И еды из чужих рук не брала. В семью следователя, однако, вжилась и сильно привязалась к его больной жене.

Жена следователя, юная хрупкая Лариса с русалочьими глазами, три года как не встает с постели. После второго ребенка что-то случилось с ее суставами. Сесть, опираясь на подушку, не может без помощи. Рука не добирается до губ. Кормят с ложки. И Карина будто понимает ее беду. Часами простаивает у кровати, положив голову на одеяло, чувствуя тонкую, как палка, Ларисину руку, ласкающую ее шею и между ушами. Или лежит в углу на коврике, наблюдая за больной полуоткрытыми глазами.

Всякий раз, как раздавался звонок у парадной двери, Карину запирали в соседней комнате. И оттуда она ревниво рычала, покуда гость не уйдет.

Да, дело о мехах лежало не только на архивной полке, но и на душе следователя. Поэтому он обрадовался, когда оно неожиданно вернулось к жизни.

Нашли и вторую котиковую шубу, тоже на таможене, — у американского инженера, возвращавшегося домой после работы по договору на советской стройке. Купил он ее незадолго перед отъездом возле магазина, откуда ее украли. Высокий чернобровый военный с тремя шпалами, со шрамом от уха к губе, говоривший с кавказским акцентом, прятал ее в чемодане. Сделка состоялась в безлюдном подъезде через несколько домов от магазина. Американцу достался и чемодан вместе с шубой.

Следователь осмотрел чемодан через лупу. Нашел следы ладони и пальцев... может, американца или таможенников... мало ли кто держал этот чемодан за последний месяц... командир-то, как показал американец, был в перчатках. Больше заинтересовали следователя следы смытого железнодорожного ярлыка. Смыт, чтобы не установили, откуда прибыл? Но если преступник так осторожен, зачем прибыл сталкивать краденое у места кражи? Не из их шайки? Не знал, где украдено? Однако метод сталкивания тот же: шуба продана иностранцу возле мехового магазина и, главное, продана точно за ту же цену, какую шведы заплатили за первую шубу рыжебородому капитану в Сибири. Не из того ли сибирского города прибыл и чернобровый командир с чемоданом?

Следователь отослал чемодан в тот дальний город с запросом в милицию. Выяснилось, чемодан изготовлен на тамошней фабрике, а кому продан, установить невозможно. Много продано таких чемоданов и в этом городе, и в других городах. Спрос на них большой.

«Большой спрос на чемоданы...» Прогуливая по бульвару Карину, следователь опустился на скамейку — на ту самую, на которой когда-то хромым старик расставлял сети Алешину. «Да, мотается народ, как бездомные... не найдут спокойного места в своем обширном отечестве...»

Перед мысленным взором следователя возник хромоногий охотник с седыми усами, сросшимися с баками, потом в рыжем ореоле капитан с большими глазами, передававший шубу, как эстафету, узколицему кавказцу со шрамом. «У кавказца брови черные, а глаза светлые, — вспомнил следователь показания американца. — Деловой американец... и перчатки заметил, и цвет глаз». Следователю представились три вора, не похожие один на другого. Однако что-то общее было... высокие и с изъёмом: хромая нога, больные глаза, шрам.

— Един в трех лицах, — машинально произнес следователь, и вслед за этой фразой, как молния, вспыхнула мысль, осветившая все: не один ли вор сыграл эти три разные роли? Скрываясь под гримом, отвлекал от себя внимание резкой чертой, уродством. А рост и цвет глаз гримом не скроешь... Если так, понятно, почему последнюю вещь столкнули возле места, откуда она украдена. Вор-одиночка, талант, вдохновляемый риском, наверное, испытывал при этом острую радость счастливого игрока.

Следователь почувствовал себя, как охотник, напавший на след редкого зверя. После кражи вор уехал в Сибирь, а теперь вернулся. Может быть, готовит новое дело... здесь!

Заскучавшая Карина потянула за поводок. Посмотрев на нее, следователь подумал, что собака не поможет опознать преступника, если он будет задержан. Вора, работавшего под гримом, она не узнает.

Ларису взяли в больницу. Карина громко лаяла в соседней комнате, когда ее увозили, и потом несколько дней выла у опустевшей постели. От ее воя в квартире стало призрачно и тоскливо. Детей приютили Ларисины родители. Со следователем осталась бабка — мать его матери. Бабке уже под девяносто, а кожа розовая, как у младенца. Тело — не в обхват и крепкое, точно дерево, разросшееся годичными кругами. Но, верно, каждый прожитый год был грузом. Старуха отяжелела от них, медленно передвигала ноги. Что-то близкое ожидало ее, куда не стоило торопиться. Глядя на нее, следователь чувствовал, будто и сам он в одичавшей квартире — на грани забвения.

Призрачным было и дело, которое занимало его больше всего. С ним боролся вор-невидимка. Следователь не был суеверен, но перевоплощавшийся вор невольно представлялся ему вездесущим, как дух. Он, наверное, не раз встречал его на улице, в кино, в пивной, в универмаге. «Если бы мысль о воре-актере пришла мне раньше, когда у шведов нашли меха, — думал следователь, поверив в свою гипотезу, — тогда же бы поехал в тот сибирский город... А может, и теперь еще не поздно?... Соблазняла перспектива освободиться на время от гнета притихших комнат, где по углам незримо змеялись вилась тоска.

Он решил идти к прокурору с докладом.

(Окончание в следующем номере.)

НАШИ ЛАУРЕАТЫ

**Жюри конкурса
на соискание премий журнала «Юность»
в области прозы, поэзии
и изобразительного искусства рассмотрело
произведения, опубликованные в 1993 году.**

ПРЕМИИ ПРИСУЖДЕНЫ:



Марии РЯХОВСКОЙ
за повесть
«Записки
бывшей курехи», № 7



Сергею МАГОМЕТУ
за повесть
«Пора услад», № 8



Татьяне РИЗДВЕНКО
за цикл стихов, № 4



Вере ГОРЯЧЕВОЙ
за рисунки к повести
Геннадия Головина
«Покой и воля», № 4

**Премия имени Бориса Полевого
по публицистике присуждена**



Владиславу ДРОЖАЩИХ
за серию очерков и эссе,
№ № 1, 5, 7, 10

**«ЮНОСТЬ» сердечно поздравляет
своих лауреатов и желает новых
творческих успехов.**

Надежда ГАШЕВА ТЕНЬ КРУЖКИ

ПОВОД ДЛЯ ИСПОВЕДИ

*Провинциальные поэты,
Не вознесенные молвой,
Чьи золотые эпоэты —
Ладони матушки больной...*

Алексей Решетов

Итак, о поэтах. Я долго жила среди них. Я видела их совсем близко. Я и сейчас в том же кругу, который неумолимо сужается. И я думала об их судьбе. Наверное, я не стала бы писать о своих раздумьях, но тут случайно обнаружила, что эссеисты П. Вайль и А. Генис размышляют о том же. Они даже написали книгу «60-е. Мир советского человека», и главу из этой книги опубликовал журнал «Иностранная литература» (№ 2, 1991). Сейчас я с гораздо большим упоением читаю № 2 «Иностранки» за 1993 год, где опубликован роман «французского русского» Ромена Гари «Обещание на рассвете». Увы, Европа знает автора с 1945 года. Мы читаем его сегодня. Опять после ужина горчица. Замечу только, что обещание, данное на рассвете, из всего нашего поколения выполнили лишь немногие поэты, и то не полностью, и отнюдь не те, кто был увенчан отечественными премиями и орденами. Обещания, данные на рассвете нашему поколению, вообще не выполнены.

Вернемся к Вайлю и Генису, ибо я отложила чтение романа, чтобы защитить своих поэтов. Авторы обратились прямо ко мне: «...Мы ориентировались, — пишут они, — на достаточно широкий круг людей, в среде которых рождались, жили и умирали идеологические течения... Наверное, этот круг средней интеллигенции... условно можно определить как подписчиков толстых журналов».

Я читаю толстые журналы с 1958 года, со своего 9-го класса, и потому с интересом принялась за статью. В ней много любопытного и верного, а поразило меня совпадение. Я тут недавно сделала для себя открытие: в 60-е годы Хемингуэй и Ремарк «заменяли» нам недостающую часть русской литературы. (Нам, впрочем, многое заменяли, даже поэтических лидеров поколения.) Смотрю — Вайль и Генис пишут о «русском» писателе Хемингуэе. Но вдруг — стоп! — стало понятно: речь только о столичной интеллигенции. Так сказать, о «московских кухнях». Провинции авторы не знают. А потом еще раз — стоп! — что-то, воля ваша, вообще не то! «В 60-е, — пишут авторы статьи, — алкоголь был средством, а не целью. Смысл застолья — в мистическом, полубожественном творческом горении, которое осеняло дружескую компанию... Искусство пьяного диалога заключалось не в философской полемике, а в осторожном нащупывании совместной мировоззренческой платформы. Пьянка могла удаться только тогда, когда ее участники обнаруживали общий подтекст...» И далее: «...трагедия началась тогда, когда жрецы дружбы и адепты пьянства осознали ограниченность своего идеала... Когда карнавал затянулся, его участники почувствовали тоску по настоящему делу. Они уже были настоящими мужчинами, настоящими друзьями и часто настоящими пьяницами. Но все откладывалось дело созидания — книг, государства, семьи».

— Ой, — говорю я, — о, но-но, сэрз, все было не так! Да, вы правы, мы поиграли в 60-х в героев Хэма и Ремарка. Слово «кальвадос» красиво звучало по-русски, а на вкус (удалось попробовать в 70-х, в недоступном теперь Крыму) яблочная водка противней «столичной». Еще заманчивее звучали слова «Париж», «Памплон», кафе «Ирунья», «Клюзери де Лиля»... Герои «Трех товарищей» дружили и выпивали на пепелище первой мировой. герои «Фиесты» дышали воздухом свободы перед второй мировой и легко пересекали гра-

ницы и пространство. А русские провинциальные мальчики 60-х только впитывали в себя пространства своей страны — пересекать их (не говоря уж о границах) было невозможно по многим причинам: не было денег, мест в гостиницах, зато были прописка и надзор, служба и семья, отпуск: у кого — две недели, у кого — четыре, но после надо сломя голову лететь к месту службы, и много еще причин, не стоит в них вдаваться.

И не Хэм, конечно, «подарил поколению счастье мгновенного внерассудочного взаимопонимания», как пишут Вайль и Генис. Это было в крови.

Я из черного теста, из пепла войны,

И стихи мои, как погорельцы, грустны, —

напишет пермский поэт Алексей Решетов, и это поймет каждый, кто голодал в сороковых по русским деревням и городам. Половина парней и девочек — безотцовщина (у кого «забрали» отцов, а вернули только оскорбительную бумажку, что, мол, по ошибке; у кого — убили на войне). Как пахнет этот пепел, мы помним. Провинциальных мальчиков, отмеченных поэтическим даром, тянули друг к другу общая судьба, их прошлое и будущее, общие интересы и, кроме всего прочего, тот страшный духовный голод, который почти невозможно утолить в провинции. В столице, худо-бедно, есть что посмотреть — спектакли, музеи, выставки. А «во глубине России»? Им хотелось видеть картины великих (и даже не очень) мастеров живописи. В Перми они могли пойти в художественную галерею и одну стомиллионную долю своей жажды утолить. Но ведь Пермь — провинция относительно Москвы и Питера. А Соликамск, Чусовой, Верещагино, Нытва, Кудымкар, Ныроб, Березники? Для них Пермь — метрополия, в этих городах (что говорить о селах) никаких галерей не водится. И собирали мальчики дурно отпечатанные открытки, где, однако же, есть и «Мадонна» Рафаэля, и «разорванное мясо» Тинторетто, и Кустодиев, и Врубель... Это позже появились альбомы, где хоть не всегда был тот цвет, каков он в оригинале (а порой цветные иллюстрации давались в черно-белом варианте), но все же сведения кое-какие о художниках можно было прочесть, по крупнее были иллюстрации. Но мальчики благодарны были и за это. Один из них напишет потом:

**«Когда музеи закрывают,
Когда за окнами темно,
Портреты тотчас оживают
И с натюрмортов пьют вино.
На берегах пейзажных рек,
Где над кострами вьется дым,
Портреты — женщины лепечут,
Мужчины плечи гладят им.
И люблю им пожить, как людям,
О том, что на сердце, сказать,
Заплакать, если больно будет,
Смеяться...»**

В рамки не влезать».

(Алексей Решетов, 1965)

А другой поддержал:

**«...И все-таки достаточно нелепо,
Но, право, что особенного в том:
Есть на холсте и дерево, и небо,
А шелест, блеск и бездна —
За холстом?»**

(Виктор Болотов, 1966)

Они хотели видеть игру хороших актеров, постановки известных режиссеров. Бывали гастроли московских театров

(в Перми, конечно). Можно было порой вырваться в столицу — кое-что, урывками, поглядеть. И глядели. И обсуждали горячо и страстно. Но этого было безмерно мало. А потом местные «деятели культуры» отбили у гастролеров высокого класса вкус к поездкам в Пермь — некоторые спектакли запрещали показывать пермским зрителям. Хорошие театры почти перестали ездить в город. А мы — ходить в них. До глубинки же и такие крохи не доходили. Мотались туда-многогострадалные пермские актеры, в холодных автобусах ехали, в дурных гостиницах жили — играли, а зритель благодарно принимал: тосковал по искусству. Оставалось еще радио, позже — телевидение. Да, ждали передачи «Театр у микрофона», и до сих пор шестидесятники из глубинки помнят потрясение от «Короля Лира» или «Леди Макбет Мценского уезда» тех далеких времен. Телевизор был скуп на спектакли, а потом стал скучен, даже бездарен.

А мальчики хотели еще хорошего кинематографа. Но Феллини, Бергмана, Тарковского, Курасаву от них скрывали. Жадно набросились они спустя годы на то, что мир посмотрел и прочитал 10, 15, 20 лет назад... Господи, да собственную-то литературу от них, лучше всех способных ее оценить и понять, скрывали тоже! Мы тайком читали «самиздат», далеко не всем он попадался, люди боялись, за хранение полагался тюремный срок. Читали то, что доходило: «В круге первом» — за ночь, «Доктора Живаго» (фотокопию) — за две, «Защиту Лужина» — за ночь... «ГУЛАГ» наших ссыльных мест тогда так и не достиг. Читали уже в 80-х. Разве так читают родную литературу? Передавали друг другу машинописные копии Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой. Слушали по тем же компаниям запретные пленки с Окужаевой и Галичем. Но большая темница глушила голоса, губила души.

Эстетический голод, сенсорное голодание среди серых одинаковых домов-хрущевок, в черно-белом пространстве семимесячной зимы, на фоне бездарных плакатов, призывов, стендов — как выдерживала это поэтическая душа? Резервы души? А откуда?

**И не видать в окое Россию,
Всю погруженную во мглу,
И только перышком гусиным
Скрипит сверчок в своем углу.
И льются няиюшкины песни,
Как будто слезы по щеке,
И драгоценных жеищи перстни
Горят на пушкинских руке.
И на одной из стен лачужки
В глухом неведомом краю
Тень стихотворца**

**тенью кружки
Пьет участь горькую свою.**

(А. Решетов. «Михайловское», 1965)

Итак, душа выдерживала, подпитываясь молодостью, надеждой, памятью, любовью. Но ее ждало худшее: сначала окрики и брань невежд. (Получая очередную рецензию из Комитета по печати, я долго удивлялась: «И угрожает же ткнуть недоуменным пальцем в самое лучшее!» Потом понял: у них есть антислух и антивкус, основанный на инстинкте опасности: за все хорошее — смерть!) После окриков начались репрессии и — запрет выхода к читателю.

Решетов и Болотов начали печататься в 60-е. Они отнюдь не откладывали «созидание книг». Но вот печатать эти книги грубо не давали. Им не позволили стать известными. Алексей Решетов жил в Березниках, куда сослали после лагеря его маму. Ему некуда было поступать, кроме горного техникума, и очень рано он отправился работать в шахту. Круг общения в Березниках был невелик, но ссыльнокаторжные города России (и Пермь в их числе) таили и тают в себе особый круг интеллигенции. Там есть с кем поговорить. В Березниках Решетов и Болотов встретились. У одного отца расстреляли в 37-м. У другого — убили на войне. Два ярких, самобытных, к тому же глубоких и умных юноши подружались. Они писали по-разному, но обоих сразу заметили. Широким жестом Владимир Радкевич, не менее нищий, чем Витя Болотов, но в ту пору уже известный, мэтр, можно

сказать, накинул на плечи молодого собрата свой плащ, когда Болотов уезжал в Москву, в Литинститут. Лев Давыдычев, тоже мэтр, отправляется в Березники, чтобы познакомиться с Алексеем Решетовым. Выходят первые книги молодых поэтов. Возникают новые дружеские связи с талантливыми ребятами из молодежной газеты. А система уже готовит удар, и в провинции он противнее и страшнее, чем в столице. Болотов приносит в издательство новую книгу стихов. «Вот вы — а вот душа моя». Ну что ж, и начали топтать душу. Книгу оформили. На худосвете вдруг раздался всех оглушивший крик директора издательства: «Это что? Голая баба? Бабу — одеть!» Художник Владимир Вагин (он сейчас работает в Америке, и успешно) еще позволил себе пошутить: «В трусики и лифчик?» Но с ними отнюдь не шутили. Рукопись унесли в обком партии. Кто ее читал, не знаю. Знаю, что вычитали. Десять лет ждал Виктор Болотов возможности напечатать вторую книгу. Он опубликовал потом еще несколько, но поэтическую молодость ему переко-режили, судьбу сломали. Не давали печататься даже в той же молодежной газете — после одной публикации взревела партийная «Звезда», и зубодробительный удар достался и поэту, и даже маленькой врезке о нем.

Эх, другие звезды видят поэты и о другой природе вещей думают. Кто только не бил поддых молодых стихотворцев Перми! И университетские филологи, и партийные журналисты, и издательские редакторы, и старшие братья писатели, включая Виктора Петровича Астафьева, который молодому Юлиану Надеждину врезал так, что сборник того никогда не увидел света, а заодно и Решетову с Болотовым добавил. Верно, партийные дяди и тети, которых Астафьев смерть как не любил, радостно потирали при этом ручки.

Астафьев мыл туши в Чусовом, но вырвался на свободу. Решетов работал на солемельнице почти 30 лет и не выправ-ся, но все же писал стихи такого уровня, какой смело можно ставить в первый ряд современной поэзии. Потому что поэтами рождаются. Кроме того, Решетова почти не издавали в Москве: не надо забывать, что первые книги Астафьева вышли в годы «оттепели», а «Белый лист» Решетова — в конце ее. Единственный тощий сборничек «Рябиновый сад», вышедший в столице, так искорежили московские редакторы, что тихий и мягкий Леша разорвал его в ярости. Да что говорить, если «пацана» ему правили на «мальчонку», и вообще, как это было принято везде, а в Москве — еще и со столичным снобизмом — считали, что редакторы лучше поэта знают, как писать стихи! Нет, поэту не обязательно жить в столице и лучше даже не жить в ней.

О Решетове нельзя сказать, что он не реализовался. На мой взгляд, это один из лучших поэтов России сегодня, а если его мало и плохо знают в ней, это говорит всего лишь о том, что традиция в нашей стране все та же: ведь и Чехова, и Бунина ценили когда-то гораздо ниже Потапенки и Горького, и М. Цветаеву читатель узнал по-настоящему к столетнему ее юбилею. Третий год лежит у меня в столе подготовленный к изданию сборник новых стихов А. Решетова «Иная речь». Его не печатают — убыточно! Благодарные, сдержанные, мудрые, лаконичные, горькие строки.

Родная речь, прямая речь...

Но есть еще и речь иная.

Кому приходит время лечь

В сырую землю — ей внимают.

Зашелестит вокруг листва,

Или пчела прильнет к могиле —

И ты услышишь те слова,

Которых мы не проходили.

Не уехал из Перми и Лев Давыдычев, хотя здесь тормозили его публикации изо всех сил. Но в Москве тормозили еще больше! Помню одно обсуждение недоброй памяти Комитета по печати. Как они все бросились на писателя! Я впервые видела такую дружную травлю. И когда автор, непокорного нрава человек, резко ответил одной даме, ух, буря поднялась! А решалась судьба книги. Коллеги же московские, присутствовавшие на этом сборище, не помогли ничем, только мягко стелили и нашим, и вашим.

Книжки все-таки выходили, и детвора наизусть знала «Ивана Семенова», да и сегодня в любой детской аудитории

знают Давыдычева ребята. Детские книги Льва Ивановича печатались и за рубежом, несмотря на все препоны (а препоны просты до одури: приходила из тогдашнего ВААП бумага в Союз писателей: хотят-де перевести в США и Канаде повесть Давыдычева. А бумагу автору не показывают! И случайно, через год, она обнаруживается). Денег за публикации автор, конечно, не получал, только пару экземпляров книжек. И вот пригласил лично Льва Давыдычева в гости Джанни Родари. Но обком и КГБ знали, что язычок-то у писателя острый! «Не хотят его пустить», но и правды не говорят, гоняют по врачам. После Лев Иванович мрачно шутил: «Напишу рассказ «Как я ездил в Италию» — как мочу сдавал, как к венерологу ходил, о чем в психбольнице беседовал...»

Ну разве можно «выпускать» в Италию, Испанию, Францию и прочие страны мира провинциальных писателей, поэтов, художников? Что им там делать? Пусть ездят зав. отделами культуры обкомов, облисполкомов и проверенные товарищи из центра (они-то поездили!). «Руководители культуры» наберутся ума в Европе и опять будут решать, какие картины выставлять, какие стихи издавать, как прозу писать, спектакли ставить, как петь и танцевать...

Они всегда учили, это не ново. А сейчас учат другие. «Люди 60-х, — пишут Вайль и Генис, — восприняв хемингуэевский стиль, должны были сами решить, что с ним сделать». Хемингуэевский стиль, уверяю вас, мы даже в провинции воспринимали как категорию литературы. Кроме того, один выходец из русской провинции, замечательный, кстати, и своим стилем, Н. С. Лесков, справедливо заметил, что «мы не вчера, как цыплята в крапиве, вывелись», и до Хэма читали Толстого, Чехова, Достоевского. А если говорить о «стиле» выпивок в дружеской компании, то зачем же переворачивать все с ног на голову? Русская провинция (как и метрополия) пила от мутной тоски по родине. От невозможности что-то делать, прорваться с тем, что сделано. От нереализованности таланта, дарованного Богом (талант мстит за нереализованность!).

Чернец переехала в новую квартиру, сразу после этого схоронила мать, много лет прикованную к постели, принесла мне рукопись новых стихов и через несколько дней умерла от разрыва сердца. Наташа Чебыкина тоже умерла от инфаркта. Они родились перед войной, обе голодали в войну, и только несколько лет юности, тоже бедной, были для них легки — из-за стихов и дружбы. Пусть они простят нас, если могут.

Не выдержали и сердца старших — Льва Давыдычева, Владимира Радкевича. Рано ушли Алексей Домнин, Иван Байгулов... Дело не в мартирологе (его можно продолжать). Дело в том, как и где жили эти люди. Чего они хотели и что могли. Роберт Белов издал свой роман, написанный в 60-х, только в 90-е годы. Тогда о нем шумели бы, спорили. Сейчас — молчание.

Когда по приказу свыше в 67-м году начался «разгром» молодежной газеты (и был блистательно осуществлен неким В. Мальцевым, защитившим после диссертацию о социальном положении и ныне возглавляющим силы коммунистов Перми), когда поувольняли под разными предлогами всех талантливых ребят, что им оставалось? Многотиражки — одним, работа на пасеке или в охотничьем хозяйстве — другим, ссылка в маленький городок — третьим. Работу они нашли. Печтаться им не дали.

Мы больше не издаем поэзию — хорошую. Плохую, на деньги спонсора — это можно. Мы больше не издаем прозу живых авторов. Мы издаем Майн Рида, Дюма. Издаем классиков русской и зарубежной литературы, выбирая не лучшие переводы, а безгонорарные. Мы заведомо губим своих поэтов, писателей, художников, музыкантов, ученых. Мы заведомо отбрасываем назад детей и юношество, ведь современной литературы они не узнают.

Что же нам остается? Опять дружеский круг, заметно сужившийся. Бутылка для тех, кто пока находит в ней утешение и кому позволяет здоровье. Жалкая подкачка в виде нищенской пенсии тем, кто уже «достиг» возраста. Остаточная борьба за существование для тех, кто его не достиг... А ведь какие имена и какие шедевры давала порой Рос-

сии ее провинция! Да полно, не провинция ли вся Россия?

Но пить от тоски начали не сразу — в середине 70-х, когда уже был полный «беспросвет» и никакой надежды на что-либо. Тогда вообще все творчество ушло в компании: писали шуточные поэмы, целые представления друг другу делали на дни рождения — словом, весь пар уходил в гудок, потому что на работе было скучно и мутно. А в 60-е собирались иначе: поговорить, поспорить, почитать стихи. Вокруг было много писавших юношей, девушек. Их собирали на разные семинары, там тоже учили — и заезжие дяди, и свои. И они надеялись: поучат, поучат — издадут. Нет, не откладывали «созидание книг», не откладывали, конечно, и «созидание семьи». (А тех, кто пытался взяться за «созидание государства», отправляли за решетку, как художника Рудика Веденеева и поэта Олега Воробьева.) Семьи создали — их надо было кормить. В столице тогда еще жили прилично: купить продукты — не проблема. А в провинции? На «проклятый быт» уходило время, силы. И все же писали — писали. И тут же за это «получали».

Когда мне (по наивности, конечно) вздумалось издать сборник женской лирики «Княженика», где напечаталось 10 молодых — от 19 до 30 лет — поэтесс, разразился скандал. Ударила сперва местная партийная пресса, всегда готовая на такого рода услуги. Потом с бесстыдством вседозволенности какой-то партийный генерал от литературы на писательском съезде (не о чем больше говорить, как о первой публикации 19-летних девчонок!) испинал их, самых юных участниц сборника — Бэлу Зиф и Анну Бердичевскую. Аня обошлась: выпустила, правда, в 80-х, в Грузии, где тогда уважали поэтов, сборник стихов и напечаталась, правда, в 90-х, в «Континенте». А Бэлу Зиф больше не печатали. И Нину Субботину тоже. Долго не печатали после погрома Наталью Чебыкину, Нину Чернец. Наконец, удалось «проташить» тоненькие, в листик, книжечки. Общим шло уже к сорока. Сколько раз их обсуждали, кто только не критиковал! Нина Чернец ухаживала за больной матушкой, жила в подвале, работала на заводе. Она была поэтом по сути, по образу жизни и поступкам.

Когда я вспоминаю ее пространства, вокзалы, пристани, поселки, маленькие города, деревни, леспромхозы — мне так и кажется. И становится жаль каждого, кто растет на этих просторах, «к несчастью, с детства не лишенный слуха». Нет, не верю я в провинциальных меценатов. Не помогут. И сами себе не поможем — уже пытались, и не раз. Исполать новому поколению.

А мы соберемся, кто еще жив, поговорим, выпьем. Вспомним. Вот так сидели мы в комнатухе литконсультанта Пермского писательского Союза Алексея Решетова (ему тогда еще немного платили за каторжный труд читать графоманию) в конце 1990 года, осенью. Вдруг пришел кто-то и бодро предложил «записываться на картошку» (то есть картошку привезут, кому надо). Решетов глянул на нас своими печальными глазами врубельского Демона и произнес:

**Закусим картошкой печеной,
Сухую ботву подпалим.
И будем глядеть обреченно,
Как все превращается в дым.**

ИСХОД

Матвеевы уезжали под Пасху. Специально к большому празднику отъезд свой не подгоняли, все получилось как-то само собой: зимой пришел вызов, потом незаметно минули несколько месяцев в ожидании разрешения на выезд, и вот уже на руках у Моисея гладенькие красивые авиационные билеты.

К Пасхе готовились, как положено. За неделю до праздника Моисей затопил русскую печь, а его жена завела пресное тесто. Делали все так, как учил Господь Моисея: уничтожить все квасное в доме своем, печь пресный хлеб и есть семь дней только его.

Круто мял Моисей ломом на специальной скамье замес, чтоб маца была тоньше, ломче и вкуснее. Всю силу рук, плеч, спины своего еще достаточно крепкого тела вкладывал он в неторопливые, размеренные движения. Занимался Моисей этим делом в своей родной Ильинке последний раз, поэтому разминал тесто так, будто и не тесто это было вовсе, а вся его предыдущая жизнь. Упругий серый комочек хотелось смять, расплющить, уничтожить, во всяком случае, если не извести его совсем, то дать ему новую форму в виде румяных хрустящих лепешек. Именно на такое превращение своего бытия там, на земле обетованной, рассчитывал Матвеев.

А, собственно, почему он и его сыновья уезжали с этой благодатной воронежской земли, которая кормила, поила, одевала и обувала их? Что гнало из самого центра России, с такого чернозема, что куда ни брось семечко — прорастет? Что отрывало от благоухания яблонь и слив, чистых запову, где полно всяческой рыбы, от своей избы и подворья? Моисей пробовал разобраться в этом, но всякий раз запутывался, не добираясь до корней, до сути своего отъезда.

Матвеевы, как и все жители Ильинки, считали себя евреями. Журналисты, которые повадились в деревню в последнее время писать, фотографировать, снимать на пленку отъезжающих ильинцев — конопатых курносых баб и мужиков, — приходили от этих слов в неописуемый восторг. Моисею от этого объяснения было ни жарко, ни холодно. Какая разница, от кого и когда пошла эта вера. Главное, что он, Моисей, был евреем. В положенное время ему, как подобает, сделали обрезание, затем водили в молельную избу, где он, будучи совсем мальчишкой, слышал от взрослых мужиков непонятные слова. Потом он узнал, что непонятные слова произносятся на иврите. Сам Моисей читать книги на иврите не выучился, но моления посещал исправно; по субботам, как и большинство ильинцев, не работал, блюдя законы, положенные верой. В этих законах, унаследованных от дедов и отцов, и воспитал детей своих. Может быть, не в той строгости, что нужно, но воспитал.

Долгое время деревня жила в стране на правах падчерицы. Понятно, что дереволлюционных гонений Моисей не помнил — слышал от стариков. О том, как иудеев выселили в 20-е годы из Тишанки, что располагается километрах в пятидесяти отсюда, в Ильинку, ему рассказал его отец Михаил Борисович. А сам он, Моисей, уже прекрасно помнит, как с десяток лет назад люди в штатском и местный участковый отлавливали ночью какого-то чужака, забредшего сюда с блокнотом и фотоаппаратом.

Блокаду прорвали свежие ветры, дунувшие над страной в последние годы. Вот тогда-то и потянулись первые ильинцы в Израиль. В основном уезжали крепко верующие старики, не желающие полностью растерять истинную веру, ведь молодежь уже не столь соблюдала законы, жила больше своими молодыми заботами, а в деревне появились пришлые, беженцы из Казахстана, других беспокойных мест, и смешан-

ные браки начали, как черви, подтачивать многовековой жизненный уклад ильинцев. Среди первых уехал и отец Моисея со своей старшей дочерью. Умер Михаил Борисович несколько лет назад, и похоронили его на одном из небольших кладбищ под Иерусалимом. А сестра вот прислала вызов всем Матвеевым: ему, старшему брату Александру и младшей сестре Мире.

Моисей не знал точно, почему он уезжает. Если для того, чтобы сохранить веру, так нет, не так уж он и верил. Если по большому счету, то особо-то и не знал, чем их еврейский Бог так хорош, да и то, что записано в скрижалях ветхозаветных, помнил урывками, особо не вдаваясь в суть древних писаний.

Может быть, сработала привычка от рождения не идти поперек общины? Все едут, и тебе не резон оставаться. Жили годами дружно, хранили свои законы — вот и выжили. И там вместе выживем. Вот это было уже ближе к правде. Но Моисей чувствовал внутри себя еще что-то непонятно щемящее, толкающее вперед, словно голос свыше: ты должен ехать!

Два телка было у Моисея. Держал на продажу, чтоб денег на отъезд побольше было, но в деревне собирались брать за бесценок. Жалко стало продавать за малые деньги, решил зарезать, а мясо продать в Воронеже. Позвал соседа. Остро наточили мужики ножи и перерезали животине горло, выпустив кровь в землю согласно своим еврейским законам. И вновь свершилось все так, как говорил Господь сынам Израилевым: взяты были агнцы по семействам, и заколота была пасха, и чресла народа были препоясаны, и обувь была на ногах, и посохи в руках их.

Мясо на рынке Моисей продал быстро и недорого, а по приезду в деревню порешил всех петухов и кур, бегающих на дворе. Жена обдипала птицу, а Моисей, опалив тушки паяльной лампой, засунул их в огромный жбан и сварил. С одной стороны, нужно было чем-то угощать гостей на проводах, с другой — продавать или оставлять кому-то свою птицу не хотелось, а если по правде, то он и сам не мог понять, почему так сделал: то ли кровь убиенных телков подействовала, то ли еще что-то, но Моисей чувствовал: будь в доме еще какая живность, он прикончил бы и ее.

Изба... Моисей хотел спалить избу еще тогда, когда совхоз предлагал за нее тысячу рублей. «Кто у тебя ее купит? Кому она нужна? — тряс рукой директор. — А тут хоть малые, но все же деньги». «Хрен тебе, а не дом!» — взорвался хозяин, а когда директор ушел, запалил факел и ринулся к дверям. Жена и сыновья насили оттащили обезумевшего от негодования Моисея. Через неделю дом у Матвеевых купил приезжий беженец.

Совсем был близок отъезд. И тогда взмолился Моисей: Господи, приди ко мне, объясни мне, грешному, что происходит со мной! Что гонит меня от родных мест в края неведомые? Ведь сказано в Писании: горе птице, потерявшей гнездо свое, как и человеку, потерявшему дом свой. Явись ко мне и объясни все, научи, что делать дальше.

Господь явился к Моисею в субботу. И сказал Господь: «Твой отец Михаил родился от Бориса, тот от Соломона, тот от Якова, тот от Давида, тот от Илии, тот от Михаила, тот от Исаака, тот от Абрама, тот от Иосифа — десять колен сменилось с тех пор, как началась твоя история.

Но твой предок Иосиф был не Иосифом, а христианином Иоанном. И жил не здесь, на земле воронежской, а под Москвой. Крепко верил в своего Бога — Иисуса Христа. За то и пострадал при патриархе Никоне. Не хотел тремя перстами креститься, вместо поклона в ноги — в пояс кланяться да в обратную сторону вокруг церкви при крестном

ходе идти. Много таких было, и называли их староверами. И преследовали их, и секли, и убивали. И ушел он тогда, весь побитый, от своих гонителей, и с ним еще много людей ушло.

Долго брели они по земле русской, а конца ей не видать было. Поля сменялись лесами, леса — озерами, озера — горами. И все это было ничье, и все это было их. Бескрайность просторов умирала в бескрайности душ, а бескрайность душ разливалась по бескрайности просторов. И поняли скитальцы, что эта бескрайность им на роду написана, и почувствовали не свою власть над этой бескрайней землею, но ее власть над собой.

Встречали они на пути своим пылающие скиты, избы и бани. Было их сорок сороков, и горели в них люди, подобные им, которые сами лишали себя жизни во имя веры своей. И поняли путники, что людей с такими бескрайними душами нельзя ничем сломить: ни батогами, ни железом каленым, ни мечом.

В один из дней на пути им попался путник, бредущий рука об руку со своей спутницей. И оказался он протопопом, и они спросили его: «За что же выпали такие гонения старообрядцам?» Он отвечал: «Не знаю. Мой Христос не приказал нашим апостолам так учить, еже бы огнем да кнутом, да виселицею в веру приводить». Иоанн спросил тогда протопоп: «Что же нам делать? Как поступать с нашими гонителями?» Протопоп отвечал: «Будь воля моя, я бы их, что Илия пророк, всех перепластал в один час. Не осквернил бы рук своих, но освятил, чаю. Первого бы Никона, собаку, и рассекли начетверо, а потом никонян».

Подивились люди словам протопоповым: как же так, сетуя на жестокость мучителей своих, помышлять о грехах великих по отношению к ним?

Минуло еще семь дней пути, и сказал тогда Иоанн: «Все, братья, останавливаемся здесь», — и воткнул свой посох в жирный чернозем: «Будем стоять на своем. А чтобы не преследовали нас никоняне, будь они прокляты», — продолжал Иоанн, — отрекаюсь я от христианства и принимаю другую веру! Язычником буду, басурманом, хоть кем! Иудеем буду назло никонианским собакам!» И обрезал Иоанн на глазах у всех свою крайнюю плоть, и сказал, что отныне будет зваться не Иоанн, а Иосиф. И прорезали люди мужского пола то же самое, и нарекли себя иными именами, лишь фамилии оставили — Матвеевы, Варнавские, Кожокины. Поселились они на берегу реки. Стали соблюдать субботу, как все иудеи. Иосиф выучился читать на иврите священные книги Талмуд и Тору. После одного моления сказал: «Братья, покуда мы будем жить общиной и передавать из поколения в поколение наши законы, обычаи и веру — мы бессмертны».

Тут Моисей перебил Господа: «Да это ты к ним снизошел и все сделал так. По твоей воле они приняли твою веру!» Господь, улыбаясь, покачал головой и сказал: «Нет, Моисей, это у вас на роду написано. Вы можете терпеть сотни лет, но если вам однажды что-то взбредет в головы, то вы их расшибете, а сделаете по-своему. Далека икона от дубины, а материал один — дерево».

«Что же было дальше?» — спросил Господа Моисей.

Господь говорил: «Все твои десять колен предков продолжали подвергаться гонениям. Ни при одном императоре покоя им не было. Александр I издал специальный указ ссылать их в солдаты на Кавказ, в Сибирь, просто сидеть в тюрьмы и прозывать их «жидовствующими».

«Но ведь потом они могли отказаться от этой веры!» — вскричал Моисей. Господь сказал: «Ты плохо знаешь своих предков и себя. Безверие для вас — смерть. Страдания за веру — высшее наслаждение. И ты будешь страдать за меня, как миллионы людей в этой стране страдают каждый за свое и гордятся этим. И гордость порождает новые страдания. Беспредельные страдания. Бесконечное терпение. Оно кончается, поскольку всякое терпение, как и ваша бесконечная страна, все же имеет свои пределы. Страшен этот день, и горе вашему Богу в этот страшный день!»

Когда я понял, что вы, иудеи, окончательно поверили в меня, — продолжал Господь, — и своими страданиями доказали мне это, я не стал больше испытывать вас. Я решил

освободить вас из этого загона, нареченного Ильинкой. Но вас не отпускали. Тогда я напустил на всю вашу землю песьих мух, — продолжал Господь, — они налетели на землю и уничтожили ее. Вас не отпускали.

И тогда я напустил на вашу землю саранчу, — продолжал Господь, — и поела она всю траву земную и все плоды древесные, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой. Страшный голод начался на земле вашей. Но вас не отпускали.

А потом, — продолжал свой рассказ Господь, — я задумал так, чтобы вода в реках ваших превратилась в кровь. Как это будет сделано, меня не интересовало, вы сами творили своими руками. И наполнились ваши реки кровью вашей, и они восмердели, и омерзительно было пить из них. Но вас не отпускали.

Никто не знал, откуда берутся эти великие напасти, не ведая того, что творятся они из-за вашего плена, вашей несвободы. А несвобода эта лишь часть большой общей несвободы, в которой приучена жить ваша бескрайняя земля. И задумал я тогда разрушить вашу землю, разделить многие народы, ее населяющие, и дать всем свободу. И сделал так.

Вы теперь свободны, Моисей, — продолжал Господь, — и волен делать все так, как тебе угодно. И никто не может осудить тебя за твой отъезд. Решай сам».

С этими словами Господь удалился.

Наутро перед отъездом Моисей вместе с братом Александром и сестрой Мирой пошел на деревенское кладбище попрощаться с матерью Диной Ивановной. Прибрали могилку от сухой прошлогодней травы, подкрасили памятник, помянули. Стоя у могилы, понял Моисей, что прощается с матерью своей навсегда. Никогда уже не суждено ему быть здесь, разве произойдет какое-то чудо. И услышал в самых глубинах души своей далекий зов, как бы голос отца, сгоревшего за много тысяч километров, под Иерусалимом. Заплакал Моисей и понял, что если не уйдет сейчас с кладбища, то разорвется на две части его сердце. И тут, словно пламя пращера Иосифа Матвеева, запаленное от горящих старообрядческих скитов, полыхнуло у него внутри, пережигая нитку, крепко натянутую меж двух таких далеких друг от друга земель.

Автобус подкатил прямо к дому. Провожающие занесли в машину чемоданы, узлы и сумки. На дворе наяривала гармонь, кто-то отплясывал цыганочку, мужики, плотно скупковавшись, покуривали крепкий самосад и обсуждали, каким образом там лучше распределить обмененные деньги.

Стали прощаться, Моисей по очереди расцеловался с односельчанами. В автобус сели дети Моисея: Юра, Виктор, Алла и Саша, жена его Лия и сам Матвеев.

Теплым ясным днем весеннего месяца нисана автобус тронулся по ильинской улочке к Воронежу. Стоя у покосившегося плетня, отъезжающим махали руками на прощание Александр Матвеев, его жена Сара, их дети — Рива, Лия, Борис, Анна и Виталий, Мира Матвеева, ее муж Рувим Иосифович и дети их — Вениамин, Александр, Борис, еще десятка два ильинских баб и мужиков.

...Автобус гнал по полосе. По средней полосе России. Она белыми «трассерами» неумолимо впивалась в скошенный лоб «ЛАЗа», исчезала под колесами для того, чтобы, прошив машину насквозь, вылететь где-то позади и продолжить свой бешеный полет туда, обратно в сторону Ильинки, в прошлую жизнь. Мелькающие за окнами дорожные указатели последний раз отмечали Матвеевым названия населенных пунктов этой земли: Ивановка, Александровка, Борисоглебск... Впереди был Воронеж, а там — Москва, «Шереметьево-2», таможенные процедуры и... тут заикается русское горло... и — Иерусалим.

Воронежская область



Фото Леонида Шимановича

СЛОВО — РЕКТОРУ

Что говорить, в самой претензии научить кого бы то ни было писать стихи есть нечто комическое. Всем же ясно, что стихи — они «от Бога», и все эти поэтические объединения, студии и сам Литературный институт, где, как известно, учатся «на Пушкина», — не профанация ли они Божьего дара?

Так то оно так, да ведь и шаманство доморожденных гениев, полагающих, что лучший способ быть оригинальным — это сохранить невежество, не менее забавно.

История же поэзии свидетельствует: талантливые люди всегда тянулись друг к другу, создавали группы, салоны, союзы.

Александр Блок со свойственной ему беспощадностью писал:

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой,
Там жили поэты, — и каждый встречал
Другого надменной улыбкой...

Увы, такая улыбка по отношению к товарищу по цеху свойственна поэтам. И, мы бы сказали, даже естественна. Открыв для себя свои законы движения стиха, трудно принимать чужие. Однако вот что интересно: поэты, встречающие друг друга «надменной улыбкой», почему-то живут в одном квартале, пренебрегая зыбкостью и сыростью почвы. Что бы им поселиться где-нибудь в другом месте, где посуше и нет этих коллег-стихотворцев, не заслуживающих ничего, кроме «надменной улыбки». Так нет, человек, пишущий стихи, тянется к другому пишущему стихи человеку. Ибо ему интересно знать, что думает о его работе товарищ по странному и дивному ремеслу, которое и ремеслом-то называть некоторые поэты считают стыдным.

Именно это, а не простое штудирование законов отечественного стиха заставляет молодых людей собираться в группы и студии, лучшие из них потом составляют славу родной литературы. Собственно, славу составляют лидеры этих групп, которым на каком-то этапе свойственно уходить по своему особому пути от своих сотоварищей, как ушел Маяковский от футуристов, Есенин — от имажинистов, Заболоцкий — от обериутов, кое-кто из которых, впрочем, не уступал ему в даровании. Но мы не знаем, как бы развивалось творчество всех троих, не пройди они через молодое и поразному буйное дружество своих литературных соратников.

Московские и ленинградские студии и объединения шестидесятых годов дали своих мастеров. Мы знаем и любим их.

Глеб Семенов в Ленинграде объединял Евгения Рейна, Александра Кушнера, Иосифа Бродского. Григорий Левин

в своей московской «Магистральной» — чуть не всех шестидесятников, из которых один Булат Окуджава чего стоит. В литературном объединении Московского областного педагогического института начинал свою точную и несуетливую работу Олег Чухонцев.

Стихам сейчас трудно...

Но это означает только то, что молодые поэты будут настойчивее искать друг друга, а найдя, дружить требовательнее и, может быть, вернее.

Студия поэтической молодежи при журнале «Юность» не исповедует каких-либо единых поэтических верований. Так было задумано с самого начала. Но есть одно условие, обязательное для всех ее участников. Прежде чем начать совместную работу, которую и работой-то называть не хочется, потому что она есть общение — общение и только — людей, верящих друг другу и друг в друга, так вот, прежде чем начать это общение, все студийцы совместно решили задаваемую на литературных диспутах задачку: поэт — это профессия или состояние? Вот их ответ: поэт — это профессия, которая позволяет делать свое состояние предметом искусства.

Таким образом, условием участия в студии стало неприятие любого стихотворного дилетантизма, любого безответственного отношения к слову, в каком бы жанре оно ни являло себя: от лирического стихотворения до поэмы, от театрального зонга до рок-баллады, от поп-песенки до пародии на нее.

Ты можешь быть хоть кондовым традиционалистом, хоть оголтелым метаметафористом — или как их там нынче именуют — это дело твое. Но ты не должен быть дилетантом, холодным версификатором, стихоплетом-нехоткой, каких расплодилось пруд пруди, и это уже не только твое, но и наше общее дело.

Молодость еще и потому лучшая пора для стихов, что стихи, даже и самые трагические, это ведь обязательно еще и пластическая игра, игра, которая способна лишь усилить хоть тот же самый трагизм. Как заподозрил один из участников студии:

Нет ничего на свете
серьезнее игры.

Люди, собирающиеся за «круглым столом» Студии Дома поэтов «Юности», кое-что уже умеют и кое-чему, безусловно, собираются научиться. Просто потому, что общение даровитых людей — а они — все! — даровиты — не может быть так, играючи, не научить еще чему-то хорошему.

Когда же эти люди еще и приятны друг другу, когда им хорошо друг с другом, это уже почти счастье. Мы говорим «почти», потому что надеемся, что лучшее у нас — впереди.

Еще мы надеемся, что «надменные улыбки», которыми мы будем встречать коллег, став, даст Бог, мастерами, появятся не раньше, чем появится в нашем городе особый квартал поэтов.

При нынешнем материальном положении отечественной поэзии эти самые «надменные улыбки» нам, стало быть, не грозят.

Юрий РЯШЕНЦЕВ

Герман ГЕЦЕВИЧ

Гроза

С каждым годом бесшабашней
Дни становятся и ночи
Холодней, чем прежде,
То с грозой затеют шапши,
То рванутся что есть мочи
От нужды к надежде.

Виюнь погода водит за нос,
В небе молния сверкает,
И трана измята, —
Коктебельская гроза нас
Скрытой камерой снимает,
В целях компромата.

Милена БОГДАНОВА

* * *

Рассветная сырость... Туманный шелк.
И запах древесной коры... Излом,
Срисованный угольным карандашом
С рисуака аетвей. Одинокй дом

Чуть виден а тумане. Из бездны глыб,
Деревьев, камней, очертаний скал
Звезда улетает а созвездье рыб —
Наверное, та, что всю жизнь искал...

Наверное, так улетит миры,
А ты в неизвестности как дурак
Все шарнишь в кармане вокруг дыры
И пальцами ловишь сырой табак...

И кажется — август совсем промок,
И слезы покажутся наяву...
Земля уплывает куда-то вбок,
Под ноги успев подстелить траву...

Евгения ТИТУНОВА

* * *

Рыжая копна твоих волос...
Вот и снова свидеться пришлось.

Ты откуда, девка, невзначай
Забрела опять ко мне на чай?

На лице усталость и покой,
Только спину выгнула дугой.

На душе... Я знаю, коркой лед.
Кто тебя, шальную, разберет?

Ты зачем как будто невзначай
Забрела опять ко мне на чай?

Почему тиха теперь, как мышь,
И зачем ночами ворожишь?

Пей же чай! Несладок? Ну, так что ж,
Ведь не знала я, что ты придешь.

И от светлых глаз твоих опять,
Знаю, долго буду тосковать.

Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ

* * *

Длинное дыхание Россин.
Кланяюсь бессмысленным полям.
Скоро разнакомимся с тобою,
Сладкий воздух с солью пополам...

Как ао сне — железные дороги,
Поезда уходят ао вчера.
Только соловьиное молчанье
Не дает уснуть, когда жара.

Грусть мою вечернюю отгисну
В длинных строчках с рифмами вразброс.
Я целую милую отгизну,
Шелестя вопросом на вопрос.

Боже, не оставь мою Россию.
Господи, оставь ее такой:
С папоротником вокруг колодца,
С длинною безрифменной строкой.

Яблоками тянет с огородов,
Вечер незаметен и ленив.
Медленная музыка с востока
Отпускает, медленно пленив.

Люди возвращаются со службы,
Кукушонок вышал из гнезда.
Я на даче, возле полустанка.
Во вчера уходят поезда.

Андрей ИЩОЛИТОВ

Пробуждение в канун Пасхи

Горнолыжный сезон позади, и а преддверии Пасхи
Вновь душа аоспарит, отмеряя семь верст до небес,
И апрельский снежок —

отголосок Рождественской сказки —
Порождает иллюзию, будто я тоже воскрес.
Хорошо, что проснулся, сегодня и это немало.
Вот и совесть со мной —

вижу в зеркале скошенный лик, —
Добралась большеглазая, а ведь недавно хромала.
Я во всем ей признаюсь,

но лишь под давлением улик,
Христианская вера ао всем призывает признаться...
Я не знаю вины, но признаться и в этом боюсь.
Все отчетливей видятся узы отцовства и братства,
Ну, а где сплеховал, пренебрег, —
аиноват. Признаюсь.

Признаюсь, что не кровь на лице, а губная помада,
И не так уж устал, побеждая всемирное зло.

Чтобы зло победить, говорят —
расслабляться не иадо,
Я расслабился весь. Как-то раз даже пальцы свело.
Я проснулся, как будто вернулся из давнего рейса,
И в Пасхальное утро гляжу сквозь зеркальную брешь...
Что усталился, парень?

Коль взялся за бритву, так брейся!
Вон как руки дрожат. Ненароком башку не отрежь.

Всеволод КОНСТАНТИНОВ

На Кавказ!

На Кавказ! — где не хлещут воды из-под крана,
где растут города, орошаемы словом Корана,
и по рельсам скользят поезда,
забираясь все выше, блестя в настороженных пушках.
На Кавказ! — где дымится в изъеденных кружках
приподножных лечебниц вода.

На Кавказ! В глубину заплетенного рога,
и не важно, где выйдешь и чем оборвется дорога, —
ты идешь на восток.

Альпийнская хижина, дальше — развалины снега,
широко раздвигается сердце, как буква «омега»,
и выпускает восторг.

Там, внизу, облака, как улитки, сползают по крышам,
только здесь понимаешь,

что, крикнув, ты будешь услышан,
потому выбираешь слова.

Даже память в подъеме становится давящим грузом —
пусть же катится к низу балластом, оторванным пузом —
устремляется вверх голова.

На Кавказ, если он существует, но, правда,
в это трудно поверить, покуда Ока ли Непрядва
заставляет петлять

мой наученный взгляд и исследовать балки, лощины,
стоя в мягкой земле, и расходовать право мужчины
создавать и ломать.

На Кавказ! — где бы именем гор носоглотка упиалась,
где лоза аинограда, как в аолосы кошка, вцепилась
в обдуваемый склон.

Только лето пройдет,
иапоследок пробьет по воротам.

На равнине себя приучаешь к высотам,
выходя покурить на балкон.

Мария БЛИНКИНА Дочь барона Фон Френкеля

Маме

Дочь барона Фон Френкеля идет по аллее Таммсааре.
Запах моря и плюшек доносится с улицы Куусе.
И погода для августа, в общем, стоит неплохая.

Четверть века назад по прекрасной аллее Таммсааре
Сливки общества чинно гуляли а вечерних нарядах.
Шляпы, ленты, прически,
остроты, и сплетни, и фракки

Четверть века назад наводняли аллею Таммсааре.
И когда появлялись барон
с баронессой Фон Френкель,
Разговоры смолкали, все взоры на них обращались

И поклонники дочки, толкая друг друга локтями,
Пробивались вперед,
чтоб приветствовать пару Фон Френкель,
Попрааяя цилиндры в надежде удачно жениться.

Все с тех пор поменялось, увя.

Императора свергли.

Фракки вышли из моды, остались остроты и сплетни.
Сливки общества, сбитые с толку,
метнулись на Запад.

Полосатые плавки сменили вечерние платья,
Полосатые флаги — имперскую красную тряпку...
Дочь барона Фон Френкеля идет по аллее Таммсааре.

И старается думать, что море сегодня прекрасно,
Что аллея Таммсааре доходит до улицы Роози,
И не думать о розовых крабах на том берегу.

Максим ГЛИКИН Прогулка

(По мотивам Марка Шагала)

Улица, перенявшая кривизну реки,
Нас из города выгнала.
Безо всякого смысла
Ты, не выпуская моей руки,
Подпрыгнула —
И вииз головой поаисла.

Это был ответ на мое «Гляди веселей»?
На мои пресноватые колкости?
Не уверен...
Я осторожно ступал по мягкой земле,
Ты — по какой-то плоскости
В атмосфере.

Тонкий снег хрустел весенней мацой,
Лесопарк, им покинутый,
Беззащитнее, чем храм античный,
Знаешь, когда у тебя лицо
Опрокинуто —
Ты еще симпатичней!

Александр КРЫЛАСОВ Одиночество

Это лето опять ничего не дало,
Кроме смутных надежд разорвать оболочку,
Только душною пылью порог замело,
Да на иашей даери поменяли цепочку.

И оделись деревья солдатским сукном,
Превращая в шеренгу убогую кущу.
Жизнь скорей познаешь за открытым окном,
Чем ныряя в ее ядовитую гуцу.

Что такое мудрец? Что такое толпа?
Даже в этих вопросах витает нелепость.
Одиночество — это моя скорлупа.
Одиночество — это последняя крепость.

Сколько можно курить? Дым такой — хоть плавай.
Сколько можно пить чай? Да пока не опухну.
Одиночество вовсе не хуже любви,
Просто нужно почаще проветривать кухню.

Одиночество — это пустующий пляж,
Куда ветер доносит обрывки от румбы.
Одиночество — это последний этаж
И недолгий полет до сверкающей клумбы.

Алена ЧУБАРОВА

* * *

Мы учимся молчать. Казалось бы, так просто —
забыть земной язык и слушать тишину.
Люби меня в других — других во мне.

Мы — остров.

Островитяне спят. А корабли ко дну
пошли, и берега в каком-то странном свете.
На битом серебре стареющий кармин.
Взрывая пустоту безбрежное: «Нет смерти-и» —
Тебе звучит: «Авось».
Мне слышится: «Аминь».

Алексей ТИМАТКОВ

* * *

Июльская, рябая тьма
Съедает улицы, дома,
Не слышно шума электричек,
Прервавших на ночь свой разбег.
Весь город залит тишиной,
И слышно лишь, как за стеной
Мычит мучительный мотивчик
Застывший в лифте человек.

Александр ВАЙНШТЕЙН Канада

Разграфленные улицы. Ассортимент личных
улыбок, различающихся по стилю.
Этикет рококо. Птичий гомон англоязычный.
Французы, отвевающие Бастилию.
Скрипач из оркестра,
зарабатывающий на квартиру
в столице империи, отбросившей копыта.
Как скакуна на ходу, подстегивающее сатиру —
трепыхание доверчивого попугая.
Наивная,
как ребенок невыспавшийся, культура,
лежащая в колыбели эпохи воспроизводства.
Чересчур практичная архитектура,
убивающая зрение инородца.
Музыка ренессанса, окрыляющая журчанием.
Каменные костелы, тоскующие о прошлом.
Распахивающие двери грядущего англичане,
рассудок, страшщийся стать дотошным.
Мир, не знающий военных действий,
для маны небесной распахивающий сети.
Последние ожидаемые известия
с Родины, записанные на кассете.
Разграфленные улицы. Ассортимент пейзажей,
Раскиданных, как вещи отменного суперстора*.
Ангелы-часовые, стоящие на страже
дыхания горизонта, не видящего простора.

* Магазины.

**«НИКАКОМУ ШЕКСПИРУ,
НИКАКОМУ СОФОКЛУ НЕ ДОВОДИЛОСЬ
ИЗОБРЕТАТЬ СТОЛЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ
ТРАГЕДИИ...»**

Несовершенство петровского закона о престолонаследии было причиной длинного ряда династических осложнений и дворцовых переворотов, сотрясавших Россию на протяжении целого столетия. Того, что в литературе зовется «действием», в этих событиях с избытком хватило бы на несколько драматических хроник, превосходящих шекспировские по внешнему размаху и внутреннему содержанию. Историку этой эпохи жизнь не попустилась доставить неслыханное количество самого эффектного материала, каким обычно пользуются драматурги. Тут есть рождения принцев, коронования императоров, их мирные кончины, их свержения, заточения, убийства, их раскрашенные трупы, их призраки; есть гроб одного из них, извлеченный из земли через тридцать четыре года и вознесенный на катафалк рядом с гробом неверной его жены; есть тайные браки, любовные и придворные интриги, претенденты, сокрытые заветания, подкупы, поединки, перехваченные письма, аресты, казни, собрания заговорщиков, великолепные празднества, вдруг омрачаемые известиями о начавшихся войнах или мятежах; есть тоскующие принцессы, пленные короли, лукавые царедворцы, верные наперсники и клеветы, фавориты и фаворитки, коварные дипломаты, заезжие авантюристы, придворные лекари, поэты, астрологи, прорицатели, шпионы, доносчики; есть огромные массы статистов, составляющих обычную заключительную строку в списке действующих лиц: «солдаты, вестники, слуги, стража, народ, палач». С ними врываються на подмостки отзвуки колоссальных событий, совершающихся за сценой: войн, мятежей, пожаров. Очень возможно, что упорное стремление к созданию исторической трагедии большого стиля, идущее от Ломоносова и Сумарокова через Державина, Озерова и Княжнина до Пушкина, объясняется не только влиянием чисто литературных обстоятельств, но и реальными переживаниями эпохи, столь насыщенной драматургическим материалом.

Вспомнивая в эту эпоху, мы без труда замечаем, что события достигают исключительного трагизма и приобретают необычайно глубокий смысл на ее восьмидесятидвухлетнем отрезке, который начинается 9 февраля 1744 года, когда в Москву прибыла молоденькая Ангальт-Цербстская принцесса София-Фредерика, и тянется до заключительной сцены, разыгравшейся 14 декабря 1825 года у памятника Петру Великому. Никакому Шекспиру, никакому Софоклу не доводилось изобретать столь замечательной трагедии (или цикла трагедий), какая здесь была создана самой историей и самим роком. Здесь сложнейшие судьбы героев так наглядно и глубоко связаны с фанатическими и народными судьбами, как ни в одном создании ни одного драматурга. Человеческие коллизии здесь вполне оцутимо превращены в коллизии исторические, и шире, чем исторические, — в идейные, и шире, чем в идейные, — в религиозные.

Создавая трагедию, гениальную по содержанию, жизнь позаботилась и о том, чтобы придать ей совершенную форму. Число основных драматических коллизий, как известно, весьма ограничено. Одна из самых употребительных, лежащая в основе бесчисленного множества литературных произведений, есть так называемый адольтерный треугольник: муж, жена и любовник. Эта первоначальная схема (измена одного из двух сопряженных персонажей с третьим) допускает большое количество вариантов. В данном случае мы имеем дело с вариантом, который можно бы назвать династическим треугольником. В основе его лежит попытка венценосца «изменить» законному наследнику, через его голову передав корону третьему лицу. Замечательно, однако же, не то, что династический треугольник здесь приме-

нен, ибо сам по себе этот вариант не нов, а то, что он последовательно применен целых три раза, причем один из персонажей, Павел Петрович, трижды меняет свое положение в треугольнике. Так, императрица Елизавета Петровна «изменяет» Петру III, мечтая передать престол Павлу. Во втором акте Екатерина II, перехватив корону у Петра III, «изменяет» Павлу, составляя заветание в пользу Александра Павловича. В третьем акте Павел I, став наконец императором, «изменяет» Александру Павловичу, подыскивая себе другого преемника. Но ни в одном случае «изменяющей» стороне не удается осуществить свой замысел, но и это каждый раз происходит по-новому: Елизавета Петровна умирает, не успев объявить наследником Павла, Екатерина умирает, составив заветание в пользу внука, но Павел успевает заветание уничтожить, самого же Павла благоверно убиивают с полуведома и полусогласия Александра Павловича. Конечно, в таком построенной трагедии (каждый акт которой, впрочем, может быть развернут в самостоятельную трагедию) есть известное однообразие, но в том-то и заключается вся гениальность замысла, что это внешнее однообразие лишь подчеркивает внутреннее разнообразие индивидуальных коллизий, переживаемых действующими лицами.

По имени центрального персонажа, вокруг которого она вся вращается, как вокруг оси, всю эту трагедию можно было бы назвать «Павел». Однако внутреннее содержание ее так обширно и сложно, что смерть Павла отнюдь еще не развязывает всех узлов, в ней завязанных. К трем указанным выше актам жизнь должна была приписать четвертый, в котором династическая коллизия еще раз дана в новой, своеобразной комбинации (Александр — Константин — Николай), но отодвинута на задний план, на первый же выдвинуты мотивы, составляющие исторический фон первых трех актов: торжество империи и победа самодержавия в его борьбе с дворянством. Сквозь эти мотивы, сложнейшие переплетаясь с ними, сквозною нитью пропущена душевная драма Александра I. Трагедия, как выше сказано, кончается четырнадцатым декабря.

Позднейшие поколения русских людей, которым уже не пришлось быть ни участниками, ни свидетелями этих событий, отдали дань удивления и преклонения перед драматургическими способностями жизни. Недаром XVIII столетие и первая четверть XIX привлекли к себе столь пристальное внимание не только исторической науки, но и литературы, и других видов искусства, и, наконец, живейший интерес самых широких кругов русского народа. Однако народная совесть не захотела удовлетворения тем финалом трагедии, который ей был показан в заключительной сцене. Ей хотелось, чтобы после 14 декабря не только открылась новая глава истории, но чтобы и предыдущая имела некий эпилог, в котором нашли бы себе удовлетворение лучшие и истинные стороны русской души. Иными словами, она искала того катарсиса, того нравственного и религиозного оправдания показанных ей событий, которого на историческом театре она не нашла. Ей ничего другого не оставалось, как создать такой эпилог, прибавив к тому, что было, то, что должно было быть. Так возникла легенда об «уходе» Александра Первого и о его превращении в старца Федора Кузьмича.

Трудно придумать что-нибудь более прекрасное, более трогательное и более русское, чем эта легенда. Все в ней многозначительно: и самый уход царя, и безымянный солдат, вместо него погребенный в царской усыпальнице, и превращение царя в безвестного странника, затерянного в русских просторах, и его бичевание, и его кончина, осиянная святостью. Гениально здесь даже то, что легенда не повисает в воздухе, а прикреплена к живому человеку, что речь в ней идет не о призраке, но о реально существовавшем старце, после которого сохранилась могила, да горсть скромных реликвий, да полицейская запись о телесном наказании.

Литература о Федоре Кузьмиче сравнительно невелика, что объясняется небольшим количеством данных, о нем сохранившихся. Одни исследователи (в числе которых имеются авторитетнейшие представители науки) отрицают

тождество императора Александра I со старцем, другие (среди которых, к сожалению, затесались лица, способные только запутать и скомпрометировать весь предмет) склонны тождество это признать. В конечном счете первым до сих пор не удалось вполне опровергнуть доводы вторых, а вторые не могут представить исчерпывающих и неопровержимых доказательств. Вопрос, таким образом, остается открытым, и каждый, кому случилось над ним задуматься, либо решает его для себя, подчиняясь лишь «внутреннему убеждению», либо не отваживается сказать ни да, ни нет.

При таких обстоятельствах естественна и законна попытка, сделанная Львом Любимовым в его только что вышедшей книге «Тайна императора Александра I». (Изд. «Возрождение», Париж, 1938.) Любимов поставил своей задачей разобраться в ранее опубликованных данных и по возможности собрать новые, которые помогли бы беспристрастному решению проблемы.

В первой части книги поставлен вопрос предварительный: существовали ли психологические предпосылки для превращения Александра I в Федора Кузьмича и вяжется ли такое превращение со всем умственным и душевным обликом императора? Психологический портрет Александра Павловича набросан Любимовым более или менее импрессионистически. В нем есть неясности и недоговоренности. Несколько слабо объяснены такие пункты, как переход от «прекрасного начала» царствования к царчевещине и непротивление развитию тайных обществ. В общем, однако, портрет жив, убожен и не оставляет сомнения в том, что автор прав, считая, что преображение Александра Павловича в Федора Кузьмича психологически было вполне подготовлено и возможно. Дело в том, однако, что именно из такой возможности и возникла легенда и что существование этой возможности не слишком оспаривается даже теми, кто считает, что уход императора фактически не состоялся. В истории Александра I трудно доказать не то, что он хотел уйти, а то, что он в самом деле ушел.

Во второй части книги Любимов знакомит читателей с главными доводами, до сих пор высказанными в защиту той и другой версии, а затем приступает к главной своей задаче: к изложению новых данных, которые ему удалось собрать в последние годы. Самая мысль — искать новых сведений об Александре I и Федоре Кузьмиче в эмиграции — не так неожиданна, как может показаться на первый взгляд. Именно в эмиграции находится немало лиц, по самому происхождению связанных с более или менее близкими участниками и свидетелями событий, лежавших в основу легенды. Любимов очень хорошо сделал, поставив своей задачей выскрести последние остатки того, что сейчас еще можно добыть, если не из семейных архивов, которые почти все остались в России, то из семейных преданий. Произвести подобную работу непременно следовало, пока время для нее еще не упущено.

Надежды Любимова оправдались в том смысле, что поиски дали значительное количество неопубликованных сообщений. Другое дело — качество этого материала, который почти всегда весьма интересен, порой приближается чуть ли не к сенсационности, но достоверность которого оказалась меньшей, нежели та, которая требуется в подобных случаях. Подробная критика сообщений, добытых Любимовым, заняла бы слишком много места. Говоря суммарно, они имеют характер необоснованный, отчасти даже фантастический. По-видимому, кроме естественной и неизбежной деформации материала при прохождении его по нескольким инстанциям от современников событий до наших современников, тут действовали и другие факторы, с которыми ныне все чаще приходится сталкиваться, когда дело идет о семейных преданиях: некритическое отношение самих информаторов к их сообщениям, а также неверно понятая семейная гордость, вызывающая у них стремление выставить дедов и прадедов обладателями и хранителями важных государственных тайн. В результате получается, что показания, имеющие тенденцию доказать одно и то же, порой друг другу диаметрально противоречат. Так, например, по одним сведениям выходит, что

еще император Николай I посвятил своего наследника в тайну ухода Александра I, а по другим — что император Александр II не только учредил комиссию для расследования этого вопроса, но и с недоверием отнесся к ее выводам, когда она пришла к убеждению, что Александр I и старец — одно лицо.

Общая тенденция сообщений, полученных Любимовым, такова, что в большинстве случаев они клонятся к установлению тождества между императором Александром I и Федором Кузьмичом. Чувствуется, что и сам автор книги душевно хотел бы принять именно эту версию. Но ни прежние исследования, ни материал, им самим добытый, не дают к тому достаточных оснований, и, тщательно разобравшись в старых и новых данных, Любимов в конечном счете имеет мужество признать, что тайна Александра I все еще остается тайной. Если возможность ее разрешения еще не утрачена, то такого разрешения приходится ждать от публикации документов, быть может, еще существующих в советских архивах. В частности, выяснению истины в значительной степени помогло бы опубликование данных, добытых при вскрытии гробницы Александра I в 1921 году. Однако от советского правительства трудно ожидать, чтобы оно опубликовало протокол вскрытия (буде вообще такой протокол существует). В особенности маловероятно, чтобы он был опубликован в том случае, если гробница оказалась пуста, то есть если легенда нашла себе подтверждение. Большевикам, разумеется, слишком невыгодно было бы признать, что один из русских венценосцев был носителем столь высокого духовного подвига. Поэтому приходится пожалеть о том, что никто из последних русских императоров не пожелал принять меры к окончательному разъяснению тайны. Если Александр I действительно стал Федором Кузьмичом, то никакой реальной политической опасностью такое известие давно уже не грозило. Напротив, оно могло лишь содействовать сближению царствующего дома с народом.

Возвращаясь к книге Любимова, я хотел бы рекомендовать ее вниманию читателей, которые в ней найдут талантливое и беспристрастное изложение данных, относящихся к самой таинственной и глубоко содержательной странице русской истории.

Владислав ХОДАСЕВИЧ

Эта статья под названием «Тайна императора Александра I» опубликована в парижской газете «Возрождение» 5 августа 1938 г.



Лев Любимов



Часть первая
1777—1825
I

Отъезд императора Александра I из Санкт-Петербурга в Таганрог, где суждено было окончиться его царствованию, совершился при обстоятельствах весьма загадочных.

В 4 часа утра (1 сентября 1825 года*) император выехал из Каменноостровского дворца, никто не сопровождал его. На Троицком мосту он велел кучеру Илье Байкову остановиться: помолился на крепостной собор Петра и Павла и затем долго любовался Зимним дворцом и набережной Невы.

— Какой прекрасный вид и какое великолепное здание, — промолвил он, словно зачарованный.

В начале пятого часа императорская коляска подъехала к Александро-Невской лавре. Монахи, во главе с митрополитом Серафимом, ожидали государя у входа. Он торопливо сошел с коляски, приложился к кре-

ТАЙНА ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I

сту, поднесенному ему митрополитом, был окроплен святой водой и, велев закрыть все ворота лавры, направился к храму. Иноки, толпившиеся в темноте, заметили, что он был без шпаги.

Началась служба. Была ли то панихида или напутственный молебен? Мнения расходятся. Панихида по ком и по какому случаю? А если напутственный молебен, то почему в этом храме, в этот час и почему присутствовали на нем только монахи?

После службы, сопровождаемый митрополитом, государь посетил келью особо чтимого схимника, которому гроб служил ложем. Подошел под его благословение и перед открытым гробом в полутемной келье слушал его речи (напутственные?) о бренности земного величия.

У ворот лавры самодержец несколько раз перекрестился, поднял к небу глаза, полные слез, и, прощаясь с митрополитом и братией, попросил их:

— Молитесь за меня и за жену.

У заставы он снова велел остановить лошадей и, привстав, долго с грустью созерцал спящий город.

Император Александр Павлович прибыл в лавру

Журнальный вариант.

* Все даты по старому стилю.

без шпаги — и дал он приказ, чтобы по пути его в Таганрог не было в его честь воинских смотров.

Императору Александру, когда покидал он навсегда свою столицу, шел сорок восьмой год **. Чувствовал он себя вполне здоровым. Хоть волосы его поредели, хоть спина его становилась все сутулее, а глухота, которой страдал он с юности, увеличилась настолько, что он был вынужден нагибаться вплотную к собеседнику, — до старости ему было еще далеко. По-прежнему все находили его красавцем — и, как и в годы наивысшей своей славы, умел он с искусством, не превзойденным ни одним монархом, сочетать величественность с грацией, изяществом и простотой в обращении. Голубоглазый, светловолосый и — подбородок с ямочкой. Но ни слащавым, ни благодушным не было выражение его лица. Пушкин полностью запечатлел его образ: на широком лбу императора появлялись глубокие складки и строгими бывали его черты. «Суший прельститель», по слову Сперанского, но и самодержец, исполненный гордыни. Годы не уменьшили его обаяния: наполеоновский министр Савари, если бы довелось ему вновь его увидеть, конечно, испытал бы то же, что и двадцать лет назад, когда, представ перед русским царем, был охвачен, по собственному признанию, робостью и восхищением.

По-прежнему женщины были от него без ума, хоть боле и не стремился он удлинять свой непомерно уже длинный «донжуанский список». По-прежнему улыбка его была ангельской — эпитет, ей, по-видимому, вполне подходящий, ибо сам Наполеон называл некогда «ангелом» императора Александра Павловича, хотя впоследствии, вспоминая с горечью о его «коварстве», он и прозвал его «византийцем». По-прежнему был он элегантнейшим монархом Европы, отражая при этом даже в манере одеваться противоречия своей натуры: простота и изысканность, затянутый в талии, напомаженные баки и всегда самое роскошное, самое тонкое белье, но ни единого кольца, никаких драгоценностей — без часов, но всегда при лорнетке.

Византиец! «В политике тонок, как острие булавы, остер, как лезвие бритвы, и зыбок, как морская пена», — говорил про него один иностранный дипломат. Двуличие сквозило даже в столь прославленной его улыбке — порой детской, действительно ангельской, но порой и холодной, самодовольной и насмешливой, — в ласковых его речах, чарующих собеседника, речах притворных, столь часто обманчивых, в глазах его, отражающих — в мягком своем свете — природную его доброту, глазах, неожиданно пристальных и холодных, когда добрым он не хотел быть или не почитал целесообразным играть в великодушие.

1825 год... Да, как будто бы мало изменилась его оборотистая внешность. Но все, кто часто видит царя, замечают, что его охватывает душевная усталость, словно он уже не в силах бороться, словно роль, которую надлежит ему играть, вконец ему опостылела — словно был не прав Наполеон, когда называл его, венценосного актера, не только «византийцем», но и «северным Тальма». Все чаще ищет он уединения, и все явственнее сказывается в нем та глубокая внутренняя тревога, которая никогда не покидала его вполне, даже в самые радостные и яркие дни его жизни.

За год до того, как в необычный час, при необычных обстоятельствах Александр Павлович покинул



свою столицу, город Петра подвергся страшному наводнению. Царь сам руководил спасением погибающих. Из толпы несчастных, лишившихся крова, кто-то крикнул при его появлении:

— Бог нас карает за наши грехи!

— Нет, за мои, — отвечивал царь громким голосом.

Можно утверждать: император Александр Павлович переживал глубокую трагедию и томился он всем своим существом. Прежде чем искать ключ к тайне его — тайне его участи, — постараемся уяснить себе эту трагедию, тайну его души.

II

Трагедия Александра Павловича началась не 11 марта 1801 года — когда рок, а также двуличие его натуры толкнули наследника престола на соучастие в страшнейшем из преступлений, — а гораздо раньше: в годы его младенчества. Это и подметил Толстой в неоконченной своей повести о нем, о его подвиге. Должен был он, конечно, уже в детстве — ибо природа наделила его большой чуткостью — страдать от отношения к нему матери, светливой и честолюбивой Марии Федоровны, знавшей, что Екатерина хочет сына своего, ее мужа, в пользу внука лишить прав на престол. Суровые взгляды отца пугали мальчика, и не мог он беспечно укрыться от них в объятия матери, так как чувствовал, что какая-то невидимая преграда отделяла его от нее.

Бабка обожала его — материнское чувство, которое тайло ее сердце, но которого не проявляла она ни к Павлу, ни даже к другому сыну (Бобринскому) — то самое, которым так сильно были окрашены ее заботы о юных своих любовниках, — находило наконец есте-

* Родился 12 декабря 1777 года.

ственный выход. Но намерения Екатерины на его счет, отдаляя от него его родителей, рождали к бабке у Александра холод и глухую вражду.

Он рос — и мало-помалу печаль и разочарование вкрадывались навсегда в его душу. О, в ней много было противоречий! Но можно ли представить себе большее, нежели то, которое существовало между пышным и светлым двором Екатерины, всем обликом великой монархини и гатчинской кордегардией, где царила уже «аракчеевщина»? Однако Александр Павлович с одинаковой непосредственностью уживался в екатерининском царстве и в павловском. Он научился восторгаться «правами человека и гражданина», одновременно получая величайшее удовольствие от маршировки и фельдфебельского покрикивания на солдат. Учитель его, Лагарп, славил свободолюбие, и он воспринимал его уроки, однако перед ним был пример Екатерины, свободолюбивейшей, конечно, но и самодержавной, и Павла, который испытывал влечение только к прусской муштре, и эти примеры внушали ему бессознательную склонность сочетать в сердце своим то, что обычно кажется несочетаемым: хотя бы «фрунт» с философией Руссо или французскую революцию с крепостным правом. В такого рода искусстве Александру Павловичу суждено было весьма быстро преуспеть.

Семейная жизнь будущего венценосца почти сразу сложилась несчастливо. Екатерина, когда минуло ему шестнадцать лет, поженила «господина Александра» на четырнадцатилетней баденской принцессе Луизе, при переходе в православие нареченной Елизаветой. Он был красавец, она — очаровательной, нежной, хрупкой, и было в ее облике, внешнем и внутреннем, сокровенном, нечто воздушное, неуловимое. Робость, неуверенность в себе сочетались в ней с большой душевной восприимчивостью, она была умна, хоть и несколько поверхностна, а склад ее ума, да и весь ее характер, окрашен мечтательностью, романтизмом. С юных лет искала она какой-то правды и в то же время как бы боялась к правде прикоснуться, любила углубляться в себя и, похоже, паче всего лелеяла тот свой внутренний мир, который себе создала, — одним словом, будущая императрица Елизавета Алексеевна была, подобно своему супругу, натурой достаточно сложной и не вполне устойчивой. «Вот Амур и Психея!» — воскликнула Екатерина, любясь этим мальчиком и девочкой, которые, думала она, идеально должны были подходить друг к другу... Случилось, однако, так, что они вовсе друг другу не подошли.

«Психее», юной великой княгине, с лицом испуганной птицы, задумчивой и страстной, нужна была любовь, нужны были нежность и излияния близкого сердца. Муж либо вел себя как мальчишка, либо не обращал на нее внимания, возвращаясь из Гатчины, где с отцом муштровал солдат, усталый настолько, что едва стоял на ногах, и, выпавшись, снова спешил в кордегардию. Она хотела счастья и решила его искать.

Об увлечениях Елизаветы Алексеевны писалось много, но в точности так и не выяснено, любила ли она кого-нибудь по-настоящему до того, как встретила Александра Охотникова. Платон Зубов ухаживал за ней: это было в последние годы жизни Екатерины, — фавориту, очевидно, казалось, что ему все дозволено и ему надлежит извлечь из своего положения максимальную сумму удовольствий. Удалось ли Зубову

вскружить голову жене внука своей любовницы? Похоже, что Елизавета на миг по крайней мере обратила к нему благосклонный взор. Александр это заметил, но вовсе не рассердился. «Зубов влюблен в мою жену», — смеясь, говорил он в ее присутствии. Впоследствии случилось ему, при схожих обстоятельствах, проявлять и еще большее снисхождение.

Лучший друг Александра, князь Адам Чарторыйский, вслед за Зубовым влюбился в его жену. Александр, по-видимому, поощрял его ухаживания. Графиня Головина рассказывает, что Елизавета, которую застала она вечером в одиночестве, созналась ей: «Мне приятнее быть одной, нежели ужинать вдвоем с князем Чарторыйским. Великий князь заснул на диване, я убежала к себе, и вот я со своими мыслями, которые вовсе не веселы».

Надо думать, наступил момент, когда, спасаясь от этих мыслей, Елизавета перестала избегать Чарторыйского. Екатерины уже не было в живых. Вкрадчивый польский вельможа, покоряя сердце жены наследника престола, прокладывал себе путь к власти. Однако эта затея едва не кончилась для него плачевно, ибо, если верить дворцовым пересудам того времени, Павел, решив, что родившаяся у Елизаветы дочь совсем не похожа на Александра, хотел было сослать Чарторыйского в Сибирь и лишь с трудом согласился на полумеру, отправив его посланником к сардинскому двору.

Любовь Елизаветы к молодому офицеру Алексею Охотникову — факт неоспоримый. Вторая дочь ее (умершая, как и первая, в младенчестве) — так решила молва — была плодом этой большой, счастливой любви. Но идиллия оборвалась трагически. Охотников при таинственных обстоятельствах был убит, выходя из театра, ударом кинжала, нанесенным неизвестной рукой. На могиле человека, которого она любила с наибольшей страстью, Елизавета воздвигнула памятник, изображающий молодую женщину в слезах у дуба, сраженного молнией.

Прошли года, и, лишь когда жизнь ее клонилась уже к концу, Елизавете было суждено найти сердечное утешение. О последней ее любви — речь впереди. Эта любовь связана с тайной императора Александра.

С юных лет Александр Павлович искал в женщинах забвения, отдыха от сомнений и противоречий, томивших его душу.

Мария Антоновна Нарышкина, урожденная княжна Святополк-Четвертинская, была первой его большой страстью, но и не только первой — единственной.

На дошедших до нас ее портретах она сияет яркой полуденной красотой. Современники свидетельствуют, что внешность Марии Антоновны была действительно ослепительной. «Всех Аспазия милей» — так, величая ее, пел Державин, славивший некогда Елизавету «Психею», Кутузов в шутиливой форме, но, по-видимому, испытывая к ней искреннее восхищение, говорил, что женщин стоит любить, раз есть среди них такая, как Мария Антоновна, а Вигель писал, что «красота ее была до того совершенная, что казалась невозможною, неестественною».

Великолепие радужной красоты и сладостный плен, покой... Тот, которому суждено было стать «сфинксом, не разгаданным до гроба», сфинкс, бывший сам для себя загадкой, обретал в этой любви цель конечную и неоспоримую и полную, ничем не омра-

чаемую радость. Пусть лишь на время Мария Антоновна подарила счастье Александру Павловичу.

Она не была ни особенно умна, ни даже по-женски особенно тонко восприимчива, в той помощи, которую дарила она Александру, было, вероятно, мало сознательного. Впоследствии, также без умысла, причиняла она ему и жгучие страдания. Но для Александра Павловича, когда держал он ее в своих объятиях, когда на ее плече забывал себя, доверчиво, как ребенок, отдавая в ее власть все свое существо, была она как бы самой природой, самой жизнью — ясной, милостивой, неожиданно открывшейся ему.

Мария Антоновна — подруга желанная, незаменимая... Как дивно сочеталась ее красота с его ласковой, чарующей величественностью. Пышность, подобно ему, почитала она излишней. «Идеальные черты лица, — пишет Вигель, — и безукоризненность фигуры выступали еще ярче при всегдашней простоте ее наряда». Молчаливая, покойная, знающая, что ей достаточно появиться, чтобы раздался шепот восхищения. Качества ее гармонически дополняли неуравновешенную натуру Александра Павловича: она приносила ему как раз то, чего ему больше всего не хватало.

Роман этот начался, когда Александр был еще наследником. Длился долго — о нем будет еще сказано. После трагедии 11 марта Александра вновь охватило желание бежать от мира, от власти, от ответственности — в Америку, но уже не с Елизаветой, а с Марией Антоновной. Он одумался: Елизавета, горестная «Психея», в поисках счастья сердцем отходила от него все дальше, но связывала их дружба, тоже мучительная, полная внутренних препятствий, как и все их отношения. Александр понял, конечно, что большего, чем покой, Мария Антоновна дать ему не может. Елизавета собственными мучениями разжигала его раны, а ему этого и хотелось, и он знал, что волю к действию, решимость вдохнет в него в нужную минуту не «Аспазия», а хрупкая женщина, мятущаяся, как он, — «Психея», душа, с его душою соединенная судьбой. Не бежал он тогда, не порвал с Елизаветой, и осталась при нем Мария Антоновна, как убежище от тревог, как утешительница, которая волею его не сумеет руководить, но спасет от самого себя, когда не в силах будет он искать выхода, принимать решение, дабы, окрепнув, он снова мог продолжать свой трудный и долгий путь.

III

Было ли царевубийство 11 марта действительно государственной необходимостью? Вопрос сложный, ибо ставит ряд других вопросов. Утверждать можно одно: людям, которые стояли во главе заговора, казалось, что так дальше продолжаться не может, что император безумен, что он губит великое дело Екатерины и что честь и достоинство империи требуют его низвержения. Такие выдающиеся представители тогдашней русской государственности, как Пален, Тропинский или Панин — конечно, не только по личным и вовсе не по низким мотивам, — решили низвести Павла Петровича с престола. Но к заговору примкнули и люди совсем иного склада, движимые ненавистью к царю, мстящие за обиды, за оскорбления, мечтающие исключительно о собственном возвышении или же, наконец, на все готовые, жаждущие насилия и крови. Так обычно бывает в подобных случаях. Но важно установить еще раз: цель заговора не была

низменной, и поступки Павла в самом деле давали заговорщикам право верить в то, что, восставая против законного государя, они служат России. Веру их укрепляло то обстоятельство, что с ними заодно был наследник престола.

Чувства Александра Павловича к отцу, как и все его настроения, мысли и переживания, были двойственные, противоречивы. Поскольку испытывал он к своей великой бабке некую действительно непосредственную неприязнь, глухую, а иногда и весьма явственную, созревшую в гатчинской атмосфере, питал он нежность к несчастному царю, своему родителю. Ведь именно через него познал он радости казарменной выправки, казарменной, фельдфебельской, всепоглощающей — заботы и сомнения, — одуряющей и веселящей рутины. На всю жизнь Александра Павловича, на все его мироощущение павловской школе суждено было наложить глубокий отпечаток. Но мечты, идеалистические и туманные, обуревали его с не меньшей силой.

Участие Александра в подготовке заговора можно считать исчерпывающе доказанным. Панин свидетельствует, что все, за несколько месяцев до 11 марта сделанное им для блага государства (т. е. для осуществления заговора), было одобрено сыном императора. Но ведь вначале речь шла лишь о перевороте, да и до последнего часа — в точности до того момента, когда на ужине у Талызина глава заговорщиков граф Пален произнес свою знаменитую фразу: «Чтобы сделать яичницу, надо разбить яйца», — люди, которым суждено было поднять руку на своего царя, не знали определенно, как, в сущности, они будут действовать и к чему стремиться. Впрочем, это относится лишь к исполнителям: Палену и тем, которые организовали поход на Михайловский замок, конечно, всегда было ясно, что дело не может ограничиться вынужденным отречением. Конец Петра III был у всех в памяти. Точно так же, как Екатерина не могла бы спокойно царствовать при живом, пусть и отрекшемся императоре, своим муже, власть Александра не была бы крепко установленной, если бы император — его отец — остался в живых.

О том, что, как и Петру III, Павлу надлежит быть умерщвленным, вожаки заговора, конечно, не говорили Александру, но меж собой — и это нам известно по дошедшим воспоминаниям — они обсуждали не самую цель заговора, заранее решенную, а лишь средства ее выполнения, высказывая вначале намерение покончить с царем, потопив его при переправе через Неву, и затем объяснить происшедшее несчастным случаем. Но им нужна была санкция наследника на решительные действия, и, дабы ее получить, они до самого конца в переговорах с ним заявляли, что ворвутся к государю только для того, чтобы исторгнуть от него отречение... Эту санкцию они получили; однако, давая согласие, Александр потребовал от Палена клятвы, что ни один волос не падет с головы отца, и Пален поклялся.

После трагедии Александр Павлович говорил Чарторыйскому, что он мечтал о развязке, которую следовало бы признать действительно идиллической, собираясь предоставить отцу великолепную резиденцию, где отрекшийся царь жил бы в довольстве и благополучии. Очень возможно, слушая Палена, он сам старался себя убедить, что все окончится благополучно, но мог ли он в глубине души своей не сознавать

явственно, что, какие бы он ни придумывал сам для себя оправдания, им было дано заговорщикам разрешение на убийство отца?

«Конца души не найдешь, пройдя весь путь,— так глубоко» — это слова Гераклита. Не найти нам конца души Александра Павловича, в которой перед нами так часто лишь мутные дали да исчезающие миражи. Но вот логика, здравый смысл говорят нам: он должен был знать, что делал.

Тут же добавим: да, но в двуязычии своем он мог на нужное время заглушить голос совести, мог заставить себя поверить, что ему удалось обмануть самого себя...

Вскоре после ужина в роковой вечер, последнего своего ужина с отцом, на котором отец, пристально взглянув на него, саркастически выразил удивление бледности его и растерянности, Александр прошел в свои апартаменты. Елизавета была уже в постели. Лег, не раздеваясь. Затем позвал камеристку и велел ей оставаться в передней до прибытия графа Палена, дабы она тотчас же его разбудила. Знал, что действие назначено на эту ночь, ждал Палена, то есть ждал известия, что цель достигнута, и принимал на всякий случай предосторожности: да будет известно, что в то время, когда заговорщики уже выступали в поход, наследник престола собирался мирно почивать...

Постараемся представить себе Александра в эти часы ожидания — самые страшные часы его жизни. О чем он думает? Вспоминает ли обиды, которые он терпел от отца, сдавленная ярость, его охватывавшая, когда адъютант подскакивал к нему на параде и с опущенными глазами докладывал о приказе государя передать наследнику, что он дурак, а то и скотина, вновь ли пробуждается в нем, разжигая мстительные желания? Раздаются ли в его ушах хвалы, возносимые ему, на которого вся надежда? Повторяет ли он себе снова, что призван совершить великие дела — что неизбежного все равно не предотвратить? Гонит ли прочь ужасом наполняющие душу видения, уверяя себя: это всего лишь кошмар, этого не будет? Трясет ли его озноб, вскакивает ли он, говорит ли сам с собой, мучает Елизавету все теми же вопросами, Елизавету, которая знает все, как и он? Или же лежит в оцепенении, и нет мыслей в его голове; ждать, ждать, будет, что будет?..

Мы не знаем и никогда не узнаем, что делал, что думал Александр Павлович, пока врывались заговорщики в спальню его отца, валили на пол царя, душили его и затем мертвого, разгоряченные вином и убийством, топтали, шпорами полосая его лицо... Когда же Пален и Платон Зубов предстали перед ним, Александр Павлович сразу, лишь увидал их, все понял и разрыдался. Отныне жизнь его будет определена переживаниями, которые испытал он в эту ночь...

— Не ведите себя как ребенок — идите царствовать, — сказал Пален плачущему сыну Павла.

Вечно колеблющийся, слабый — такое определение, часто к нему применяемое, отнюдь не выражает всего императора Александра Павловича, как, впрочем, и ни одно вообще определение. В решительные минуты он умел действовать без промедления. Так случилось и в этот раз: Александр осушил слезы и, сопровождаемый убийцами своего отца, пошел к ожидавшим его войскам. Там перед семеновцами, перед своим любимым полком, он окончательно овладел собою и голосом, крепнувшим с каждым словом,

сказал именно то, что надлежало ему сказать. И когда объявил он, что будет следовать по стопам бабки своей Екатерины, громовое ура покрыло первую речь нового императора.

Воцарение императора Александра I, как известно, сопровождалось истинным взрывом ликования. Кончился кошмар, вступил на престол любимый внук великой монархини, «после четырех лет воскресает Екатерина из гроба в прекрасном юноше», — пишет современник, — все верили, что начинается новое великое царствование. Но что испытывал среди общей радости юный государь?

Существует рассказ, будто, когда Мария Федоровна и Александр предстали перед прахом Павла, над которым всю ночь возились врачи и парикмахеры, вдовствующая императрица, взглянув на густо напояженное, набеленное, полузакрытое нахлобученной на лоб треуголкой лицо удушенного, сказала сыну: «Поздравляю вас, отныне вы император», — и Александр при этих словах грохнулся без чувств на тот самый пол, на котором убили его отца. Рассказ этот, однако, не исходит от очевидца, и вряд ли можно считать его вполне достоверным. Чарторыйский передает, что в дни, последовавшие за преступлением, Александр часами оставался один, в глубоком отчаянии, а Елизавета, на другой день после восшествия его на престол, писала матери, маркграфине Баденской: «Его чувствительная душа навсегда останется растерзанной... Только мысль о возвращении своему отечеству утраченного благополучия может поддержать его. Ничто другое не могло бы придать ему твердость». Эти слова «Психеи», показавшей Александру после трагедии, в которой он был повинен, всю цену своей дружбы, укрепившей его силы, заставившей его взять себя в руки и царствовать мужественно и смело, передают главное в чувствах нового царя, указывают на путь, им избранный для искупления: дать отечеству благополучие.

Лагарп умолял Александра покарать виновных. «Иначе, — писал он, — карая смертью грабеж, совершенный людьми, на то решившимися, быть может, из-за голода, Вы допустили бы пребывать около Вас тем, кого народная молва обвиняет в цареубийстве». Но Александр никого не покарал. Было объявлено, что Павел умер скоротечно естественной смертью. Новый император очень скоро удалил Палена, мечтавшего быть всесильным правителем при неопытном монархе, удалил и многих других крупных и мелких соучастников преступления, но Беннигсену, который повел убийц в спальню его отца, но Уварову, бывшему среди них, да и еще некоторым, прямо или косвенно повинным в пролитии царской крови, суждено было стать помощниками сына Павла, советниками его в правлении и в войне. Александр сумел избавиться от тех вожakov заговора, которые хотели полонить его власть, но о каре он и не думал — да, конечно, и не мог думать.

Величественная была коронация Александра Павловича.

...«Когда ж священный храм при громах растворялся —

О! сколь пленителен ты нам тогда явился,
С младым, всех благостей исполненным лицом,
Над прародительским сияющий венцом,
Нам обреченный вождь ко счастью и славе!»
Так пел Жуковский...

Но французская эмигрантка г-жа де Нуасвилль писала: «Я видела этого молодого монарха, идущего в собор, предшествуемого убийцами своего деда и окруженного убийцами своего отца, — за ним же следовали те, которые, по всей вероятности, убьют его самого».

V*

В 1805 году император Александр Павлович не вкусил еще в полной мере туманных мистических учений своего времени. Однако уже начинал он проявлять склонность к общению со всякого рода «провидцами» и одержимыми, не находя покоя своей душе, искал легко достижимых «откровений».

К скопцу Селиванову, к которому на поклон ходили многие кликуши петербургского света, явился царь за советом, собираясь в поход против Наполеона. Скопец оказался действительно дальновидным. Хриплым, бабьим голосом он прокричал царю:

— Не иди на проклятого француза! Не пришла еще твоя пора! Побьет тебя и твое войско; придется бежать куда глаза глядят!

На Праценских высотах, когда молочный туман растаял под лучами поднимающегося солнца, солнца Аустерлица, конечно, не вспоминал император Александр о пророческих словах Селиванова. Крики войск, тех самых, которые били уже этого противника в долинах Ломбардии и на Чертовом мосту, первые выстрелы и общее радостное возбуждение перед генеральным сражением пьянили юного государя. Он верил в победу. Страна, над которой поставил его Бог, поклонялась ему со страстной любовью, Европа, ликуя, приветствовала его, глядела на него с надеждой. Он освободит ее от тирана, и благодарные народы объявят его спасителем человечества! О, тогда успокоится наконец он духом, ибо преступление 11 марта изглажено будет в памяти потомства величайшей славой на земле!

Когда зашло солнце и битва окончилась, император Александр нашел убежище на краю дороги в избе моравских крестьян. Несколько часов скакал он без цели среди бегущего войска, он был утомлен до потери сознания, и трясло его от озноба. Казаки доставили ему вина — он согрелся, лег на солому и заснул как убитый. В общей панике пропал его багаж. Два дня элегантнейшему монарху Европы пришлось не менять липнущей к телу рубашки и мундира, забрызганного грязью.

Гордыня Александра была сломлена — и исчезли многие из его надежд...

После Аустерлица Ростопчин писал в частном письме, что Бог не может помогать оружию дурного сына, и есть сведения, что содержание этого письма стало известно Александру Павловичу. Ростопчинское оскорбление разило его в незажившую рану. Граф Жозеф де Местр говорил про царевбийство 11 марта: «Il fallait que cette mort arriva, mais malheur a ceux par qui elle est arrivée» **. Итак, горе Александру! Знал он, конечно, что надлежит ему испытать до дна чашу искупления.



Провидению было, однако, угодно, чтобы до того, как погрузился он духом в самые страшные пропасти, вкусил бы Александр Павлович славы и власти над миром и его честолюбие обрело бы высшее удовлетворение. Жизненный путь его пересекся с наполеоновским, и близость гения, с которым неожиданно нашел он общий язык, взрастила до чудовищных размеров самые гордые вожелания «сфинкса», ревниво скрывавшего свою загадку.

«L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux **», — декламировал в Эрфурте Тальма перед монархами Европы, из которых каждый старался попасть на глаза объединившимся в дружбе Наполеону и Александру. Признаем: эта дружба была действительно благотворительной, ибо, хоть и толкнула она Александра на подвиги, которых, быть может, и незачем было ему совершать, все же потому достиг он в земных делах предельного величия, что звезда его в космических пространствах столкнулась со звездой Наполеона.

После Фридланда против воли армии, против воли правящего сословия России, Александр, признав себя побежденным и восхищенный своим победителем, радостно открыл ему свои объятия.

— Ничто в мире не было так мною любимо, как этот человек, — говорил впоследствии Александр, вспоминая о Тильзите, бесконечных своих беседах с Наполеоном, о том, как они на две равные части разделяли между собой Европу. А из Эрфурта, хотя между ними уже вновь назревал разлад, Наполеон писал Жозефине: «Я доволен императором Александром. Будь он женщиной, думаю, я бы в него влюбился». Оба, по-видимому, были на этот раз искренни.

** Дружба великого человека — благодеяние богов.

* В связи с тем, что книга печатается в журнальном варианте, некоторые главы исключены.

** Эта смерть была необходима, но горе ее виновникам.

Честолюбие Александра и еще больше его тщеславие льстило, конечно, умственное и духовное общение с Наполеоном, он им наслаждался в Тильзите, и женственная его натура находила успокоение в соприкосновении с твердой волею и нерушимой силой великого соперника. Но кто же в этой исторической встрече был истинным победителем? Сила Наполеона покоряла Александра, но «суицид прельститель», отдавая во власть Наполеона, сам покорял его. Признано, что наибольшую выгоду из союза извлек Александр, что в конечном счете почти всегда умел он заставлять Наполеона уступать ему — его вкрадчивой настойчивости.

Все, кажется, давно уже сказано о Тильзите. Но вечно пленительна эта страница истории.

На плоту, среди свинцовых вод Немана, на берегу которого расположились обе могущественнейшие армии мира, осуществлялось беспрецедентное в веках единение. Властелин, рожденный революцией, великий созидатель, человек, в себе сосредоточивший мужественность и творческую силу природы, человек действия и чистого разума, истинный наследник Рима и изнеженный и утонченный потомок древних династий, мечтатель, наследник Византии, лукавый и колеблющийся, коронованный представитель в мировых расприх вечной и побеждающей женственности после кровавой брани вдруг встретились и поняли друг друга.

Порой Александру казалась невероятной метаморфоза, произошедшая в их отношениях, — он писал сестре своей Екатерине Павловне: «Я — проводящий целые дни с Бонапартом!.. Скажите — не сон ли все это?»

По-видимому, это был только сон. В книге судеб человеческих было написано, что Александру и Наполеону после мимолетной идиллии, взаимных обождений и несбывшихся грез надлежит вновь скрестить шпаги — на этот раз уже в решительном и беспощадном бою.

Упорство, которое проявил в 1812 году Александр Павлович, связан с духовным его перерождением. Год этот — переломный в его жизни. Прежде он шел ощупью. И вот в грозный час неожиданно открылся перед ним просторный и ясный путь; не знал он, что в конце его тоже кроется для него тупик. Подруга, которую дала ему Екатерина, как и после 11 марта, вновь помогла ему взять себя в руки, когда, казалось, отчаяние уже начинало охватывать его, указала ему, где утешение. Случилось это, когда пылала Москва.

Первым, по-видимому, направил Александра на новый путь друг его юности, князь Александр Голицын, в прошлом повеса, обратившийся в усердного мистика и богомольца. Император был в величайшей тоске. Он знал, что Европа уже считает Россию погибшей, и в душе своей, по-видимому, был склонен признать, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Тревоги своей ему, однако, не надлежало показывать: ведь не напрасно давал он клятву, что не положит оружия, пока последний неприятельский солдат не покинет русской земли. Чтобы не пасть духом, ему нужно было найти какую-то незыблемую нравственную опору. Голицын начал убеждать его искать эту опору в Священном Писании. Но Александр Павлович улыбнулся в ответ. Не угадывал еще, что, несмотря на свое нарочитое вольнодумство, был давно уже и судьбой, и всем складом своей души подготовлен для веры.

Елизавета завершила то, что начал Голицын. С Ближей в руках она подошла к государю, и вместе, вновь соединившись перед общей бедой, они познали высокую радость. «Психея» и «Амур» за чтением Библии! Оба много перестрадали и не знали, чего желать. Горюющая, покинутая царица проявила в эти дни замечательную чуткость, и она поняла, как понимал и сам Александр, что долг его — выдержать до конца испытание, что в этом сейчас его монаршее служение. Граф Бенкендорф свидетельствует в своих записках, что «прекрасная собой, любезная, умная Елизавета Алексеевна показала большую твердость духа в ту эпоху, когда нашествие Наполеона угрожало целостности империи». Следует признать, что ее поддержка, ее воля, едва ли не в той же степени, как и воля Александра, помогли России восторжествовать над врагом. «Даже если Петербургу, — писала она матери, — суждена та же участь (т. е. участь Москвы), император будет так же далек от мысли согласиться на постыдный мир».

Отныне благодаря кроткой «Психее» Александр Павлович познавал новую духовную жизнь, в вере находил укрепление своей воли. Терзаемому совестью, царю рано или поздно надлежало вступить на этот путь. События 1812 года ускорили его обращение в верующего христианина.

Как пишет графиня Эделинг, близко знавшая Александра Павловича: «Чудные события этой страшной войны окончательно убедили его, что для народов, как и для царей, спасение и слава только в Боге».

Еще более определенно говорил сам Александр: «Пожар Москвы освободил мою душу... Тогда я познал Бога».

VI

...Двинув свою армию за границу России, всю мощь своего народа направив на освобождение Европы, Александр Павлович, конечно, уже не мог остановиться на полпути. Кампания 1814 года — это, несомненно, одна из наиболее славных страниц в истории Наполеона и в то же время самая славная страница в истории Александра Благословенного... В Тильзите они обнимали друг друга, делили между собой мир; на полях Франции, на подступах к Парижу они бились смертельно, зная, что вместе уже не могут владычествовать. Победил царь с «ангельской улыбкой», интуиция победила разум.

Верхом, в одном мундире, не страшась непогоды, блистательный, элегантнейший, торопил на Париж свои полки русский император, вождь коалиции — и так радостно было выражение его лица, что казалось, по словам очевидца, был он не на войне, а спешил на веселый праздник.

Победу за победой одерживает Наполеон — и снова, как в 1813 году, теряют голову союзные генералы. Австрийцы медлят, пруссаков страшит память Вальми — на верхах армии нарастает тревога, близка уже паника: еще удар — и на французской земле Наполеон расправится раз и навсегда со своими врагами. После битвы при Шампобере он говорит своим маршалам: «Еще одна такая победа, и союзники будут на Рейне, а от Рейна до Вислы один шаг». И вот уже созрел в его уме план изумительной смелости: открывая Па-

риж, двинуться на сообщения союзников, отрезать их и разгромить полки, предводительствуемые Александром.

Союзники узнают о маневре Наполеона. Спасаться, отступать на Рейн — таков общий голос австрийских генералов: им мерещится солнце Аустерлица. Но Александр Павлович отвергает советы военачальников.

Русский император несет перед историей ответственность за решение, которое было принято в эти памятные дни, и ответственность эта легка. Ибо дальнейший ход событий показал, что он был прав, что верно оценил положение, узрел единственную возможность победить Наполеона, и приказом своим, сломя сопротивление колеблющихся, расстроил его расчеты. В эти дни все распоряжения Наполеона были безупречны с точки зрения чистой стратегии, правильным с этой же точки зрения было и предложение австрийцев. Но Александр знал, и знание его покоилось на глубокой вере в точность своего прозрения, что настал момент, когда следует действовать вопреки логике и рисковать всем, дабы разом восторжествовать.

Утром в Пужи, в главной квартире Александра, была отслужена панихида по императору Павлу — то было 11 марта, годовщина его кончины. Днем на военном совете царь выслушал мнения генералов. О чем думал он в этот день и ночью, когда никого не было около него? Страшные видения, от которых он никогда не мог избавиться, вероятно, неустанно терзали в эту ночь его душу. В годовщину злодеяния, он знал это, решалась в этот раз его собственная судьба. Утром он предстал перед генералами бодрым и полным отваги. Вновь грезились ему, конечно, что победа, слава искупят в памяти потомства его грех. Верил в свою звезду. Сказал генералам, что надо опередить Наполеона, идти немедленно на Париж, пусть армия Наполеона и угрожает союзникам, — ибо когда займут они столицу Франции, его армия им уже будет не опасна: покоренный Париж отречется от императора. Были споры, были сомнения, но воля Александра не пошатнулась — и судьба Парижа была решена.

Наполеон дал такую оценку приказу русского императора:

«Это красивый шахматный ход — я никогда бы не думал, что на это решится кто-нибудь из генералов коалиции».

Мы знаем из писем Александра Павловича и из того, что рассказывал он впоследствии, какой восторг, какая гордость охватили его, когда предстал перед ним Париж, отданный в его власть.

— Это я, я — победитель! — проносилось у него в голове. — Провидению было угодно, чтобы это совершилось через меня!

Он был счастлив в эти чудеснейшие часы своей жизни и благодарил Бога, гордость свою сочетая со сладостным смирением: Богу было угодно избрать его в победители над Наполеоном, Бог поставил его во главе царей и народов, а он лишь выполнял волю Господню.

В этом же году он познал и высшее могущество, и опасность, которую оно таит. Новый колосс вставал на место низвергнутого... Но Европа не желала еще большего возвышения России. Александр понял, что надо продолжать борьбу, расстраивать чинимые ему козни. Однако могло ли это быть достаточной причиной для новых сомнений, новой безысходности его

вечных исканий? По-видимому, таково было свойство его натуры, что удовлетворение и радость быстро покидали его, когда цель была достигнута, ибо тогда становилась ему ясна суетность всех целей мирских. Но был он еще молод и полон сил. Политика не радовала его более — иными путями он стал снова искать забвения.

VII

«Она не Помпадур и не Монтеспан, а скорее, Ла Вальер, с той разницей, что не хромает и никогда не станет кармелиткой», — так отзывался о Марии Антоновне Нарышкиной граф Жозеф де Местр. Он мог бы добавить для вящей точности: и еще с той разницей, что у нее множество любовников. Ничтожно было влияние этой «Аспазии» на правление императора Александра — власть над сердцем царя вполне удовлетворяла ее ограниченное честолюбие. Но на его душевное состояние эта связь оказывала постоянное воздействие, при этом не всегда благотворное, ибо, подарив ему радость бурной, всепоглощающей страсти, Мария Антоновна измучила его затем своими бесчисленными любовными приключениями.

Ревность Александра Павловича доходила до того, что он не в силах был таить свое горе от посторонних и, теряя уже всякое самообладание, жаловался на свою любовницу даже... наполеоновскому послу. Со временем, однако, примирился он внешне со своим положением — мастер скрывать мысли и чувства, научился скрывать и ревность, но долго еще страдал он от измен ветреной своей любовницы. Впрочем, сам он изменял ей не меньше. Жизнь Александра Павловича истинно многогранна, и можно утверждать, что женщины сыграли в его душевной драме такую же роль, как борьба с Наполеоном или стремление преобразить отечество.

Об Александре Павловиче — Дон Жуане — судить мы можем исчерпывающим образом по донесениям осведомителей венской полиции за то время, когда заседал конгресс, тот самый знаменитый конгресс, на котором русскому императору в весьма трудных обстоятельствах суждено было вновь упорно и блистательно защищать интересы России.

Он — освободитель Европы, он — первый среди монархов, нет никого в мире, кто был бы могущественнее его. Александр Павлович любит красоваться, но обычно он чужд помпы, ведь и сама его прославленная элегантность как раз тем безупречна, что никогда не бросается в глаза. В Вене, однако, ему ясно, что в тот момент, когда европейская дипломатия старается уменьшить его силу, надлежит ему ослепить своим великолепием столицу наследников цезарей. Ведь и он их наследник: такова воля предков его московских царей. Пусть же знают император и короли, что недаром герб его империи — орел Византии. Голос царя звучит в Вене более властно, чем голос других монархов. Балы, которые он дает, приемы, торжественные церемонии, им устраиваемые, пышнее австрийских. Затмить всех — вот стремление достойного внука Екатерины.

В Вене, хоть, полагаем, и независимо от соображений большой политики, решил затмить он всех и... в любви. Скорее всего венские его похождения — следствие того, что большая политика к тому времени

принесла ему уже немало разочарования. Размах же и в них проявил он истинно екатерининский.

Конгресс танцует... Монархи, дипломаты, венские красавицы, ревниво следящие за ним глазами, заметили маневр русского императора: он ухаживает за графиней Юлией Зичи, той, которую все признают красивой ослепительной.

«Царь влюблен, царь потерял голову», — шепчутся на конгрессе. Но уже через несколько дней становится известно, что взоры Александра обращены на другую: на княгиню Багратион, вдову бородинского героя, в Вене прозванную «русской Андромедой».

Венская полиция следит за каждым шагом царя. Александр, — так доносит осведомитель, — объявил княгине, что придет к ней, назначил час и предупредил, что хочет застать ее одну.

О романе царя с княгиней Багратион узнает скоро вся Вена. Княгиня в восторге: ей удалось наконец поставить на место давнишнюю свою соперницу, герцогиню Саган, ту самую, которая отбила у нее Меттерниха, а ныне уже начала было хвалиться, что покорила сердце императора Александра.

Зреют интриги. Влиятельные лица толкают герцогиню в объятия русского императора. Но вначале он сопротивляется. «Сделано было невозможное, — жалуется он княгине Багратион, — чтобы заставить меня быть к ней благосклонным. Ее даже посадили со мной в карету. Но все это было тщетным. Я люблю чувственные удовольствия — но от женщины я требую и ума».

Интриги продолжают. Венские дамы стараются наперебой завладеть сердцем обворожительнейшего из монархов, осаждают его генерал-адъютантов — Волконского, Уварова, Чернышева, которые хотят уберечь своего государя от слишком настойчивых поклонниц, ибо им кажется, что государь не может всюду поспеть... Но сам Александр придерживается, очевидно, иного мнения.

Опять свидание с княгиней Багратион, отмеченное полицейскими осведомителями. Александр вечером отправился к ней на извозчике в сопровождении лишь одного слуги и оставался у нее до двух часов ночи. Роман, таким образом, продолжается. Но о большой любви все же говорить, по-видимому, не приходится — ибо в тот же день Александр послал Волконского к другой прославленной красавице, графине Эстергази, дабы объявить ей о предстоящем своем визите.

Через четыре дня один из осведомителей сообщает: «Его Величество Русский Император, по-видимому, привязывается к графине Эстергази... Она уверяет, что нет более очаровательного монарха, чем он. В нем, говорит она, французская живость соединяется с русской простотой, и благодаря этому Его Величество совершеннейший во всех отношениях человек».

Графиня Эстергази становится объектом всеобщей зависти. Но еще через несколько дней у Александра новое приключение: герцогине Саган удалось-таки добиться его благосклонности. Княгиня Багратион в ярости. Меттерних ревнует, а Александр Павлович рад как мальчишка, узнав о таких чувствах знаменитого дипломата. В Вене острят: баварский король пьет за всех, вюртембергский король ест за всех, а русский царь любит за всех...

Танцует если не за всех, то больше всех и едва ли не лучше всех. Английский дипломат сообщает в Лондон: «Что же касается до русского императора, то он

танцует, в то время как Рим пылает».

Еще новое увлечение. На каком-то балу начинает он ухаживать за графиней Сечени.

— Ваш муж уехал, — шепчет он ей. — Мне было бы так приятно занять его место.

— Ваше величество, очевидно, принимает меня за провинцию, — отвечает та и горда, вероятно, воображая, что завладела сердцем царя.

И это, однако, не все, ибо еще на графиню Софию Зичи, «тривиальную красавицу», на княгиню Ауэрсберг и на других еще красавиц обращал в эти веселые венские дни благосклонный взор император Александр Павлович.

Надо думать, осведомители венской полиции все же не всегда точны в своих донесениях, ибо, если верить им, Александр Павлович, не удовлетворяясь успехами своими среди жен австрийских и венгерских вельмож, нередко посылал еще за женщинами легкого поведения. Как бы то ни было, успехи эти не мешали ему помнить об отсутствующих.

Вот что писал он из Вены Луизе фон Бетман*, с которой некогда сошелся во Франкфурте:

«Наконец, я имею известие от тебя, моя любимая. Глаза мои, так долго лишенные этого счастья, наконец, узрели дорогой почерк, глядя на который я понимаю, как ты мне дорога, как все в мире скрывается от моих глаз, когда я получаю что-нибудь от тебя».

И дальше:

«Только чувство моего долга мешает мне полететь в твои объятия и умереть в них от счастья».

Неверно было бы заключить на основании этих строк, будто Луиза фон Бетман была большой страстью императора Александра. Таков уж, насколько мы можем судить, обычный стиль любовных посланий Александра Павловича: в ту эпоху и люди с чувствами более непосредственными выражались столь же экзальтированно.

Никто, однако, не бывает всюду победителем. В Вене коронованный Дон Жуан потерпел раз и неудачу. Понравилась ему как-то другая Эстергази — княгиня Леопольдина. Муж ее на охоте. По своему обыкновению, Александр Павлович посылает к княгине нарочного: объявляет, что намерен провести у нее вечер. Ответ приходит весьма неожиданный: княгиня счастлива, польщена, просит его величество вычеркнуть в прилагаемом ею списке дам, имена тех, которых негодно было бы ему у нее встретить. Александр вычеркивает всех, оставляя на листе лишь имя самой княгини. Та тотчас же посылает за мужем — и князь Эстергази, вместе с женой, встречает его величество. Осведомитель отмечает, что император оставался у Эстергази всего несколько минут.

Неудача не особенно серьезная. Александр Павлович продолжает ухаживать. Быстро проходящие увлечения и забавы. Мальчишеского осталось в нем очень много... Спор с графиней Зичи о том, кто скорее может переодеться — мужчина или женщина. Заключено пари. В одной комнате переодевается графиня, в другой — Александр. Он выходит первым, в мундире, специально доставленном с камердинером. Присутствующие рассыпаются в комплиментах... Самодержец всероссийский, вождь великой коалиции, одержал новую победу!

Не гнушается и дам более скромного происхождения. Госпожи Шварц и Шмидт, жены петербургских

* Прабабка канцлера Бетман-Гольвега.

немцев, прибывают в Вену. Обе — его бывшие любовницы, и обе в Вене возобновляют связь с царем, чем вызывают против себя всеобщее негодование.

Отметим, что Мария Антоновна тоже была в Вене во время конгресса и связи с нею Александр Павлович вовсе не порывал. В Вене была и Елизавета: «Аспазии» и «Психее» надлежало, конечно, присутствовать при всех его торжествах... Царицу жалели, и венский свет весьма неодобрительно отнесся к тому, что Александр Павлович заставил ее пойти на бал к княгине Багратион. Впрочем, хоть Елизавета и имела право почитать себя жертвой крайне легкомысленного супруга, она все же не была лишена некоторого утешения, ибо в Вене вновь встретила князя Адама Чарторыйского и прежняя идиллия на миг между ними возобновилась.

Итак, Александр Павлович проводил время в Вене как будто бы весьма беспечно. Было бы, однако, совершенно ошибочным полагать, что любовные развлечения, хоть в малой мере, мешали ему исполнять свои обязанности. Русскую делегацию на конгрессе он фактически возглавлял: ведал внешней политикой России, импонируя своей настойчивостью и знанием дела всем прочим монархам, предпочитавшим уклоняться от прямого участия в дипломатических распрях.

VIII

Александр обожал женщин. Но когда этого требовали какие-то высшие соображения, умел он не поддаваться даже самым обольстительным любовным чарам.

Страсть, которую питала к нему прекраснейшая и умнейшая королева Луиза Прусская, так и осталась в конце концов без ответа. Доходило до того, что, зная себя и не желая полюбить королеву, ибо, уступая ей, оказывая Пруссии поддержку, он все же хотел охранить независимость своей политики, Александр Павлович, когда гостил в Мемеле, у королевской четы, «страшась» по ночам прихода этой обаятельной женщины, запирался от нее на замок... Позднее, после разгрома Пруссии, поехала она с мужем в Санкт-Петербург, надеясь завладеть полнотью сердцем Александра; он обласкал ее, но когда на балу увидел ее, в роскошном туалете, декольтированную, сверкающую камнями, рядом с Марией Антоновной в гладком белом платье, без единой драгоценности, как всегда, ослепляющей одной своей красотой, любовным взглядом окутал свою избранницу, и королева поняла, что ей не достичь своей цели.

Еще раз пришлось ему играть в Иосифа Прекрасного, причем снова с королевой. В Мальмезоне, в 1814 году, одержавший он своей любовью всеми покинутую императрицу Жозефину. Известно, что она умерла от простуды, схваченной, когда ночью в парке декольтированная гуляла под руку с Александром Павловичем. Русская гвардия воздавала почести праху бывшей жены Наполеона, чьей последней земной радостью была дружба с русским царем. В это же время Александр сблизился с ее дочерью, королевой Гортензией. Посещал ее часто, подолгу беседовал с ней. Победив Наполеона, восстановив на престоле Людовика XVIII, всячески подчеркивал свое расположение к семье императора и к его сподвижникам. Таков уж был его характер — и «противочувствиями» любил он щеголять. Падчерице Наполеона говорил он как-то,

вернувшись от короля: «Как изменился Тюильрийский дворец. Прежде ведь обитал в нем великий человек, а ныне!..» Но ему было ясно, что королева Гортензия стремится воспользоваться его благосклонностью для осуществления политических планов, которым он не хотел потворствовать. И потому, хоть, по-видимому, она и была в него действительно влюблена и, несомненно, ему очень нравилась, отношения между ними не перешли границ сентиментальной дружбы.

Две королевы тщетно пытались, таким образом, снискать его любовь. Между тем ему случалось ухаживать и за горничными. И если он и умел, когда этого требовали обстоятельства, сопротивляться соблазну, с наслаждением отдавался он всей той высшей силе, которой он не страшился, ибо она была бесконечно ему любезной, истинно частью его существа: вечной женственности, началу, над ним владывающему и его окутывающему. Ведь и знаменитая его улыбка, и покоряющее сердца обаяние его личности были овеяны мягкой, пленительной женственностью.

Как известно, венский «карнавал» омрачился весьма неприятным событием: Наполеон вернулся во Францию, и монархи, немало ссорившиеся друг с другом на конгрессе, волей-неволей вновь объединились для борьбы. Русскому царю предстояло еще раз ратовать за «свободу народов».

Настал час последней схватки с «узурпатором». За две недели до Ватерлоо Александр Павлович прибыл в вюртембергский город Гейльбронн, чтобы оттуда торопить в бой вновь вызванные из России свои войска. Состояние его духа было подавленное. Кампания начиналась без его участия: англичане и пруссаки опередили его. Снова считал он, что нужно подымать народы на борьбу с Наполеоном. Но прежней власти над Европой у него не было, и хотя настаивал и в этот раз, что войну надо довести до полной победы — бывшего священного огня он уже в себе не ощущал. Ему теперь было ясно, что какую-то новую цель, совсем иную, чем прежде, надлежит ему преследовать в жизни.

За последнее время в Англии, куда он совершил триумфальное путешествие, Александр много беседовал с квакерами, а в Германии — с пасторами и со всякого рода сектантами, ища этой новой цели. Ему казалось, что православие, церковность уже не могут удовлетворить его, и мало-помалу проникался он тем распылчатым и экзальтированным мистицизмом, который был тогда в моде чуть ли не во всей Европе: жаждал какого-то небесного света, прогоняющего все сомнения.

Александр Павлович заинтересовался баронессой Крюденер, и не случайно. Слава этой романистки, «проприетальницы» и «учительницы», а в прошлом женщины достаточно легкомысленного поведения, к этому времени уже начинала падать. Но так как была она наделена немалой настойчивостью, то решила во что бы то ни стало завоевать вновь прежнее свое влияние на умы и души, жаждущие откровений. А для этого — так правильно она рассудила — не было лучшего способа, чем привлечение в число своих почитателей самого императора Александра. Сблизившись с фрейлиной Струдзой, она стала писать ей о нем, восхваляя его на все лады, называя его «орудием милосердия» и выражая уверенность, что она может помочь ему в его исканиях. Баронесса достигла своего: письма эти были показаны Александру, и тот загорел-

ся желанием встретиться с этой замечательной женщиной, столь хорошо его понимающей... «Не успел я остановиться на этой мысли, — писал он дальше, — как я услышал стук в дверь. Это был князь Волконский; с видом нетерпения и досады он сказал мне, что поневоле беспокоит меня в такой час только для того, чтобы отделаться от женщины, которая настоятельно требует свидания со мною, и назвал г-жу Крюденер. Вы можете судить о моем удивлении! Мне казалось, что это сновидение. Такой внезапный ответ на мою мысль представился мне не случайностью. Я принял ее тотчас же...»

Эффект, таким образом, получился полный. Александр слушал эту востроносую, немолодую женщину, и притворность ее речей его не покорила — воспринимал их как манну небесную.

— Нет, государь, — говорила она ему голосом вкрадчивым, но и властным, — вы еще не приблизились к Богочеловеку... Вы еще не смирились перед Иисусом... Послушайте слов женщины, которая также была великой грешницей, но нашла прощение всех своих грехов у подножия Распятия.

Говорила она много о «суетной гордости», о пизитизме, дарующем спасение, и о той роли, которую она призвана играть при нем.

Баронесса могла праздновать полную победу. В письме к фрейлине Струдзе Александр говорит, что ее появление оказалось для него благодеянием, ей же самой он сказал буквально: «Вы помогли мне открыть в себе вещи, которых я никогда в себе не видел; я благодарю Бога».

Так произошло обращение Александра Павловича в усердного мистика, последователя и почитателя прогремевшей на всю Европу подданной своей — баронессы Крюденер.

Баронесса Крюденер участвует советами во всех его духовных исканиях. Некоторые историки склонны думать, что она вдохновляла в эту пору его политику. В таком суждении кроется коренная ошибка. Александр, который, по словам Меттерниха, соединял все женские слабости со всеми качествами мужчины, никогда в политике не находился под непосредственным влиянием — не только Марии Антоновны, но и какой-либо другой женщины. Известное исключение составляет, быть может, лишь любимая сестра его Екатерина Павловна. Как бы то ни было, подлинной Эгерии не встречаем мы в его жизни. Фаворитки его, точнее — женщины, которыми он увлекался мимолетно, ибо фавориткой в полном смысле слова была только Нарышкина, не разоряли государственной казны, и с мнением их в вопросах чистой политики он, конечно, очень мало считался. Строго говоря, не влияли на политику Александра ни жена его, хоть в грозные минуты и укрепляла она его волю, ни даже мать — властная Мария Федоровна, волю свою проводившая только в том, что касалось самой династии*. Но женщины, некоторые, во всяком случае, создавали в нем известное душевное настроение, которое косвенно могло отражаться на его решениях. Баронесса Крюденер была женщиной изворотливой, но никогда ее ум не был бы способен породить какой-то новый план охранения порядка в Европе. Однако не подлежит сомнению, что именно благодаря ее поучениям, в значительной степени даже благодаря самой галиматье,

в которой выражала она свои сумбурные мистические теории, «Белый Ангел» созрел окончательно для Священного союза.

IX

Прошло десять лет. В последнюю пору своего царствования, перед таинственным отъездом в Таганрог, император Александр Павлович, оставаясь наедине со своими мыслями, часто, вероятно, оглядывался на пройденный путь. Чего достиг он, что осуществил? Увеличил размеры своей империи, население ее — на двенадцать миллионов душ, водил свой народ по Европе от края до края и сломил могущество Наполеона, но что — вопрос этот должен был особенно мучить его, — кроме славы да новых земель, дал он России? Не осуществил того, к чему стремился в юности, не поставил на ноги молодую Россию, не усовершенствовал, не обновил русской нации; некогда готов был обещать ей чуть ли не все свободы, а теперь уже ничего обещать не мог и вызвал против себя раздражение своих же бывших сотрудников, предоставив полякам больше прав, нежели русским, нежели создателям империи. Не слишком ли часто дела Европы отвлекали его внимание от нужд народа, им управляемого? Возможно, уже не знал он сам, был ли прав, направив всю мощь, всю энергию России на далекие походы, борьбу с врагом, который ей больше не угрожал. Конечно, винить себя одного ему не следовало — не настало еще время для коренных реформ. Но грусть, вероятно, охватывала его, когда вспоминал, что собирался освободить крестьян, а через почти два с половиной десятилетия после вступления своего на престол ничего решительного так и не предпринял для этого — и знал, что уже не может предпринять. Почему расстался он со Сперанским? Конечно, и этот вопрос, вероятно, мучил его. Ведь не мог он не отдавать себе отчета, что Сперанский был самым замечательным государственным деятелем его царствования, что надлежало бы ему, русскому самодержцу, благодарить судьбу за то, что она дала ему такого помощника. Неужели уволил его, изгнал с бесчестьем только потому, что тот позволял себе иногда высмеивать за глаза его вечное двуличие, или же потому еще, что ему было обидно сознавать умственное превосходство этого человека?

Что в содеянном им, в трудах его и в плодах этих трудов могло бы дать ему утешение? Священный союз... То было действительно его детище. Замыслил этот союз в Париже в 1815 году, в ту пору своей жизни, когда, например, он говорил: «Я открою нечто, что весьма удивило бы мир, если стало бы достоянием гласности: в совещаниях с министрами, которые далеко не разделяют моих принципов — если они высказывают обратное мнение, вместо того, чтобы спорить с ними, я внутренне совершаю молитву и наблюдаю, как они мало-помалу приближаются к принципам милосердия и справедливости». Он сам составил основные положения этого союза монархий, монархической «лиги наций», для борьбы во имя веры Христовой с «духом времени», тем самым, который так прельщал его в юности.

Договор христианского единения... Монархи обязывались «пребывать соединенными узами братской дружбы, оказывать друг другу помощь и содействие, управлять подданными своими в том же духе братства, для охранения веры, правды и мира».

* Именно она воспротивилась самым решительным образом браку дочери своей великой княжны Анны Павловны с Наполеоном.

В последние месяцы его царствования все, кто встречал Александра Павловича во время его одиноких прогулок по царскосельскому парку, бывали поражены грустным выражением его лица. Он, вероятно, томился духом, теряя окончательно надежду обрести в исполнении монаршего своего служения удовлетворение и радость.

Для того ли, чтобы стать вассалом Меттерниха, сражался он с Наполеоном, брал Париж и диктовал свою волю Европе? Священный союз — это детище его, которое ему было так дорого, которое считал он прекраснейшим увенчанием своих побед, — Меттернихом был использован как орудие австрийской политики. И он, русский государь, не сумел воспротивиться умалению России. Вечно преследуя химеры, он вообразил, что отныне его миссия — охранять в Европе установленный порядок, веру и незыблемость монархического принципа. И вот, когда греки подняли знамя восстания против султана во имя веры Христовой, но и во имя Свободы, он, наследник византийских императоров, против воли своего народа не оказал им поддержки, допустил, чтобы их убивали неверные. Он сам говорил тогда вызывающе, храбрясь, быть может, только для того, чтобы заглушить сомнения, его охватывающие, что был единственным человеком в России, не желавшим новой войны с Турцией: Меттерних заверил его, что восставшие греки были всего лишь революционерами, движимыми все тем же пагубным «духом времени»...

В первую половину своего царствования он высоко поднял престиж России, укрепил ее мощь и содействовал нации в осуществлении ее самых лучших устремлений. Во вторую же половину можно наблюдать упадок всего им достигнутого в первую. Трагедия Александра — это в какой-то степени трагедия самой России: взлеты, падения, мощь и неуравновешенность. Скажем еще раз: в своей совокупности царствование это было блистательным. Но не вычеркнуть из него ни бессмысленной капитуляции перед Австрией, ни во внутренних делах — аракеевщины.

Х

Военные поселения — как и Священный союз — дело Александра Павловича. Это он замыслил поселить армию, проявив при этом, как замечает главный историк его царствования, благие побуждения при отступлении практического знания народной жизни.

Шильдер в следующих строках дает очень верную картину этой злосчастной попытки, осуществление которой было полностью поручено Александром графу Аракчееву:

«Мысль императора Александра... заключала в себе великодушное побуждение не отрывать солдат в мирное время от своих семейств и хозяйства и облегчить вместе с тем государственный бюджет по продовольствию войска, возложив его на самих поселян и наделив их для того достаточным количеством земли для удовлетворения как личных продовольственных потребностей строевых солдат и их семейств, так и фуражного довольствия кавалерии. Конечная цель, к которой должно привести новое учреждение, в мыслях Государя была: благо народа. Тщетно насильно облагодетельствованные крестьяне сочиняли просьбы царю — «о защите крещеного народа от Аракчеева», тщетно некоторые приближенные лица возражали против учреждения поселений; Александр сказал:



Александр I

«Они будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова...»

Так умел порой быть неумолимо жестоким и деспотическим этот коронованный «сфинкс», некогда клявшийся, что только установление свободы может принести ему удовлетворение, этот обворожительный государь, которому усердная его попечительница, г-жа де Сталь, как-то говорила: «Ваш характер — истинная конституция для вашей империи, а ваша совесть для нее гарантия».

Кроме «блага народа», военные поселения, впрочем, имели и еще одну цель: усилить до предельной степени мощь русской армии. Для защиты России? В первую очередь для служения Священному союзу. Ведь говорил Александр Павлович в Вероне Шатобриану, что Провидение подчинило ему армию в восемьсот тысяч человек «для того, чтобы охранять религию, мораль и справедливость, и — добиться торжества этих принципов, обеспечивающих порядок, на которых покоится человеческое общество».

Ни первая, ни вторая цель не была достигнута. Солдаты оказались весьма посредственными хлебопашцами, а крестьян не удалось превратить в дисциплинированных воинов. Бунты не прекращались — и военные поселения оставили по себе в русском народе истинно трагическое воспоминание. В этом отношении постарался граф Аракчеев, ибо если целью укрепления российской военной мощи была, по слову царя, охрана в мире морали и справедливости, то вовсе не эти принципы положил в основу своих трудов «без лести преданный» исполнитель воли Александровой.

Организация военных поселений была для Аракчеева лишь развитием тех крепко им продуманных

начинаний, которые он осуществлял в собственной вотчине: Грузии. Графа Аракчеева, как администратора, характеризует следующая особенность: он любил дрессировать людей, полагая, что таким путем можно вернее всего обеспечить в человеческом обществе длительный порядок.

Напомним лишь о некоторых его методах. Бабы в Грузии — так велел Аракчеев — должны были рожать ежегодно. А так как увеличение мужского населения он почитал особенно желательным, то каждое появление на свет ребенка женского пола сопровождалось, согласно его предписанию, наложением штрафа на роженицу — и точно так же штрафом каралась мать, если ребенок родился мертвым! Браки в Грузии совершались в строгом соответствии с постановлением хозяина, выбиравшего для каждой девки жениха. Порой, впрочем, когда были у него более неотложные заботы, давал он приказ подбирать супругов путем жеребьевки. В подвалах барского дома, в кадках с рассолом, всегда мокли розги, потребление коих увеличивалось с возрастом любимца обворожительнейшего из монархов. Граф Аракчеев предписывал, чтобы и наказания были в Грузии образцовыми — и дабы халатности в этом деле не проявлялось, сам осматривал спины выпоротых. Был во всем человеком аккуратным и методическим: иногда, однако, чтобы не переутомлять себя излишними хлопотами, поручал наблюдение за выполнением приговоров любовнице своей Анастасии Минкиной, девке распутной и жестокой до зверства, которую любил он без памяти.

Вот с такими взглядами на жизнь и на человеческую личность граф Аракчеев и приступил к организации военных поселений. Удивляться не приходится ни чувствам, которые питали к нему поселенные солдаты-крестьяне, ни тому, что приближенные Александра называли его кто, как Волконский, «проклятой змеей», кто, как Закревский, «вреднейшим человеком в России», а кто просто «бульдогом». Удивительно, во всяком случае, на первый взгляд другое: дружба, связывавшая его и Александра Павловича.

Как известно, под конец царствования Аракчеев был своего рода вице-императором, и все, вплоть до заслуженнейших генералов и сановников, трепетали перед ним. Карамзин писал с горечью: «Говорят, что у нас теперь только один вельможа: граф Аракчеев. Бог с ним и со всеми». Не только не чаял души в нем Александр Павлович, но всячески подчеркивал свою к нему близость. Так, путешествуя со свитой, он при въезде в большой город обычно сажал рядом с собой Аракчеева, в дороге, если было холодно, укрывал его собственной шинелью и вообще, как с беззащитным и ласковым ребенком, возился с этим красноносым, малоопытным пожилым человеком, вечно неприветливым и тоскливым, одной из любимых забав которого было драть солдатам усы.

В ответ на аракчеевские донесения, что бунт, вспыхнувший в Чугуевском военном поселении, подавлен, причем он, Аракчеев, велел наказать виновных «шпицрутенами, каждого через тысячу человек по двенадцать раз», в результате чего «несколько преступников, самых злых, после наказания, законами определенного, умерли», Александр Павлович писал ему в таких выражениях: «Издавна тебе известна, любезный Алексей Андреевич, искренняя моя к тебе привязанность и дружба». И далее заверял его: «Мог

я в надлежащей силе ценить все, что твоя чувствительная душа должна была перетерпеть в тех обстоятельствах, в которых ты находился».

Ценил его высоко, бесконечно высоко. Прощал ему решительно все, вернее не хотел останавливаться на том, что в личности и деяниях Аракчеева должно было бы его отталкивать. Александр Павлович, на полях сражений проявлявший отвагу, восхищавшую всю его армию в 1815 году, чтобы скорее быть в Париже, во главе казачьей сотни покрывший двести верст по местности, еще не занятой союзниками, всегда в минуты опасности любивший пощеголять своим бесстрашием, упорно забывал или старался не думать, что Аракчеев ни в одном бою так и не участвовал, а когда при Аустерлице предложил ему командование колонной, он уклонился от этой чести, сославшись на чувствительность своих расстроенных нервов. Не желал слушать тех, кто хотел открыть ему глаза на его любимца, впрочем, мало кто на это и решался; посещая Грузию, не допускал до себя Анастасию Минкину, при этом делал вид, будто вообще не знает о ее существовании, как делал он вид, что не знает ни о жестокости Аракчеева и его бесчинствах, ни о том, что когда он, государь, с кем-нибудь совещается, тот нередко подслушивает у дверей, а кроме того, дабы ведать все, что происходит во дворце, подкупает его прислугу.

Казалось бы, трудно себе представить более разную натуру, чем блистательный, утонченный Александр Павлович и этот мало образованный (даже не говорящий по-французски!) педант, исполненный сознания собственной важности, всеми проклинаемый и всех ненавидящий. И тем не менее какие-то общие черты у них, значит, имелись, раз едва ли не приятнейшим времяпрепровождением Александра в годы «затмения» было беседовать с графом Аракчеевым.

Основа близости Аракчеева к Александру — это память о Павле. Когда умирала Екатерина, Павел соединил их руки и велел им быть навеки в союзе друг с другом. Дружба с Аракчеевым была таким образом для Александра даром, полученным им от несчастного своего отца, — даром священным. Но этого мало. Аракчеев, как цепная собака, был предан Павлу Петровичу. Будь он в столице в роковую ночь — сумел бы его спасти. Известно, что заговорщики настолько опасались Аракчеева, что, узнав о предстоящем его прибытии в Санкт-Петербург, решили действовать раньше положенного.

Аракчеев имел право считать, что до конца оставался верным своему царю, и Александр, вечно мучимый страшным воспоминанием, находил утешение в том, что этот человек, безоговорочно осуждавший заговорщиков, остался при нем — их главным сообщнике — верноподданнически преданным другом и советником.

Таково было первое звено поразительного сближения этих двух людей. Упрочило же его следующее обстоятельство: Александр Павлович, равно как в славе, в любви или в мистицизме, искал забвения еще и в... симметрии, причем страсть его к симметрии, принимавшая, по выражению генерала Ермолова, характер своего рода хронической болезни, порождала в нем истинную манию порядка, аккуратности даже в самых, казалось бы, пустячных делах.

Так, например, он письменно выражал недовольство тому же Аракчееву за то, что в бумаге, ему

препровожденной, писарем было оставлено между словами слишком большое пространство, или же в дороге приходил в сильнейшее раздражение, заметив, что указательные столбы поставлены недостаточно прямо, и его охватывало бурное негодование, если представленный ему доклад был написан на листе, формат которого, как ему казалось, этому докладу не соответствовал.

Рабочий кабинет царя полностью отражал это его «хроническое» пристрастие к мелочной аккуратности и симметрии. Два совершенно одинаковых камина: на одном бюст Юноны, на другом — Минервы. Маленькие столики, покрытые зеленым сукном, с ровно сложенными на них папками: по столику для каждого ведомства. Ни атома пыли. Ничто так не сердило российского самодержца, как малейшее нарушение порядка, раз навсегда установленного в его кабинете, так что прислуга в точности должна была знать, как лежать на царском столе каждому карандашу.

В романе «Александр I и декабристы» Д. С. Мережковский очень правильно определяет сущность отношений между Александром Павловичем и Аракчеевым. У этих специалистов по «фрунту» была общая страсть: часами совещаясь с фаворитом о том, например, какие бы внести новшества в форму гренадер или егерей, часто самые незначительные, царь, несомненно, находил душеспасительное забвение. Ведь был он сыном Павла, и гатчинская муштра оставила на нем столь же значительный отпечаток, как и школа Лагарпа. Такое же удовольствие, как танцы с влюбленными в него красавицами, доставляло ему наблюдение за упражнением солдат: слова команды, мерный шаг — весь этот автоматизм казарменных учений — пленяли его, и радость на миг вселялась в его душу.

Каждый раз, когда Аракчеев показывал ему военные поселения или грузинское свое хозяйство, Александр Павлович высказывал полное одобрение его трудам, один, например, не отдавая себе отчета, что поросенок, который красовался на обеденном столе в каждой избе, был все тот же, задними ходами доставляемый, пока осматривал он жилища аракчеевских крепостных. Как-то вернувшись из Грузина, он писал своей сестре Екатерине Павловне, что испытывает восторг от этого «очаровательного места», в частности от порядка, в нем царящего, и «особой симметрии», отличающей постройку и расположение домов. Все избы в Грузине были на один лад: Аракчеев говорил, что «любит единообразие во всем», и слова эти в точности выражали вкусы самого Александра. Единообразные избы, солдаты, марширующие так, что не приметить малейшего дыхания в рядах, живые колонны, в сверкании штыков передвигающиеся по равнине, и массивные, ровные колоннады, выросшие за его царствование на площадях всех российских городов, — как все это было прекрасно!

В некотором отношении «прельститель» и «бульдог», таким образом, не были уже столь различны.

XII

В юности, еще до вступления своего на престол, Александр Павлович говорил неоднократно, что хочет отказаться от своих прав, от своего положения и жить частным человеком. В первые годы царствования желание это как будто покинуло его. Вскоре, однако, оно вновь проявилось.

В Тильзите, в пору, когда, казалось, все помыслы, вся воля его были направлены на действие, на большую политику, прежние желания, очевидно, опять охватывали Александра Павловича, раз Наполеон, по свидетельству Коленкура, угадал, что он устал от монаршей власти.

В конце 1812 года в Вильне, освобожденной от французов, когда вся Россия торжествовала победу, он заявляет одной из своих приятельниц:

— Мне иногда хочется разбить голову о стену. У меня нет призвания царствовать.

А был прирожденным властелином! «К противочувствиям привычен...»

В 1817 году в Киеве на большом обеде он объявляет во всеуслышание, что монарх должен оставаться на престоле лишь до тех пор, пока физические силы позволяют ему нести бремя власти, и намекает, что лет через десять — пятнадцать покинет престол. Передавая об этом, Михайловский-Данилевский отмечает, что слова Александра должны войти в историю, и выражает недоумение: неужели император желает отречься, подобно Диоклетиану или Карлу V?

В 1819 году Александр Павлович делает брату своему Николаю и его жене, великой княгине Александре Федоровне, еще более знаменательное заявление. Он прямо говорит, что его долг — отречься, что он это решил и если не сейчас, то своевременно приведет в исполнение свое решение.

В том же 1819 году он говорит Константину Павловичу: «Я должен сказать тебе, брат, что я хочу абдикировать; я устал и не в силах сносить тягость правительства; я тебя предупреждаю для того, чтобы ты подумал, что тебе надо будет делать в сем случае». И добавляет: «Когда придет время абдикировать, то я тебе дам знать, и ты мысли свои напиши к матушке».

Как известно, цесаревич Константин Павлович еще до того, как вступил вmorganатический брак, решил не наследовать Александру. После трагедии 11 марта он сказал определенно — такое страшное впечатление произвело на него убийство отца, — что царствовать не будет ни при каких обстоятельствах. Решение брата Александр Павлович окутал почему-то величайшей тайной. Манифест о том, что наследником престола назначается великий князь Николай Павлович (составленный лишь в 1823 году), он передал московскому архиепископу Филарету в запечатанном конверте с такой собственноручной надписью: «Хранить в Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть московскому епархиальному архиерею и московскому генерал-губернатору, в Успенском соборе, прежде всякого другого действия».

О том, что Константин не будет царствовать, было поставлено в известность лишь очень ограниченное число лиц. Зачем Александру понадобилось скрывать волю цесаревича? Высказывалось предположение, что он медлил с ее обнародованием, ибо сам собирался принять такое же решение — и хотел о своем уходе и об отказе Константина от прав на престол сообщить России одновременно. Впрочем, такое объяснение кажется несколько искусственным. Как бы то ни было, тайна участия Александра I в данном случае переплетается с еще одной загадкой, быть может, находящейся от нее в какой-то зависимости, нам неизвестной.

В 1824 году Александр говорит Васильчикову, который пришел выразить ему всеобщую радость по поводу его выздоровления, что в конце концов был бы доволен избавиться так или иначе от столь тяжелого ему бременю власти.

В 1825 году объявляет приехавшему в Санкт-Петербург принцу Оранскому, что решил отречься и жить частным человеком.

Следовательно, как будто можно бы заключить, что Александр I действительно пришел к твердому решению отречься от престола. Такое заключение, однако, вряд ли, как нам кажется, было бы верным, точнее — совсем верным.

Император Александр Павлович говорил о своем намерении покинуть трон. Но только ли к отказу от власти он стремился? Похоже, что он в свое время действительно думал об отречении, но, как увидим, можно предположить, что затем, избрав цель, гораздо более высокую, совсем иным образом решил осуществить свой уход в новую жизнь.

Дневник супруги императора Николая Павловича, императрицы Александры Федоровны, вероятно, мог бы раскрыть многое в тайне Александра I. Была она с ним в самых лучших отношениях, как и Елизавета, называла его «нашим ангелом» и очень много писала о нем. Дневник ее, однако, сохранился не полностью. Великий князь Борис Владимирович, любезно поделившийся со мной своими сведениями, рассказал мне, что, перелистывая этот дневник, находившийся до революции в личной библиотеке государя, он заметил странные пропуски: как раз после тех строк, где шла речь о намерении императора Александра отречься от престола, было кем-то вырвано несколько страниц...

Все же и в уцелевшем тексте находим мы такие удивительные строки, написанные императрицей 15 августа 1826 года в Москве во время коронации:

«Gewiss werde ich beim Anblick des Volks denken wie der selige Kaiser einst sagte, als er seiner Abdankung sprach: «et comme je me rejouirai quand je vous verrai passer et que moi dans la foule ie vous crierai hurrah, en remuant mon bonnet dans les airs»*.

Итак, на пути к собору, быть может, жена императора Николая с замиранием сердца вглядывалась в толпу, в лица, ей знакомые, лица глаза, которые сразу узнала бы, глаза «покойного государя». Верила ли она в его смерть? Или знала некую великую тайну, которую даже от нее скрывали? Или всего лишь мимолетное сомнение охватывало ее, пробуждая в памяти слова «ангела» ей любезного, ушедшего навеки? Как угадать в строках ее дневника, в которых такое внутреннее противоречие («покойный государь» и... предчувствие, что испытает волнение при виде толпы, что будет искать его в ней...), сокровенную мысль императрицы Александры Федоровны? Но совершенно ясно выражено в них нечто, куда более существенное, нежели личное ее убеждение:

«Из толпы, махая шапкой, буду кричать вам «ура»... Потерянный в толпе, никем не узнаваемый, ибо принявший иной облик... Значит, не о торжественном отречении помышлял Александр Павлович. Да иначе ведь и не могло быть.

* Конечно, при виде толпы буду я думать о словах покойного государя, произнесенных им как-то, когда говорил он о своем отречении: «Как я буду радоваться, когда вы будете проезжать передо мной, а я из толпы, махая шапкой, буду кричать вам «ура».

Отречься... А затем? Подобно Карлу V удалиться в великолепные чертоги и оттуда, внушая трепет памятью о своей бывшей мощи, диктовать свою волю новому монарху? Или, подобно Диоклетиану, посвятить остаток дней трудам на лоне природы, пользуясь всеобщим почтением? Все, что мы знаем о жизни императора Александра, не позволяет приписать ему подобные намерения. Мог ли он, если ни в религии, ни в славе, ни в любви не обрел он забвения, надеяться, что его принесет ему отречение? Он устал не только царствовать, но жить в той среде, где он главенствовал. Устал от поисков конечной цели. Давно изверил-ся он в том, что на престоле может выполнить спасительную миссию. Давно угадывал, вероятно, что миссию надлежит избрать ему уже совсем иного порядка, что спасти может его только искупление страданием, полное, конечное.

«Всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге». Вычислено, что с 1801 по 1825 год покрыл он на лошадях расстояние в 213 400 км, путешествуя из города в город, из страны в страну, часто без всякой цели. Словно бежал он от кого-то с места на место — не от тени ли отца своего, убитого не им, но с его негласного разрешения?

Друг его юности, князь Адам Чарторыйский, свидетельствует, что в первые дни своего царствования он говорил тем, которые пытались его утешить: «Оставьте меня, я должен страдать», — и тот же Чарторыйский указывает, что, когда царствование его подходило к концу, память о том, что своим согласием на совершение переворота он развязал руки, жаждущие убийства, как в юности, владела всем его существом, вселяя в него горечь и безысходную тоску. И уже в 1822 году Меттерних, после встречи с ним в Вероне, отмечал, что русский император устал от жизни.

Нет, конечно, одного отречения уже не было бы достаточно для страждущей души «сфинкса» с неразгаданной загадкой. Но была еще одна причина, по которой Александр Павлович не мог бы открыто заявить о своем отказе от власти. Ведь его бы постарались отговорить от этого, удержать на престоле, указывая, что не было примера в русской истории монарха, оставляющего трон в расцвете могущества, и если бы он упорствовал в своем решении, упрекнули бы его в трусости, в желании спастись от ответственности. Слишком был горд император Александр Павлович, чтобы снести подобный упрек. Сто раз под ядрами и пулями он красовался своей храбростью, а когда, возвращаясь из Аахена, получил известие, что на него готовится покушение, вместо походной фуражки надел треугольную шляпу с белыми перьями — как бы для того, чтобы его сразу все узнавали, и отказался от вооруженного конvoja...

Покинуть трон... Скажем еще раз: да, похоже, он этого желал.

Но не путем отречения.

XIII

Вдумаемся теперь, какой бы путь мог избрать Александр Павлович для спасения страждущей своей души.

Сын Павла искал утешение чуть ли не во всех религиях, во всех мистических теориях, которые знало его время. Для сестры своей, великой княгини Екатерины Павловны, составлял он некогда целые тракта-

ты о различии между «церковью внешней и внутренней», о мистериях элевзинских и египетских, о Митре и об Орфее. Со своим министром и другом, князем А. Н. Голицыным, мистиком и иллюминатом, совершал он какие-то таинственные бдения перед крестом с пылающим сердцем посередине. Баронесса Крюденер и квакеры, протестантские пасторы и некая г-жа Буш — хиромантка, вывезенная им из Франции, католические прелаты и православные архиереи, монахи и отшельники, масоны и полуюродивые, представители официальной церкви, сектанты и шарлатаны от мистицизма удостаивались длительных аудиенций у самодержца империи, главы церкви российской.

В какие только двери он не стучался! Даже в двери собора Св. Петра. Посылал к папе своего генерал-адъютанта, графа Мишо де Боретура, и лелеял мысль о соединении церквей. «Мы коснулись, — пишет Шатобриан о своих беседах с ним в Вероне, — соединения церквей — греческой и латинской. Александр склонялся к этому, но он не почитал себя достаточно сильным, чтобы попытаться осуществить такое намерение... Он не знал, подчиняется ли он тайным велениям Господа, или всего лишь внутренним побуждениям, которые толкнули бы его к святотатству, сделали бы его ренегатом».

Нет, ренегатом он не был. Несмотря на свой нарочитый космополитизм, император Александр Павлович, хоть и упрекали его в том, будто интересы Европы дороже ему интересов России, в глубине души всегда оставался русским и православным.

Испробовав «все формы религии», все же только в христианском смиреннии, добродетели, столь чтимой православием, видел он истинный путь к духовному возрождению.

Фотий, этот достойный предшественник Распутина, малообразованный, но хитрый монах, несомненно, душевнобольной, но наделенный некоторой смекалкой, сумевший войти в полное доверие царя, так описывает характерным для него стилем первое свое свидание с Александром:

«Изшед из колесницы, шел по лестницам общим, знаменовал как себя, так во все стороны дворец, проходы, промышляя, что тьмы здесь живут и действуют сил вражых, что ежели оные, видя крестное знамение, отбегут от дворца на сей час прихода, Господь перед лицом царя даст ему благодать и преклонит сердце его послушати, что на сердце его есть царю возвестить... Отверзаются двери, я оными вхожу в комнату, где был царь, вижу, что тотчас царь грядет принять благословение, я же, не обращая на него внимания, смотрю, где святой образ в комнате на стене есть, дабы сотворить молитву, перекреститься, поклониться, прежде царя земного, образу Царя Небесного... Царь, видя меня, хотевшего прежде честь Богу сотворить, ступил в сторону на то малое время и после паки со страхом и благоговением подходит ко мне, приемлет благословение, целует усердно десницу мою...»

А вот как окончилось свидание:

«И посем, знаменав главу цареву и лице, руки мои отнял, царь же поклонился мне в ноги, стоя на коленях; восстал от земли, принял благословение, целовал десницу мою, весьма благодаря, просил в молитве поминать не забывать, благословение посылать, и проводил меня сам из дверей».



А. А. Аракчеев

В смирении находил Александр удовлетворение своей гордыне. И когда коленопреклоненный стоял он перед Фотием, целовал его мужицкую руку, не испытывал ли острую, живительную радость, унижаясь, не мнил ли себя еще более великим?

Его народ... Он любил сливаться с ним, как в Москве в 1812 году, когда шел к Успенскому собору и слышал, как вместе с его сердцем бьется сердце великой страны.

Прусскому епископу Эйлерту, отвечая тем, которые называли русских варварами, он говорил: «Старинные обычаи можно сравнить с древними сосудами, в которых содержатся сердечность и детская простота, о чем современный мир ничего не знает и знать не хочет, хотя от этого он нисколько не счастливее».

Православные монахи, схимники и странники под конец его царствования особенно влекли к себе императора Александра. Монаха-отшельника посетил он в ночь, когда покидал навсегда Санкт-Петербург, и часто перед этим в российских монастырях подолгу оставался в монашеских кельях — и как раз после посещения схимника в Киево-Печерской лавре впервые поведал своему окружению о желании покинуть престол.

«Возносясь духом к Богу, — говорил он графине Соллогуб, — я отрешился от всех земных наслаждений. Призывая к себе на помощь религию, я приобрел это спокойствие, этот мир душевный, который не променяю ни на какие блага здешнего мира». Пусть в этих словах и была поза, но — но только ли поза?

Посещая Валаамский монастырь, он избегал почестей, заявляя, что в этом месте они подобают лишь Богу. Отстаивал все монастырские службы и говорил монахам, что испытывал великую радость. На берегах Ладожского озера, в монастырской тиши, быть может, созревала в нем окончательно воля вернуться навсегда к мирным и извечным истокам жизни.

Был ли способен принять беспримерное в истории решение этот мечтательный и переменчивый земной властелин? Хватило ли бы у него воли уйти от мира? Но ведь как раз в наиболее важные минуты своей жизни проявлял он непоколебимую решимость. «Упрям, как мул», — сказал про него Наполеон. А в семье называли его «кротким упрямым». Штейн, так хорошо его знавший, говорил: «Его считают слабым, но это ошибка. Он никогда не выйдет из круга, который сам себе начертал, круг этот железный». Вследствие ли воли, или упрямства умел он оставаться верным принятому решению.

А ведь в данном случае дело шло только о первом шаге, после которого уже не будет возврата. Один шаг и — неизвестность, бездна, забвение.

Был ли он, однако, готов к испытанию? По-видимому, да, ибо вся жизнь его в период «затмения» была как бы ступенями, ведущими в монастырь. Смирение. Ни балов, ни иных развлечений. Уединение. В его царскосельском рабочем кабинете полумрак, свечи и тишина: размеренное, мирное бытие, покой монастырской кельи.

«Император, — пишет Тарасов, — в резиденциях и в путешествии всегда почивал на походной кровати — на матрасе, набитом соломой, с ложбиной в середине, а в головах всегда была сафьянная подушка, набитая сеном».

Не раз уже приучал он себя к лишениям, испытывал волю и силы. Своему адъютанту, Михайловскому-Данилевскому, говорил он во время пути, что намерен ехать три или четыре станции, «не закрывая коляски и не выходя из оной», и держал слово, «невзирая ни на какую погоду, на ветер, дождь или бури». Путешествуя по Финляндии, он пожелал несколько дней подряд следовать дорогами почти непроходимыми, переправляясь через реки, по пояс в воде, питался одной картошкой и спал в крестьянских хижинах.

Мы не знаем, какое решение принял Александр Павлович, в точности мы даже не знаем, узрел ли он действительно тот путь, который мог бы дать ему наконец полное забвение. Но, по-видимому, мы можем сказать: то, что нам известно о нем, о переживаниях его и характере, не противоречит молве о превращении внука Екатерины, славою осиянного императора, в отшельника, смирением искупающего свои былые грехи.

«Чему быть, тому не миновать», — с загадочным видом сказал Павел в присутствии сына за несколько часов до того, как заговорщики ворвались к нему. Быть может, эти же слова проносились в голове Александра, когда он уезжал в Таганрог...

XIV

За несколько дней до отъезда в Таганрог Александр имел совещание с Голицыным. Тот старался ему доказать, что нельзя дольше оставлять в тайне акты, изменяющие порядок престолонаследия. Александр ответил:

— Положимся в этом на Бога. Он устроит все лучше нас, слабых смертных.

Накануне отъезда он простился в Павловске с вдовствующей царицей. Долго беседовал с Марией Федоровной, этой женщиной, властолюбивой и упрямой, несмотря на свои шестьдесят пять лет, сохранявшей нрав неугомонный и бурный, пышной Юноной Олимпа, где был он и Марсом, и Аполлоном, матерью

своей, вдовой убитого царя, в присутствии которой всегда испытывал смутное волнение и робость.

Что сказал он ей в этот последний их разговор? Ведь все вопросы, касающиеся династии, решались с ее согласия. Мы знаем только, что после обеда Александр долго гулял по саду, заходил в Розовый павильон, где по возвращении из Парижа, одиннадцать лет тому назад, чествовали его как спасителя Европы. В этом саду, уже одевавшемся цветами осени, дано ему было, таким образом, пережить еще раз в воспоминаниях наибольшую свою славу, а перед этим дворцом, для отца его построенным, также и страшное деяние, память о котором — он знал это — будет терзать его до конца дней.

Описанием отъезда Александра Павловича начинается настоящая работа: попытка приблизиться к разгадке тайны одного из самых замечательных русских царей. Необычайная служба в лавре, беседа с отшельником и остановка у заставы — царь, поднявшийся в коляске, созерцающий свою столицу, словно прощаясь с нею...

Цель этого путешествия не была понятна даже ближайшему окружению государя. Елизавета Алексеевна тяжело болела — врачи предписали ей ехать в Италию, на юг Франции или России. Таганрог, хоть и южный город, климатом никогда не славился. Город, к тому же мало привлекательный, мало пригодный, во всяком случае, для пребывания болящей императрицы. Волконский разводил руками в недоумении — как это не отыскиали в России города с лучшим климатом, чем Таганрог.

Семь лет до этого Александр уже раз был в Таганроге. Что именно остановило в нем его внимание? Почему в эти месяцы, когда решалась участь его жены, если пожелал он оставаться в России, не остановил он своего выбора на залитом солнцем побережье Черного моря?

Он выехал первым, дабы все было готово к приезду императрицы. Он так спешит, что останавливается в дороге лишь для самого короткого отдыха. Бешеная скачка с одного края империи к другому, от Балтики до Азовского моря, от города Петра до степей, которые ведут в Азию.

13 сентября Александр прибыл в Таганрог.

Лейб-медик, баронет Виллие, записывает в этот день в своем дневнике:

«Мы прибыли в Таганрог, где оканчивается первая часть нашего путешествия...»

И добавляет слово «finis».

«Finis» — конец. Конец чего? Всего лишь первой части путешествия? В таком случае это слово кажется неуместно торжественным. К тому же вообще неясно, почему Виллие говорит о первой части путешествия, ведь по приезде в Таганрог Александр Павлович вовсе не изъявлял желания ехать еще куда-то.

Виллие был из тех, которые знали мысли и намерения императора Александра.

В сорок пять лет, страдая чахоткой, а быть может, пороком сердца — мнения врачей расходятся, — Елизавета Алексеевна заметно ослабевала. Тем не менее она была счастлива: ей казалось, что Александр испытывает к ней наконец настоящую любовь.

Еще одно звено в таинственной цепи событий, предшествовавших развязке. Когда царствование его подходило к концу, Александр Павлович сблизился с женой. Он окружал ее таким вниманием и нежно-

стью, что приближенные называли их в шутку молодоженами. Потому ли так произошло, что после смерти Софии* у него не было другого близкого существа, потому ли, что, опасаясь за жизнь Елизаветы, хотел как-то скрасить ее тяжелые предчувствия, или же потому, что принял решение расстаться со всем, что его окружало, расстаться, значит, и с ней и старался, подготавливаясь к уходу, искупить лаской и заботами грехи свои перед женой?..

Скучным городом был Таганрог в начале прошлого столетия. Однообразные домики, пустующая тюрьма — некогда в Таганрог отправляли опасных преступников — да склады морского ведомства. С одной стороны степь, словно уходящая в бесконечность, с другой — серые стоячие воды Азовского моря, от которых шли нездоровые испарения.

Город одинокий, потерянный.

«Дворец» был на самом деле одноэтажным домом в десять комнат. Александр занимал из них две, причем одна выходила на двор. Вид на море. Уединение.

Императору нравилось пребывание в Таганроге. Он говорил, и слова его глубоко запали в память их слышавших:

— Нужно, чтобы переход к частной жизни не был бы слишком резок.

Длительные беседы после обеда с Елизаветой, прогулки по городу, вечера в местном собрании, где Александр танцевал с женами мелких чиновников, теряющими, вероятно, голову от такого негаданного счастья, долгие часы с женой на берегу моря, тихая, внешне беззаботная жизнь.

Тревожные вести приходили тем временем в Таганрог. В слезливом письме Аракчеев сообщал Александру, что крепостные убили его возлюбленную Анастасию Минкину, и при этом давал понять, что они хотели убить и его самого. Не было ли это новым предупреждением рока? Но более всего поразило Александра поведение Аракчеева. Этот всемогущий фаворит, истинный вице-император, обезумев от горя и, вероятно, даже от страха, заявлял Александру, что не в силах более исполнять своих обязанностей, и в нарушение основных правил воинской дисциплины, не дожидаясь ответа царя, сдал командование другому генералу. «Прощай, Батюшка,— из Грузии писал царю Аракчеев,— вспомни бывшего Тебе слугу; друга моего зарезали ночью дворцовые люди, и я не знаю еще, куда осиротевшую свою голову преклоню; но отсюда уеду». Одновременно получил Александр новые донесения из армии, указывающие, что нужно срочно принять меры против заговорщиков. События принимали все более серьезный оборот. Но Александр снова не дал приказа об аресте, хотя бы вожаков, подготавливавших восстание. Признаем, что если, дабы осуществить свое намерение уйти от мира, ожидал он лишь еще нового удара судьбы — большего, нежели измена прямому своему долгу Аракчеева, проявившего открыто всю трусость своей натуры, — он, конечно, не мог бы получить.

Исчезнуть... На кого мог бы он положиться, чтобы привести в исполнение такое исключительное решение? В Таганроге при Александре Павловиче — и это тоже знаменательно — была лишь весьма малочисленная свита. Но находились при нем как раз те два человека, которым он мог бы безбоязненно доверить

даже и такую свою последнюю волю: Волконский и Виллие.

Генерал-адъютант князь Петр Михайлович Волконский всегда сопровождал царя неотлучно и был связан с ним трагическим воспоминанием: в событиях 11 марта 1801 года он не принимал непосредственного участия; но, во всяком случае, как близкий к наследнику, знал о готовящемся перевороте, подобно наследнику, по всей вероятности, сознательно, не предвидя кровавого исхода, и находился в роковую ночь в Михайловском замке. Волконский в 1814 году состоял начальником штаба Александра. Был он человеком распорядительным и в то же время во всем императору покорным.

Лейб-медик баронет Яков Васильевич Виллие так же, как и князь П. М. Волконский, почти всюду сопровождал императора и был близок к нему с самого начала царствования. В трагедии 11 марта Виллие был участником: тогда еще молодому английскому врачу заговорщики поручили скрыть, насколько сие было возможно, следы насилия на лице убитого императора. Виллие к тому же был всем обязан Александру, даже своим титулом баронета, пожалованным ему английским регентом по просьбе русского царя.

Таким образом, Александр I в последние дни своего царствования имел при себе двух свидетелей преступления, ускорившего его вступление на престол. Конечно, ни Виллие, ни Волконский не могли бы отказать ему в просьбе, даже беспримерной, как бы она их ни пугала.

И, наконец, при Александре была Елизавета. Екатерининский вельможа, граф Головкин, хорошо знавший ее еще во времена ее юности, так отзывался о мечтательной «Психее»:

«Двор ее почти не видит, нация к ней не привязана, все жизненные интересы исчезли для нее. Но эта очаровательная женщина, кажущаяся бесцветной, лишенной индивидуальности, таит в себе гений — и, быть может, настанет день, когда какой-нибудь случай его проявит. Тогда все увидят женщину высшего порядка».

Случай этот не должен ли был представиться именно теперь?

XV

В сущности, довольно мало известно о жизни Александра Павловича в Таганроге. Чем подробнее изучаешь конец его царствования, тем гуще кажется пелена, прикрывающая какие-то события, о которых упоминается лишь вскользь в дошедших до нас документах, или, быть может, такие, о которых не упоминается вовсе... Шильдер справедливо замечает, что описания, относящиеся к этому периоду, полны противоречий или очевидных неточностей. Мы стоим у преддверия тайны.

Каково же было в эти недели душевное состояние царя? Похоже, он стал еще более подозрительным, чем когда бы то ни было в своей жизни. Поднял, например, невероятную историю из-за того, что в хлебе, ему поданном, оказался камушек. Приказал произвести строгое расследование, причем поручил это дело не кому иному, как самому начальнику генерального штаба Дибичу, которому пришлось опрашивать прислугу и хлебопеков. Чего он опасался? Ведь в этом городе ему решительно ничего как будто не угрожало. Надо думать, несмотря на идиллию с Елизаветой,

* Дочь Александра Павловича от Марии Антоновны Нарышкиной (ред.).

нервы его были чрезвычайно напряжены и испытывал он жгучую тревогу и волнение.

20 октября Александр выезжает в Крым без императрицы. Первоначально эта поездка не предполагалась. Окунается в привычный автоматизм: приемы и смотры. Но этим не ограничивается его времяпрепровождение. Едет на могилу баронессы Крюденер. Верхом, в одном мундире, скачет в Георгиевский монастырь. И, наконец, как видение из «Тысячи и одной ночи», ханский дворец открывает свои хоромы «белому царю».

Проявляет исключительную выносливость. Не подлежит сомнению: несмотря на свои сорок семь лет, он в расцвете сил. Встает с солнцем, не слезает с лошади до обеда и тотчас же затем снова на седле. При этом не испытывает никакой усталости; не желает слушать тех, которые ему говорят, что, когда приближаешься к шестому десятку, нужно беречь себя.

Во время этого путешествия говорит опять о своем намерении покинуть трон. Заявляет: «Я скоро переселюсь в Крым и буду жить частным человеком. Я отслужил двадцать пять лет, и солдату в этот срок дают отставку». Не указывает, однако, ни когда, ни при каких обстоятельствах собирается осуществить такое решение, словно не желая полностью раскрыть свой замысел.

27 октября вечером, после поездки в горы, снова в одном мундире, чувствует озноб. В последующие дни недомогание его продолжается. Врачи, однако, не испытывают беспокойства — очевидно, считая, что это лишь пустячная болезнь, с которой легко справиться его крепкая натура.

На обратном пути Александра нагоняет фельдъегерь Масков, везущий депеши. Царь велит ему следовать за ним. Лошади Александра несутся во весь дух. На крутом повороте, по неосторожности ямщика, старавшегося не отставать от царской коляски, Масков был выброшен из перекидной и, ударившись о камень, разбился насмерть. Гибель фельдъегеря чрезвычайно поразила Александра. «Выслушав донесение доктора Тарасова о смерти, государь встал с места и в слезах сказал: «Какое несчастье! Очень жаль этого человека»... «При этом, — вспоминает Тарасов, — я не мог не заметить в государе необыкновенное выражение в чертах его лица, хорошо изученного мною в продолжение многих лет; оно представляло что-то тревожное и вместе болезненное, выражающее чувство лихорадочного озноба».

5 ноября Александр был обратно в Таганроге, закончив последнюю в своей жизни монаршую поездку по своим владениям. Недомогание его продолжается: озноб и желудочные боли. Виллие лечит его слабительными и горячими напитками. 9 ноября врачи наблюдают улучшение как будто бы решительного характера. По мнению одного из них (Стоффрегена), государь уже на пути к полному выздоровлению. В этот день Елизавета записывает:

«Стоффреген мне сказал, что болезнь можно считать пресеченной, что если лихорадка возобновится, то примет уже форму перемежающуюся и с нею можно будет быстро справиться — и следовательно, я могу написать в Санкт-Петербург, что болезнь уже прошла».

После этой даты сведения о ходе болезни Александра становятся часто противоречивыми в подробностях. Как бы то ни было, они сходятся в одном:

положение Александра резко ухудшилось, скоро всякая надежда была потеряна, царь исповедался и приобщился, причем заявил священнику, что просит исповедовать его не как императора, а как простого мирянина.

Наконец, под датой 19 ноября в записках князя Волконского значится:

«Государь оставался в забытии во все время до конца, в 10 часов 50 минут испустил последний дух. Императрица закрыла ему глаза и, поддерживая челюсть, подвязала ее платком, потом изволила пойти к себе».

В записках Виллие сказано:

«Ее величество императрица, которая провела много часов вместе со мною одна у кровати императора все эти дни, оставалась до тех пор, пока наступила кончина, в 11 ч. без десяти минут сегодняшнего дня. Князь (Волконский), барон (Дибич), доктора, дежурные de vita aeterna gauderi spero».

В письме управляющего Демидовской конторы в Таганроге о сведениях, им полученных от царского камердинера Федорова и царского кучера Байкова, события 19 ноября изложены следующим образом:

«Твердость и великость духа государыни Всевышней Творец подкрепил. Она полторы сутки находилась при императоре; за час до кончины государь, открыв глаза и видя около себя предстоящих любезнейшую царицу, барона Дибича, князя Волконского и прочих особ, не мог говорить, но память еще имел; сделал движение рукой, звал государыню, которая к нему подошла. Государь взял в последний раз ее руку, поцеловал и, прижав потом к сердцу, навеки с нею простился, после чего вскорости в безмолвной и глубокой тишине отдал дух Всевышнему. Наконец, на исходе души великого своего супруга, сама изволила закрыть дражайшему своему царю глаза и, подвязав ему платком подбородок, залившимся слезами, получила сильный обморок. Немедленно вынесли ее в другую комнату».

Князь В. В. Барятинский в своей книге «Царственный мистик», в свое время произведшей в России столь большое впечатление и вызвавшей страстные споры, подробно останавливается на противоречиях в показаниях, относящихся к 19 ноября 1825 года и к предшествующим дням. Был ли обморок у Елизаветы? Волконский и Виллие об обмороке не упоминают, не упоминает о нем и Тарасов. С другой стороны, согласно ряду свидетельств, при кончине Александра, кроме императрицы, были будто бы и другие лица. Между тем в «Истории болезни и последних минут императора Александра», имеющей официальный характер, сказано: «В 10 часов и три четверти император испустил последний вздох в присутствии императрицы, которая была одна при умирающем».

В дальнейшем я подробнее остановлюсь на всех этих вопросах. Отмечу теперь же, что такого рода противоречия не следует все же придавать особого значения; ведь, например, на любом процессе в свидетельских показаниях, даже самых добросовестных, встречаются часто и куда более разительные. Кончина Александра I 19 ноября 1825 года официально засвидетельствована, о ней письменно сообщают лица, бывшие в это время в Таганроге, в том числе и сама императрица Елизавета Алексеевна. Тем не менее, как я постараюсь доказать, независимо от вышеуказанных противоречий, имеются веские основания до-

пускать, что официальная версия таганрогских событий не соответствует истине и, значит, можно считать, что русский государь, чье царствование было одной из самых славных страниц русской истории, Агаменном великой европейской брани, блистательный внук Екатерины, «сущий прельститель» и победитель Наполеона, удостоился искупительным подвигом приобщения к лику святых.

Часть вторая НОВЫЕ ДАННЫЕ

I

Нет ничего удивительного, что после 19 ноября 1825 года мало-помалу поползли по всей России слухи, сходящиеся на том, что в Таганроге произошло нечто таинственное, необычайное, вовсе отличное от сведений, которые сообщались официально о конце царствования Александра I. Царь, неоднократно говоривший о своем желании покинуть мир, мечтатель и мистик, умирает в расцвете сил в далеком городе, куда поехал никому не ведомо зачем. Естественно, среди близких Александра должны были возникнуть какие-то сомнения, быть может, лишь весьма смутные — тому свидетельство хотя бы удивительные слова в дневнике императрицы Александры Федоровны, — и, естественно, также, что слухи распространились и среди народа. Редко ведь бывает, чтобы смерть царя или правителя, если она происходит неожиданно, а особенно при ограниченном числе свидетелей, не вызывала бы в народе всевозможных догадок и пересудов. Следует все же признать, что слухи, распространившиеся после таганрогских событий, были чрезвычайно настойчивы и что, быть может, не только по причинам вышеуказанным, эти слухи казались, даже людям, хорошо осведомленным, близким ко двору, не лишеными какого-то основания.

Характерно известное письмо Александра Булгакова о «вздорных слухах», распространившихся в Москве, коими весьма был смущен генерал-губернатор князь Д. В. Голицын. Наконец, совсем недавно в советской России (в «Литературном архиве») была опубликована переписка семьи Болотовых, в которой А. Т. Болотов, автор известных мемуаров, хоть и не высказывая сомнения в том, что царь действительно умер в Таганроге, подчеркивает, насколько странными казались (уже в то время) его поездка в этот город и события, за ней последовавшие. «Впрочем, — пишет Болотов, — и в самом неожиданном намерении императрицы Елизаветы Алексеевны и самого государя ехать в Таганрог, и в решимости его, несмотря на всю дурноту осени и опасность крымского климата, ехать в оный и там подвергаться явной опасности от простуды, и ненатуральной почти нехотение надеть на себя шинель, и несговорчивость употребить предохранительные врачебные способы, и нехотение совершенно лечиться... содержит много удивительного и замечательного, и Провидение Божие, равно как бы невольно влекло его туда и распорядило все так, чтобы ему непременно должно было там окончить свою жизнь».

Слухи, циркулировавшие в народе, чаще всего имели более категорический характер. Приведу наиболее примечательные из известной записи дворового человека Федора Федорова: «Московские новости, или Новые правдивые и ложные слухи, которые после виднее означутся, которые правдивые, а которые лживые...»:

«Государь жив. Его продали в иностранную неволью...

Государь жив, уехал на легкой шлюпке в море...

Князь Долгоруков Юрий Владимирович, престарелый князь, после блаженной кончины Александра I не присягал еще ни одному из новых государей, а желает прежде видеть тело покойного государя своими глазами в лицо...

Когда привезут государя покойного в Петербург и поставят тело его в означенном соборе, тогда вся царская фамилия будет его осматривать, а другого звания, кроме царской фамилии, не будет в соборе никого, а тело его будет вынуто из гроба и осмотрено кем следует...

Когда государь был в Таганроге, то приходят к той палате несколько солдат и спрашивали, что государь делает, им отвечали, что государь пишет, то и пошли прочь, также и на другой день пришли, получили тот же ответ и ушли опять, тогда пришли на третью ночь, им ответили, что государь ходит по покоям, то один солдат зашел к государю и сказал ему: «Вас сегодня изрубят, приготовьтесь непременно», то государь сказал солдату: «Хочешь за меня быть изрубленным», то солдат сказал: «Я не хочу ни того, ни другого», то государь сказал ему: «Ты будешь похоронен, как я, а род твой будет весьма награжден», то солдат тогда на оное согласился. Он надел на себя царский мундир, а государя спустил в окно, а на солдата вбежали изверги и всего изрубили вместо государя...»

Согласно еще одному слуху, государь, чтобы избежать смерти, обменялся мундиром с часовым и встал на часы — солдата убили вместо него. «А настоящий государь, бросив ружье, бежал с часов, но неизвестно куда, и писал Елизавете Алексеевне письмо, чтобы одного солдата похоронили как меня»*.

Всевозможные слухи распространялись и за границей — так, английские газеты того времени писали, будто Александр был похищен в море.

Доктор Тарасов вспоминает, что при следовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург «неблагодарные люди» распускали разные «нелепые слухи». Когда шествие приближалось к Туле, стало известно, что фабричные хотят вскрыть гроб, и пришлось усилить меры охраны, и без того исключительные.

Во время остановки в Москве настроение было настолько тревожное, что в девять часов закрывали ворота Кремля (гроб стоял в Архангельском соборе) и у каждого входа выставляли по заряженной пушке. Пехотные части заняли Кремль, а кавалерия расположилась в экзерциргаузе. Всю ночь по Москве ходили патрули.

Конечно, слухи сами по себе не могут быть приняты в расчет при попытке выяснить действительность. Но вот, почти семьдесят пять лет после этих событий, заканчивая свой объемистый и серьезнейший труд об Александре I, Н. К. Шильдер, имевший доступ ко всем архивам и знавший, вероятно, многое, что другим исследователям не было известно, писал следующее:

«Если бы фантастические догадки и народные предания могли быть основаны на положительных дан-

* Наконец, по другим слухам, записанным тем же Федоровым, «государя напоили такими напитками, от которых он захворал и умер», «государь убит в Таганроге верноподданными извергами, ну, т. е. господами благородными душами, первейшими в свете подлецами» и т. д.

ных и перенесены на реальную почву, то установленная этим путем действительность оставила бы за собою самые смелые поэтические вымыслы; во всяком случае, подобная жизнь могла бы послужить канвой для неподражаемой драмы, с потрясающим эпилогом, основным мотивом которой служило бы искупление. В этом новом образе, созданном народным творчеством, император Александр Павлович, этот «сфинкс, не разгаданный до гроба», без сомнения, представился бы самым трагическим лицом русской истории, и его тернистый жизненный путь устлал бы небывалым загробным апофеозом, осененным лучами святости.

В своей нашумевшей брошюре «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Козьмича» великий князь Николай Михайлович упрекает Шильдера за то, что тот мог в серьезной исторической работе увлечься до того, чтобы закончить свой капитальный труд словами, «которые только могут поддерживать сомнения и смущать образованную публику». Шильдер «увлекся» не сгоряча, прельстившись красотой «народного предания»: как ныне известно, историк Александра I пришел к глубокому убеждению, что это не предание, а быль.

VI

Первые сведения о Федоре Кузьмиче относятся к 4 сентября 1836 года. В этот день в окрестностях Красноуфимска Пермской губернии подъехал к кузнице человек лет шестидесяти, осанистый и чрезвычайно благообразный, и попросил кузнеца подковать его лошадь. Как всадник, так и лошадь немало поразили кузнеца: одет бедно, в обыкновенный крестьянский кафтан, а сразу видно, что барин... — лошадь кровная, стоящая, несомненно, большие деньги! Около кузницы собрался народ. Проезжему стали задавать вопросы. Неопределенные его ответы возбудили подозрение крестьян, которые и решили, что осторожнее предупредить полицию...

На допросе неизвестный сказал, что его зовут Федором Кузьмичом и что он — бродяга, не помнящий родства. То было николаевское время — за бродяжничество полагалась суровая кара. Есть сведения, что полицейские чины, пораженные благородной, внушающей симпатию и почтение, внешностью этого человека, изящными его манерами и речами, свидетельствующими о его высоком образовании, пытались уговорить его открыть, кто он на самом деле. Но тот отвечал одно и то же: «Я бродяга, не помнящий родства». Император Александр Павлович в молодости мечтал отменить телесные наказания, но войны с Наполеоном, слава, поиски истины, мистицизм — все это отвлекло затем его внимание от былых гуманных намерений: красноуфимским властям пришлось приговорить Федора Кузьмича к наказанию двадцатью ударами плетей. Приговор был приведен в исполнение — и Федора Кузьмича выслали на поселение в Сибирь. Уверяют, будто тем временем из Санкт-Петербурга был получен приказ об отмене его высылки, но что он отказался им воспользоваться.

Сведения о жизни Федора Кузьмича ныне общеизвестны. Поэтому лишь кратко расскажу о ней.

При следовании в Сибирь этапным порядком Федор Кузьмич своими речами и добрым отношением к товарищам по несчастью произвел большое впечатление на солдат конвоя. 26 марта 1837 года он прибыл

в Ботогольский округ Томской губернии, где ему было предписано проживать. В первое время своего пребывания в Сибири он работал на винокуренном заводе, однако начальство старалось утруждать его как можно меньше. Вообще местными жителями было замечено, что Федор Кузьмич по сравнению с другими ссыльными находится на совершенно особом положении.

Очень скоро по окрестным деревням пошла молва о Федоре Кузьмиче, старце праведном, внешность и мудрые слова которого производили неизгладимое впечатление на крестьян. Проповедовал он смирение, снисходительность к чужим грехам, но также и гордость, сознание собственного достоинства, однако при соблюдении покорности по отношению к властям. Говорил он, например, крестьянам: «И цари, и полководцы, и архиереи такие же люди, как и вы, — только Богу угодно было одних наделить властью великою, а других предназначить жить под их постоянным покровительством...»

Прошли годы. Похоже, что Федор Кузьмич испытывал непреодолимое влечение к «перемене мест». «Всю жизнь провел в дороге» — эти язвительные слова про императора Александра Павловича в какой-то степени можно применить и к нему: тот путешествовал без особой цели из города в город по странам Европы, этот тоже без каких бы то ни было существенных причин перебирался из деревни в деревню — по сибирской тайге. Популярность его росла. В каждой деревне, куда он переселялся, крестьяне хотели бы навсегда удержать его, ибо никто не умел так хорошо, так назидательно говорить с простыми людьми: после беседы с ним они испытывали душевное успокоение, так что рождалась среди них вера, что это человек, посланный Богом для их спасения.

Федор Кузьмич учил детей грамоте и Закону Божьему. Посещали его старые и молодые, мужчины и женщины, крестьяне и приезжие из города. Все его любили. Он был милостив с каждым, очаровывал всех своим простым и ласковым обхождением. Не подлежит сомнению: живи этот человек среди людей более высокого культурного уровня — его бы признали рожденным «шармером». Иногда, однако, он проявлял раздражительность. Так, например, рассердившись на рабочих, производивших шум при исправлении оконной рамы, он закричал в сердцах: «Если бы я вам сказал, кто я, вы бы меня не мучили!» Впрочем, такие вспышки гнева происходили у него весьма редко.

Крохотные кельи, в которых он жил, были все одинакового образца: их строили для него крестьяне, следуя во всем его указаниям. Одинакова была и их обстановка. Небольшая жесткая кровать, две-три скамьи, иконы, причем на особо почетном месте икона Святого Александра Невского. Старец обычно принимал посетителей стоя; разговаривая, любил шагать взад и вперед, держа правую руку за веревкой, подпоясывавшей его грубую холщовую рубаху: это было у него привычкой, подобно тому, как часто у военных — закладывать руку за борт мундира... Крестьянское его облачение не умаляло величественности его облика. Даже самых обездоленных он встречал ласково, однако всем своим видом неизменно напоминал высокопоставленное лицо, дающее аудиенцию.

В келье его всегда царил абсолютный порядок. Старец не потерпел бы, чтобы какой-нибудь предмет оказался в ней не на обычном для него месте. Был чрезвычайно чистоплотен, и крестьяне с почтитель-

ным изумлением передавали друг другу, что он каждый день меняет носки.

Еще несколько знаменательных черт. Федор Кузьмич был глуховат на одно ухо. Спина его была сутула, чувственный рот — тонко очерчен, голос — невысокий и мягкий, а глаза — голубые и приветливые. Вставал с солнцем и часами коленопреклоненно молился перед иконами. После его смерти увидели, что колени его были покрыты мозолями. Несомненно, он был глубоко верующим, однако многие примечали в нем некоторое отклонение от ортодоксальности. Туманные мистические теории явно привлекали его. Епископ Парфений подозревал, что он впал в «преlestь». Не был ни постником, ни ханжой. Поговаривали, что он масон. В первое время его пребывания в Сибири крестьяне думали даже, что старец никогда не исповедуется. Выяснилось, однако, что он не хотел исповедоваться у священника своего прихода и избрал духовником другого, из соседнего села. Этот священник навещал его раз или два в год, причем говорил крестьянам, что те должны с величайшим уважением относиться к старцу, ибо он «великий угодник Божий».

По характеру Федор Кузьмич был эмоционален. Рассказывали, что, услышав крестьян, поющих старую военную песню о «белом царе», он разрыдался и попросил их никогда не петь ее при нем.

По-видимому, можно считать установленным, что старец говорил на нескольких языках. Переписывался с некоторыми лицами, по всеобщему мнению, высокопоставленными. Писал всегда, запершись на замок. Как-то посетил его иркутский епископ Афанасий. Они земно поклонились друг другу. Крестьяне видели, как, благословив старца, епископ, в свою очередь, поцеловал ему руку. Следует также отметить, что Федор Кузьмич избегал встреч с высшими представителями государственной власти. Так, когда генерал Клейнмихель, некогда близкий сотрудник Аракчеева, приехал в больницу, в которой он находился на излечении, старец поспешил спрятаться, и тот так его и не увидел.

Покидая село Зерцалы, Федор Кузьмич преподнес местной часовне раскрашенный разноцветными красками вензель: буква А с короной. «Храните этот вензель пуще своего глаза», — сказал он крестьянам.

Был ли Федор Кузьмич счастлив? Похоже, душа этого одинокого, старого человека оставалась отзывчивой и тяготился он без близкого существа. Судьбе было угодно дать вкусить ему нежной, отеческой любви.

Александра Никифоровна, которую впоследствии знали в Томске как майоршу Федорову, сироте, воспитывавшейся у священника, было двенадцать лет, когда она впервые его увидела. Хотела подойти к нему, но братья увели ее со словами: «Нечего тебе беспокоить его, он с тобой и говорить не станет». Но через несколько дней, выходя из леса с корзинкой брусники, увидела его снова. Она затем рассказывала, что с затенным трепетом подбежала к нему и, протянув корзинку, пролепетала:

— Не хочешь ли, дедушка, ягодок?

— Спасибо, маленькая, — отвечал Федор Кузьмич. Он взял обеими руками ее голову, поцеловал в лоб, и в глазах его показались слезы. Что так взволновало его? Не какое-то воспоминание из его прошлой, не



Старец Федор Кузьмич

ведомой никому жизни воскресло в нем при виде этой доверчивой, ласковой девочки?

С этих пор он и полюбил ее.

Занимался ее воспитанием. Проводил с ней целые дни, рассказывал ей про монастыри, которые он посетил некогда, про далекие святыни, про странников и отшельников. Когда ей было шестнадцать лет, Александра Никифоровна, прельщенная рассказами старца, решила совершить паломничество ко святым местам. Братья старались отговорить ее, убеждая заняться вместо этого поисками жениха. Но Федор Кузьмич ей объявил: «Погоди, успеешь еще выйти замуж, тебе не годятся эти женихи, ты непременно выйдешь замуж за какого-нибудь офицера».

Старец снабдил ее подробными указаниями, куда ей ехать и к кому обращаться. По словам Александры Никифоровны, у них, между прочим, произошел такой разговор. Она спросила его, как бы ей увидеть царя. «А разве тебе хочется видеть царя?» — спросил, в свою очередь, Федор Кузьмич. «Как же, батюшка, не хочется, все говорят, царь, царь, а какой он из себя — и не знаешь». «Погоди, — сказал ей старец, — может быть, и не одного царя на своем веку увидать придется, Бог даст, и разговаривать еще с ним будешь и увидишь тогда, какие цари бывают».

Следуя указаниям Федора Кузьмича, Александра Никифоровна посетила во время своей поездки Почаевский монастырь, причем повидалась, опять-таки согласно воле старца, с графиней Остен-Сакен. Графиня взяла ее с собой в Кременчуг, где находился ее муж, граф Дмитрий Ерофеевич, известный генерал, будущий севастопольский герой, лично знавший императора Александра I, усердный богомолец и мистик, поддерживавший переписку с Федором Кузьмичом. У графа Остен-Сакена Александра Никифоровна встретила проезжавшего тогда по этим краям императора Николая Павловича. Слова старца сбывались. Царь беседо-

вал с молодой сибирячкой и подробно расспрашивал про ее жизнь. Уезжая, он велел графу дать ей записку — пропуск и сказал ей: «Если ты будешь в Петербурге, заходи во дворец, покажи ту записку, и тебя нигде не задержат».

В 1852 году Александра Никифоровна вернулась к Федору Кузьмичу. При первом же свидании произошла такая сцена:

«Смотрела я на него, — рассказывает Александра Никифоровна, — да и говорю ему спроста: «Батюшка Федор Кузьмич! Как вы на императора Александра Павловича похожи!» Как я только это сказала, он весь в лице изменился, поднялся с места, брови нахмурились, да строго так на меня: «А ты почему знаешь? Кто это тебя научил так сказать мне?» Я и испугалась. «Никто, — говорю, — батюшка, это я так, спроста сказала, я видела во весь рост портрет императора Александра Павловича у графа Остен-Сакена, мне и пришло на мысль, что вы на него похожи, и так же руку держите, как он!»

Старец ей ничего на это не ответил, он вышел в другую комнату, и она видела, как он утирал слезы.

Пять лет спустя Александра Никифоровна совершила новое паломничество. Лица, к которым она обратилась, снова по указаниям Федора Кузьмича направили ее в Валаам, причем она оказалась на одном пароходе с императрицей Марией Александровной (супругой Александра II). Императрица пригласила ее к себе и долго с ней беседовала.

Впоследствии архиепископ Исидор познакомил ее с майором Федоровым, за которого она и вышла замуж. Опять слова Федора Кузьмича сбылись в точности.

Чиновники, купцы, священники часто навещали старца. Все они были удивлены его познаниям во многих областях, вескими суждениями о государственных делах, рассказами о людях, игравших заметную роль в конце восемнадцатого столетия и в начале девятнадцатого. Говорил он много об Отечественной войне, о Кутузове, о взятии Парижа, о Меттернихе, о военных поселениях, об Аракчееве, о Фотии. Примечательно, что Федор Кузьмич избегал высказывать суждения об императорах Павле I и Александре I.

В Томске, где он жил затем, можно было до самого последнего времени слышать от местных жителей рассказы, часто нигде не приводившиеся, о войнах против Наполеона и других событиях царствования Александра I. Шли они от Федора Кузьмича.

Уверяют, что один бывший придворный служитель, а также случайно встретивший Федора Кузьмича отставной солдат признали в нем императора Александра I. Ходили также слухи, будто старец сказал своему духовнику, что совершил смертный грех — принимал участие в убийстве своего отца.

В 1858 году томский купец Хромов пригласил его жить к себе, и тот поселился у него на заимке.

У Хромова 20 января 1864 года и скончался Федор Кузьмич. Он был очень стар. Двадцать семь лет до этого прибыл он в Сибирь, а было ведь ему уже тогда лет под шестьдесят.

Перед смертью старец подозревал Хромова и, указывая ему на мешочек, висевший на стене, сказал: «В нем моя тайна».

Старца похоронили на томском кладбище. На могиле его Хромов выстроил небольшую часовню. Он же поставил крест с надписью:

«Здесь погребено тело Великого и Благословенного старца Федора Кузьмича».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Читатель, вероятно, спросит: считает ли сам автор исчерпывающим доказательством тождества Александра I и Федора Кузьмича те новые данные, которые им здесь были приведены? Нет, конечно, ибо эти данные не имеют документального характера. Но их совокупность? В конце концов тоже нет. В таком случае как можно объяснить, что множество лиц, в правдивости которых не приходится сомневаться, свидетельствует, и при этом столь авторитетно, в пользу так называемой «легенды»?

Постараюсь представить такой ход событий, который, подтверждая официальную версию, одновременно давал бы на этот вопрос какой-то правдоподобный ответ.

Император умирает далеко от столицы. Как уже было отмечено, его смерть, принимая во внимание обстоятельства, которыми она сопровождалась, естественно, должна была вызвать всевозможные толки. А тут еще время тревожное, в армии заговор и т. д. В Таганроге нет всех необходимых средств для балзамирования (на это есть указания). Оно производится неудовлетворительно, и черты императора меняются до неузнаваемости. Еще повод для слухов. Проходят годы. Становится известно о таинственном старце Федоре Кузьмиче. На сибирских купцов и крестьян этот старец производит потрясающее впечатление своей величием и славой и образованностью. После его смерти легенда созревает. Современников Александра I почти нет в живых. Проверить, что было в Таганроге, нет возможности. И вот даже представители династии охватывают сомнения: а вдруг этот отшельник и был Александром I? Производятся расследования, встает даже вопрос о вскрытии гробницы в Петропавловском соборе. Легенда ирреальна своей красотой, в нее хочется верить. В дальнейшем поверившие в нее или желающие во что бы то ни стало поверить бессознательно запоминают из того, что они слышали или знают, лишь такие намеки и указания, которые подкрепляют их веру, и так же, так сказать, бессознательно в передаче им известного превращают слухи в якобы точно установленные факты.

Удовлетворительно ли такое объяснение? Не слишком ли оно искусственно? Можно ли такое большое число показаний (пусть, вероятно, частично и неточных), при этом столь категорических и обстоятельных, свести к следствию некоего, все же весьма необыкновенного, самовнушения? Пусть судит читатель.

Тайна императора Александра I не раскрыта. Буде он не умер в Таганроге — доказать это (поскольку недоступны нам документы, vorhandene в СССР) есть, быть может, надежда, работая над выяснением следующих трех вопросов:

1) Действительно ли оказалась гробница Александра I пустой (опять-таки документальное свидетельство, по-видимому, могло бы исходить лишь от советских властей, и уже это обстоятельство затруднит для нас разрешение этого первого вопроса)?

2) Какова степень вероятности так называемого английского следа?

3) Каково содержание записки, оставленной Федором Кузьмичом: его «тайны»?

Хочу, однако, привести еще одно соображение. Большевики опубликовали множество документов, некогда в высшей степени секретных. Но о Федоре Кузьмиче они ничего не опубликовали. Между тем, несомненно, в советской России имеются о нем документы. Если бы тайна Александра I была всего лишь легендой, очень вероятно, они бы их предали гласности. Но, конечно, они вряд ли бы пожелали дать неопровержимое доказательство того, что один из русских императоров действительно удостоился сияния святости.

"ЮНОСТЬ" в 1994 ГОДУ

Журнал "Юность", который в будущем году отметит свое тридцатидевятилетие, - красочное издание, рассчитанное на самого изыскательного читателя.

Традиционные и новые имена в прозе.

Рассказы из "аксеновской" дюжины (знаменитый в прошлом мастер рассказа **ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ**, отдававший в последние годы предпочтение роману и повести, вновь возвращается к любимому жанру), а также - часть третья "Московской саги".

ЮРИЙ НАГИБИН выступает с рассказами и эссеистикой.

Молодой писатель **ШАМИЛЬ ГАЛЕЕВ** представляет повесть "КАЙФ ИНОГО РОДА".

Молодой писатель **НИКОЛАЙ ИСАЕВ** предопределяюще назвал свою повесть "ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ".

Молодой писатель **ВАЛЕРИЙ РОНЬШИН** в своих рассказах обращается к опыту отечественной мистики.

ЛЕОНИД БОРОДИН, строгий лирик и вечный борец за справедливость, осмысливает историю Отечества. Об этом его новый роман.

НИКОЛАЙ УЛЬЯНОВ. "СИРИУС" - роман о последних годах царствования Николая Второго и крушении русской империи.

АЛЕКСАНДР РОДИН. "ВОПЛЬ" - повесть об Иисусе Христе.

ГЕННАДИЙ КРАСУХИН. "ДВА ДНЯ В СЕНТЯБРЕ" - повесть о Сталине.

ЛИДИЯ ЛИБЕДИНСКАЯ - "СТАРАЯ МОСКВА" - книга воспоминаний.

На страницах "Юности" всегда найдется место фантастике и детективу.

ЖЕРАР де ВИЛЬЕ. "РЕЙС 007 НЕ ОТВЕЧАЕТ" - о событиях, связанных с гибелью южнокорейского самолета.

АЛЕКСАНДР НЕМИРОВСКИЙ. "ДЕЛО КЛУЕНЦИЯ" - античный детектив.

Историческая новелла: **Ж. СЕСБОРН, Х. ПАЧЕКО, Де САД.**

ДОМ ПОЭТОВ: БУЛАТ ОКУДЖАВА, ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР, ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ, ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ, ВЛАДИМИР СОКОЛОВ, БОРИС ЧИЧИБАБИН, ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ.

СТАНИСЛАВ РАССАДИН представляет биографию поэта "ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ МАНДЕЛЬШТАМ".

ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ, поэтесса и гуманист XX века, "БИБЛИЯ И РУССКАЯ ПОЭЗИЯ" - очерки о "стансах" русской поэзии - от Тредиаковского до Блока.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ:

БОРИС ЗАЙЦЕВ. Эссеистика.

АЛЕКСЕЙ СКАЛДИН. Стихи, семейные фотографии, Статья "ЗАТЕМНЕННЫЙ ЛИК" о В. Розанове.

"РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ" - не застойная провинциальность, но обновление мысли, чувства, естество жизни, не замутненное уродствами цивилизации и политики. Включая рубрику "Русские люди. Жизнеописание соотечественников".

"ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ" - встречи и разговоры о поэзии жизни и воспарениях таланта.

История, религия, философия - статьи **ЛЬВА ТИМОФЕЕВА** и **ИГОРЯ АЧИЛЬДИЕВА.**

20-я КОМНАТА: интимная жизнь очень молодых людей.

ПЕРЕПИСКА: письма наших читателей друг к другу, к человечеству, в никуда.

АСТРАЛ. Есть ли жизнь на земле? Наши связи с земными и инопланетными цивилизациями.

Экспедиция **"ПО СЛЕДАМ СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА"**.

КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ - по земле, под землей, в воздухе, по воле, под водой, космические приключения.

ЖУРНАЛЬЧИК - знаменитые детские писатели, а также сами дети подготовят двенадцать забавных "журнальчиков".

ИГРАЕМ С ВАМИ. Литературная и историческая викторина с призами.

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ. Вы встретитесь с **АРКАДИЕМ АРКАНОВЫМ, ГРИГОРИЕМ ГОРИНЫМ, ВИКТОРОМ КОКЛЮШКИНЫМ.**

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Подписаться на Ваш журнал "ЮНОСТЬ" Вы можете в любое время и в любом отделении связи
- без ограничений

Индекс: 71120

Дешевле всего Вам обойдется подписка в редакции

Напоминаем адрес: Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 2/1

ПРИХОДИТЕ!



Фото Леонида Шимановича

«В КАЖДОЙ КЛЕТКЕ КРИСТАЛЛЫ ЛЬДА»

Что писать о поэте? Дар слова — вещь непростая, особенно если замешан он на «тюрьме и суме». Тяжела жизнь поэта, а в тюрьме — так и того солонее. Но, как ни странно, как раз там, «в местах не столь отдаленных», душа становится живее тела, душа встает во весь рост, душа парит, даже если и плачет при этом кровавыми слезами. Весь человек, человек бытовой, сиюминутный, одномоментный, мелочный, чванливый, бранчливый, гадкий, хваткий, как бы загоняется внутрь, да еще запирается на замок: не высывайся, я тебя! А вместо него на свет Божий выпускается душа, как некий добрый молодец Илья Муромец, сидевший тридцать лет и три года сиднем, а у некоторых еще да в темнице.

Да, в таких местах люди общаются только душами, иначе нельзя. Там проверяется, кто ты такой на самом деле, выворачивается, проступает наружу вся твоя суть, вся твоя сущность. И не у всех души высокие да статные, есть и похуже. И кривые, и хромые, и безголовые попадают! Каких только нет!

Общение душами Там требует от человека иных навыков, нежели в обыденности. Откровения и откровенности, отчаяния и отчаянности, боли и слез, пота и крови.

Леонид Бородин. Прозаик. Он же поэт. Он, находившийся за забором с колючей проволокой. Он, видевший прутья решетки между собой и свободой. Судьба. Страшное и веское.

Леонид Бородин явился одним из тех писателей-диссидентов, которые в 60—70-е годы попали в немилость к жестокой государственной машине. Потому что не так мыслили, не так чувствовали и вообще все делали не так, как было тогда дозволено. За это поплатились. Как результат — два лагерных срока: первый — с 1967 по 73-й год, второй — с 1982 по 87-й (был прерван перестройкой). Восемь лет жизни, проведенных в аду, по ту сторону жизни. Восемь лет тяжкого подневольного труда, страданий, унижений, борьбы за самое элементарное существование. А может быть, эти годы не потеряны, может быть, отданы становлению души, не преломившей колен, и выпусканию ее на волю, возвращению для борьбы с силами зла?.. В случае с Леонидом Бородиным, пожалуй, так оно и есть. Не потерял он эти годы, нет. Он вырастил, вскормил, открыл ее, свою душу, и преподнес в дар Родине, России.

Плачет поэт стихами. Книга «Изломы». Прочтем же некоторые стихи из этой книги и проникнемся мукой и болью автора, поплачем же вместе с ним, но обретем взамен капельку надежды, а она всегда есть в стихах Леонида Бородина, она не умирает даже последней.

Людмила ОСОКИНА,
литературный секретарь гостиной.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

18 августа в кабинете главного редактора нашего журнала открылась Литературная гостиная. Организатор и ведущий гостиной поэт Юрий Влодов пригласил первого гостя — поэта Тимура Зульфикарова. Начинание всем понравилось, его решили продолжить, возвести в традицию. Следующим приглашенным в гостиную стал поэт и прозаик, человек трудной судьбы — Леонид Бородин. Сейчас Леонид Бородин является главным редактором журнала «Москва». В прошлом же, в таком недалеком прошлом, все было иначе.

Леонид БОРОДИН

* * *

Зияющая ночь покрывалами мрака
Плотно окутала остов тюрьмы.
Где-то под стенами воет собака,
Воет, проклятая, а логоае тьмы!

Кем-то натасканая, кем-то паучена
Злобе неистовой, лязгу клыков!
Много доверено, много поручено
В крепости этой иотому волков.

Но лишь болезненным, желтым инокоем
Ночь разожжет во дворе фонари,
Совесть собачья отчаянным воем
Давит ей глотку до самой зари.

И захлебнуться мне в радостном плаче,
Чашу возмездья глотая до дна,
Если завьли бы с ней по-собачьи
Все, кто натаскавы так, как она!

* * *

Ночь из холода, деиь из холода,
В каждой клетке кристаллы льда,
Синим ииеем мысль промолота
И подморожена на года.

Подморожена, припорошена
Болью, злобою, скукой дией
Перегружена, перемиожена,
Чтoб отчетливей и больней...

Все молчание, да не золото —
Без раскаянья, без стыда.
Деиь из холода, иочь из холода,
В каждой клетке кристаллы льда.

* * *

Я завтра кончаю с этим!
Я завтра иду в нобeт!
Да будь посылнее, аетер!
Да будь посылнее, снег!

Мне завтра всего дороже
Метель да сосняк в бреду!
Но даже по свежей пороше
Я все равно уйду!

И пусть подсчет усталость
В ста метрах зубами в снег!
Чего там! Ведь жить осталась
Всего на один побег!

Я завтра кончаю с этим!
Я завтра еще смогу
Оставить на белом свете
Хотя бы следы на снегу...

* * *

Мы с детства в Русь вколдованы —
Лишь помни и носи!
Но судьбы уготованы —
И нет нам той Руси!

То к худшему, то к лучшему?
Кому про то ясней?
По Пушкину, по Тютчеву
Знакомились мы с ней!

Сквозь песни молодецкие
Мы ищем нашу Русь!
Нам бабки досоветские
Вложили эту грусть!

Но тропы опечатаны!
Не тронь! Не воскрес!
Последние внучата мы
Несбывшейся Руси!

Русь

Хмельная в ухарском раздолье!
Не я посеял — мне не жать!
Но от печали и от боли
Не убежать! Не избежать!

Я не такой тебя хочу,
И будь я правый, будь я вольный,
Я предпочел бы кумачу
Печальный гомон колокольный!

Но в полдень, новизной уставший,
Паду лицом и дурман-траву!
Я весь в ушедшем и не ставшем,
В том, до чего не доживу!

Вот так неправый и невольный!
А то, что есть, тому ли быть?
Разноголосый, колокольный
Не услышать, не уловить...

* * *

Мне Русь была — не словом спора!
Мне Русь была — судья и мать!
И мне ль русского простора
И русской доли не понять,
Пронетой чуткими мехами
в одно дыхание мое!
Я сын Руси
с ее грехами
и благодатями ее!

Но нет отчаянья предела,
И боль утрат не пережить!
Я ж не умею жить без дела,
Без веры не умею жить!

Без перегибов, перехлестов,
Без верст, расхлестанных в пыли!
Я слишком русский, чтобы просто
Кормиться благами земли!

Знать, головою неповинной
По эшафоту простучать!
Я ж не умею вполаину
Ни говорить и ни молчать!

Земля родная!
Ради Бога,
Храни меня теперь и впредь!
Чтоб мне по глупости до срока
Впустую не перегореть!

* * *

Я путь продолжаю отчаянный свой,
Но шаг уж нетверд и нечеток...
Все так же этапы...
Все так же конвой...
Все так же узоры решеток...

Холодные ночи,
Случайные встречи
И долгие серые дни...
Под тяжестью ноши
Сутулятся плечи,
И гаснут...

и гаснут огни...

И только лишь в окнах
Беснуемые ветры
Да мертвые в мертвой пыли
Стучат,

и стучат, и стучат

Километры
Отмеренной в метрах
земли...



ЗВЕЗДА ГОЛЬБЕЙНА



Ганс Гольбейн стоял на Лондонском мосту, широко расставив ноги и чуть выставив вперед свою крепкую, почти квадратную голову, обрамленную аккуратной бородой. Отяжелевший от дум и от горя, он внимательным, почти суровым взглядом всматривался в мертвое лицо Томаса Мора. Живописец болезненно ощущал свою плотную, короткую шею. Таковую же, как и у Мора. Последний, кладя голову на плаху, посоветовал палачу: «Шея у меня коротка, целься хорошенько».

И вот голова бывшего лорда-канцлера королевства выставлена на Лондонском мосту, а художник Гольбейн пришел к своему другу на последнее свидание. Здесь сразу же следует перебраться из века XVI в XIX и выслушать слова благородного Крамского о Гольбейне: «Нигде нерв не дрогнул. Он как будто пожертвовал сердцем». А что ему оставалось. Искусство всегда произрастало из почвы цинизма и отрешенности.

Лилась кровь, шли бесконечные войны, княжества сносились, племена оплевывали племена, политические перевороты уничтожали законность, случайные люди диктовали многим условия жизни, а искусство благополучно и равнодушно произрастало. Певцы пели, художники рисовали, писатели корпели за письменными столами. Цинизм здравого смысла водил их перьями. Более того, все эти оформители человеческого духа охотно склонялись перед властью имущими, лебезили, шаркали ножкой. Они были верными жрецами высокого искусства, которое требовало, чтобы древо его росло, разветвлялось, вечно зеленело.

То было время, когда убить себе подобного было не зазорно, а достоинство защищалось кулаком и кинжалом. И великий Гольбейн, а прошедшие века подтвердили, что он был замечательным живописцем, рисовальщиком и графиком, не избежал общей участи. То он дерется с золотых дел мастером, то спускает с лестницы английского графа. Он рискует в меру, зная, как ценит его король. Когда графа на носилках приносят к последнему, Генрих VIII изрекает почти афоризм: «Из семи мужиков могу сделать семь графов, но из семи графов я не могу сделать Ганса Гольбейна...» Король прав, к тому же он продемонстрировал свою королевскую власть. Гольбейн ему нужен больше, чем граф, и это становится законом.

Три счастливых года живет Гольбейн в Англии у Мора, автора знаменитой «Утопии». На пиру Мор показывает его картины королю. Когда художник приезжает в Англию в очередной раз, Мор уже в немилости за то, что обличает своевольные действия короля. Томас Мор мешает королю — и необходимость его казни становится непреложным законом. О чем думает Гольбейн у мертвой головы своего друга? Оставит ли он свои надежды стать придворным живописцем короля?.. Нет, он приложит все усилия, чтобы быть таковым. Великий Молох искусства требует жертв. И Гольбейн охотно приносит эти жертвы, тем более что они недурно оплачиваются: 30 фунтов получает придворный живописец

и еще — роскошную мастерскую.

Однако не забудем, что Гольбейн — друг Эразма Роттердамского, всевропейского ума, чьи книги тогда расходились невиданными тиражами — десятками тысяч; чье слово повторялось как заклинание. Он нашел в девятнадцатилетнем Гольбейне блестящего иллюстратора своей «Похвалы Глупости». Художник был захвачен парадоксальными откровениями книги.

Оказывается, монархи не любят правды и больше жалуют «невежественных и тупых». И король может быть презренным рабом.

Оказывается, «Глупость» создает государство, поддерживает власть, религию, управление и суд».

Оказывается, все зло в человечестве от человека: «бедность, тюрьма, позор, бесчестие, пытки, мятежи, интриги, злословие, тяжбы, обманы...»

Оказывается, первые пособники злу — разумники — «мастера превращать черное в белое, из одних и тех же уст выпускать поочередно холод и жар...»

Оказывается, что далско не безгрешны сановники церкви.

И надо всем властвует презренный металл — деньги, деньги, деньги!

Книга захватила Гольбейна, и он одним духом набросал на ее полях первые иллюстрации — прелестные и насыщенные тонкой иронией. Император со своим жезлом стоит как пастух, потерявший стадо. Воинственный папа схож с ландскнехтом. Спорящие богословы, что торговки на базаре...

Книга — и первое знакомство с далеким Мором, ибо в предисловии Эразм обращается именно к нему: «Милому Томасу Мору — привет».

Гольбейн уже не мог представить себе мира без Эразма и без «Похвалы Глупости». Он создает портреты своего великого учителя. Резок могучий профиль — Эразм за конторкой, пишет, наслаждается мыслью, сосредоточен, собран. Даже его руки, которые художник неоднократно рисовал, охраняют драгоценности собранных слов. Скептический ум отпечатан на лице писателя и философа. Тень иронии скользит по лицу и смягчается отсветом доброй улыбки. На втором портрете выразительные длинные пальцы ласкают книгу; угловатое лицо, насыщенное колоссальной нервной энергией, улыбается саркастически... Когда художник в последний раз рисует Эразма — это почти памятник. Старый, грустный, как всегда задумчивый, мыслитель стоит в проеме богато украшенной арки, положив руку на голову римского бога границ Терминуса, чье изречение: «Я ни перед кем не отступаю» — стало девизом Эразма.

Эразм много сделал для Гольбейна. Когда он видит, что в Базеле, где живет художник, победившая Реформация стягивает петлю на шею свободного искусства, пишет рекомендательное письмо к Мору. «Утопию» художник читал и даже воспроизвел сцену книги, расписывая зал одного базельского дома. Мор оценил Гольбейна и назвал его впоследствии замечательным человеком. Значит, они часто говорили. Зна-



Портрет купца Георга Гизе. 1532 г.

Ганс ГОЛЬБЕЙН. Младший.
(1497—1543)



Мадонна из собрания бургомистра Якоба Мейера. 1526 г.

Портрет мужчины в шляпе. 1528 г.



Портрет мужчины с лютней. 1536 г.



Портрет Эразма Роттердамского. 1523 г.

чит, Мор не мог не повлиять на художника. Писал же Эразм, что, если бы Мор попросил его «сплести под аккомпанемент рожка, я бы это сделал тут же!»

Мор, служивший королю, по сути, был отчаянным республиканцем. В «Утопии» все решает народ. Начала безразличности Мор видел в частной собственности и предлагал из золота делать ночные горшки и кандалы. Но превыше всего философ ставил Бога: «смотреть сперва на Бога, а потом на короля» — и полагал весь христианский мир единым телом. Предоставляя народу власть под благословением Божиим, Мор проповедует только всеобщий мир, выступая против насилия и анархии. Он — противник Реформации, рушащей единство христианского мира. Гольбейн рисует целеустремленное лицо «человека всех времен», взыскующего мыслителя, жаждущего только правды и жадно устремленного навстречу жизни. Кроток, но и невероятно могуч Мор. Убедительно его лицо доброго человека, который не мог детского «плача снести», но одновременно не мог предать свои убеждения даже во имя спасения жизни.

Как хотелось Морю надеяться на нового короля — литературно и музыкально образованного, интересующегося богословием. Обольщаясь, писал Мор: «День этот рабства конец, этот день — начало свободы». Ну что же, Генрих VIII умножил количество виселиц вдоль дорог Англии и повесил 72 тысячи бедняков. Гольбейн рисует короля, «вестника свободы», разряженным в пух и прах (модели его одежды он, кстати, сам и создавал), разукрашенным жемчугами и сапфирами, массивно-самоуверенным, не без некоей приятности в лице, но крайне подозрительным. Маленькие умные глазки презрительно смотрят с мясистого, отечного лица. Величие и тиранство настолько выразительны в фотографически верном портрете, что каждый придворный, натолкнувшись на него, «пугался, так как всем казалось, что и голова и другие части тела двигаются, как в натуре».

Как сурово распоряжается жизнь, ставя на службу самодуру и убийце своих жен такого нравственно чистого, исполненного высоких помыслов человека, как Мор... Но у короля много и иных слуг. И среди них — Кромвель. Какого прекрасного королевского пса рисует Гольбейн. Неглуп и цепок Томас Кромвель, ждущий приказа и заведомо злой. Не размышляя, ринется он по воле своего господина и вцепится мертвой хваткой.

Настало время, когда свет Мора стал мешать королю. Самодержцы великолепно видят и в темноте.

Гольбейн рисует Мора в неловко сидящей на нем одежде канцлера. Мор грустный и неистовый в своих мыслях. Спокойны лишь его «крестьянские» руки...

Король спустил с цепи Кромвеля, и последний настиг Мора.

«Как будто вместе с Мором умер я сам», — сказал Эразм.

Читая приговор королевского суда, не знаешь, чему дивиться более — жестокости, рабелству или природной человеческой тупости: «...влачить по земле... повесить его так, чтобы замучился до полусмерти... отрезать половые органы, вспороть живот, вырвать и сжечь внутренности... Затем четвертовать его».

Король неистовствовал, что его канцлер умер «с насмешкой».

«Всякое паршивое найдет свое поганое», — возможно, думал немец Гольбейн, склоняясь в низком поклоне перед английским королем. Он знал: придет время, смерть явится и за королем. Разве не звучат проповеди справедливости и равенства «Пляски смерти»? Равно пугаются при ее появлении папа, епископ, король. Герцогиню смерть стаскивает с кровати, перед рыцарем является в образе крестьянина... А незадолго до этой сцены Гольбейн создает картину, у которой князь Мышкин восклицает: «...у иного еще вера может пропасть!» В устрашающем изысканстве мертвой наготы как обличение человеческого произвола — мертвый Христос — запрокинутое лицо с остекленевшим глазом и разинутым ртом. Гордая даже в ужасе смерти человеческая плоть Сына Божьего...

Гольбейн отчетливо понимает, что в мире, куда его выбросила судьба, деваться некуда. Эразм и Мор открыли ему безбрежные дали ума и совести, но в дне сегодняшнем не

в этих людях, как руководителях человеческого общежития, нуждается общество. Король, придворный, сановник церкви, богач — вот фигуры, вокруг которых вращается и государственность, и свобода. Ум рошчет, кровь бунтует, но абсолютно трезвый здравосмысл диктует художнику стиль поведения. Логически стройные конструкции его портретов, абсолютно ясные и предельно объективные, выказывают сверхвнимательность, тающую грозную взрывчатую силу.

Гольбейн пытается показать тиету человеческого существования, а значит, и бесцельность войн, раздоров, революций любого пошиба. Отсюда «Пляски смерти» в страшно мертвый Христос. Художник намекает на равенство или даже преимущество сирых и убогих. Он рисует Христа с утопленника, а Мадонну с базельской гетеры. Мы не знаем, как он реагировал на Крестьянскую войну в Германии, но вряд ли ему могли понравиться те реки крови, которые потекли после ее подавления. Во всяком случае, смерть на его гравюре провожает крестьянина в последний путь с уважением и даже сочувствием. Но Гольбейн не из тех, кто замалчивается плетью на обух, а может быть, он верит в Высшее предназначение и покоряется неумолимому ритму истории, которая становится таковой после того, как все события совершатся. К тому же не забывайте, что он еще сравнительно молод и не вступил в возраст сомнений и раздумий над итогами, которых могло быть больше, если бы... Всего сорок шесть исполнилось художнику, когда чума пресекла его жизнь. А пока он — придворный живописец и не пренебрегает благами жизни. Современник завистливо замечает, что он одет «в шелк и бархат», имеет собственную лошадь и пр. Да что говорить, еще Эразм подписал под рисунком юного художника, где был изображен эпикуреец — выпивоха и бабник, — «Это — Гольбейн».

Гольбейн жадно всматривается в лица современников.

Французский посол сьер де Моретт — поистине шекспировский типаж. Лицо Моретта, оваянного войнами и дипломатическими хитросплетениями, изгладано страстями. Он появляется на портрете, как демон XVI века, остерегайся, лукава, ничего не обещающая и что-то тая. Он появляется, и вздрагивают от тревоги и восхищения и женщины, и бывалый удалец. Посмотрите на его руку в красивой перчатке, как уверенно охватила она позолоченный кинжал. Моретт покажет себя приятнейшим собеседником, ценителем искусства, но потребует — убьет этим кинжалом. И все же заметно читается налет печали на его лице — ни во что не верит Моретт.

Но кто особенно пошатнул веру Гольбейна в идеалы Мора, так это Годсельвы. На первый взгляд видим мы спокойно-добропорядочных людей. Но не так уж однозначен старый нотариус Том Годсельв. Крепкое, обветренное лицо, добротная одежда, уверенность и достоинство. За внешней грубоватостью и якобы откровенностью просматривается хитрая энергия человека, который своего не упустит. Не станет лишне терзаться и всегда примет сторону сильного. В отличие от Томаса Мора Годсельв приемлет действительность такую, какою она дадена. Портрет парный, Годсельвы стоят в очередь друг за другом. Уйдет старший; младший, еще отличающийся юношеской мечтательностью, займет его место и станет подобным своему отцу.

А жестокий рок продолжает преследовать героев его портретов. В 1536 году отрубают голову красавице королеве Анне Болейн. Ее живое лицо с очень сочными губами и сияющими глазами под небольшим выпуклым лбом до сих пор глядит на нас с портрета работы Гольбейна...

Все умеет Гольбейн. Писать картины, создавать графику и рисунки, расписывать залы, преобразить внешний наряд домов, набрасывать эскизы ювелирных изделий и даже лепить из воска. Перечитывает ли он «Похвалу Глупости» и «Утопию»? Хотелось ли бы ему, человеку с горящей кровью и умом вынужденного реалиста, жить в стране Утопии, где Мор видел себя бессменным правителем? Беспощаден его взгляд, сверхобъективны кисть и карандаш. На золотом фоне его герба — черная бычья голова с кольцом в носу. Стоит ухватиться за это кольцо — и бык беспомощен. Между рогами быка — звезда. Это звезда таланта, чьей беспощадности всегда был верен Гольбейн.

БИБЛИЯ И РУССКАЯ ПОЭЗИЯ

Беседы



ВСТУПЛЕНИЕ

— Оправдываться будете на Страшном суде, — насмешливо говорил мой отец, когда кто-нибудь из близких или знакомых начинал занудно и не очень убедительно объяснять причину своего опоздания, или невыполненного обещания, или неблагоприятного поступка.

«Страшный суд»! Я не понимала смысла этих высокосторжественных слов, но они невольно западали в память.

И остались там. В восьмом классе, когда ученики в обязательном порядке учили наизусть «Смерть поэта» Лермонтова, отроческое внимание зацепили строки:

Но есть и божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный судия: он ждет,

Он недоступен звону злата,

И мысли, и дела он знает наперед...

Так в далекие и, по общему мнению, атеистические времена смутное представление о чем-то высшем, чем привычное, изредка всплывавшее в разговорах взрослых (того-то осудили; я еще не знала, что имя осужденным — легион; а того-то оправдали), коснулось моего сознания.

Что знали школьники 50-х о пророках? Если иметь в виду библейских пророков, Амоса, Исайю, Иеремию, вестников Царства Божия, чьи книги включены в Ветхий Завет, то ничего. Но входили же в хрестоматии стихи Пушкина и Лермонтова с одинаковым названием, хотя и противоположным содержанием. Помните у Пушкина:

Встань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполни волею моею

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей.

Лермонтовский пророк выглядит иначе. От победоносного глашатая Бога, носителя высшей истины, не осталось и следа. Правда, тварь земная ему покорна, звезды его слушают, радостно играя лучами. Но венец тварного мира, человек, знать не хочет никакого пророка. То-то он торопливо пробирается через «шумный град». Увы, роль отвергнутого пророка, угаданная Лермонтовым, слишком знакома нам по истории отечественной поэзии двадцатого века...

...Смотрите ж, дети, на него:

Как он угрюм, и худ, и бледен!

Смотрите, как он наг и беден,

Как презирают все его!

Думаю, очень удивилась бы, узнай я вовремя, что великие наши поэты черпают вдохновение в некоем вековечном источнике. Что образ «И угль, пылающий огнем, Во грудь отверстую вонднул» не изобретен гением Пушкина. Вот

что написано в 6-й главе «Книги пророка Исайи»: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис. 6, 6—7).

В годы, когда я училась, не принято было докапываться до истоков, даже если исток — Книга книг: Библия. Как будто Пушкина может умалить то, что он припал к этому первоисточнику!

Судьба сложилась так, что поэзия стала делом моей жизни, моей профессией (впрочем, мне всегда было стыдно на вопрос «Кто вы по профессии?» отвечать: «Я — поэт!»). Естественно, я интересовалась, скорее рано, чем поздно, опытом предшественников. Уже окончив школу и институт, впервые не «проходила» поэтов, а останавливалась, чтобы всмотреться попристальней, хотя бы в любимых. Не «сдавала» их оптом и в розницу, а оставляла «для внутреннего употребления». И так называемые классические поэты сыграли со мной вот какую шутку: они расчистили поле для веры, когда со всех сторон шел натиск в лучшем случае равнодушия, а чаще безверия...

Беседа первая.

БИБЛИЯ И ТРЕДИАКОВСКИЙ, СУМАРКОВ, ЛОМОНОСОВ

В середине позапрошлого века вышла книга «Трв оды». Авторы од, каждый на свой лад, перелагали 143-й псалом, который любой заинтересованный может найти в Псалтири. Почему Псалтирь, книга Ветхого Завета, повествующая о событиях до рождения Христа, нередко помещается под одной обложкой с Новым Заветом, вместе с Евангелиями, Посланиями Апостола Павла, Откровением святого Иоанна Богослова (Апокалипсисом)?

Нам трудно даже представить, что значила Псалтирь для наших предков. Самая читаемая на Руси книга! По Псалтири учились грамоте! Начавшая создаваться за тысячу лет до Рождества Христова, она удивительно близка духу Евангелий.

150 молитв, составляющих Псалтирь, приписывают древнееврейскому царю Давиду, хотя известно, что у них были разные авторы. Нередко царя Давида изображают с чем-то вроде арфы. Это «мицмор» на библейском иврите, «псалтерий» по-гречески. Отсюда в Псалтирь.

Псалом — благодарение человека Создателю, твари — Творцу. В житейском обиходе слово «тварь» приобрело чуть ли не уничижительное значение. На самом деле тварь — это все, что сотворено, «божеское создание, живое существо, от червячка до человека» (словарь Даля). Отсюда и «тварный мир» — выражение философское, богословское, без которого нам не обойтись, хотя обещаю не загружать свои беседы слишком «заумными» словами.

Когда в церкви слышен возглас: «Всякое дыхание да хвалит Господа! Аллилуйя», — это наивысшая степень благодарения Создателю от всего тварного мира. Так звучит последняя строка 150-го псалма... За что люди должны благодарить Мiroзrателя? За то, что дело Его — слава и красота: в славе и красоте создал Он этот мир для любования человека. За то, что Он долготерпелив и многомилостив, возлагает на нас бремя, но и спасает от него, путеводит нас

¹ В нынешних изданиях печатается «Есть грозный суд: он ждет». Не входя в текстологические споры, привожу былой, многим известный вариант.

в правде, хранит простодушных, знает тайны сердца, поражает врагов наших. За то, что для Него тысяча лет, как день вчерашний, что правда и суд — основание престола Его, что в конце времен Он будет судить вселенную по правде и народы — по истине своей.

(Я не ставлю кавычки, но почти все слова взяты из псалмов.)

Благодарение, молитва, покаяние — вот другие названия псалма. Тех, кто захочет узнать о псалмах побольше, отсылаю к содержательной книге Г. П. Чистякова «Тебе поем...», вышедшей в издательстве «Знание» в 1992 году.

143-й псалом, переложением, или парафразисом, которого занимались 240 лет назад три известнейших поэта, не столь уж знаменит, хотя речь в нем идет, увы, о жгуче злободневном: псалмопевец просит Господа избавить его «от руки сынов иноплемennых». Он не входит в Шестопсалмие, что читается в церкви во время утренней службы. Но есть в нем одно место, от которого сжимается сердце.

«Господи! что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что Ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению; дни его — как уклоняющаяся тень. Господи! Приклони небеса Твои, и сойди; коснись гор, и воздымятся. Блесни молниєю, и рассеяй их; пусти стрелы Твои, и расстрой их. Прости с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплемennых, которых уста говорят суетное, и которых десница — десница лжи».

Конечно, это поэзия чистой воды, но не только! Это и четкая философская позиция. Древний мудрец не принижает человека, как, может быть, подумают некоторые, на чьем сознании отпечатались пропагандистские клише недавней поры. Он просто понимает: Творец и тварь несоизмеримы. И еще: Создатель не безразличен к своему созданию. Он «знает» каждого из нас; на каждого «обращает внимание».

Да, псалмопевец молит Бога о помощи в брани с иноплемennиками, вероятно, жестокой, до победного конца. Придет Христос и скажет: «Любите врагов ваших» (Мф. 5,44). Не забудьте, однако: до Рождества Христова еще тысяча лет! Но вернемся к сборнику «Три оды». Василий Тредиаковский, самый косноязычный из трех одописцев, создаст то, что мы назвали бы «вольным переводом», хотя мысль великого предшественника сохраняет в неприкосновенности и даже усиливает повтором:

Боже! кто я, нища тварь?

...Как? О! как могу быть царь?

Александр Сумароков, знаменитый в свое время лирик, сатирик, драматург, держась оригинала, виртуозничает, ибо знает свою власть над словом:

Правитель бесконечна века!

Кого ты помнишь! человека.

Его весь век как тень проходит:

Все дни его есть суета.

Как ветер пыль в ничто преводит,

Так гибнет наша красота.

Кого ты, творче, воспоминаешь!

Какой ты прах днесь прославляешь!

Разожженный от негаснувшей искры, стих Михаила Ломоносова вздымается упрямим костром:

О боже! что есть человек?

Что ты ему себе являешь,

От твари больша быть вменяешь,

Которого толь краток век.

Он утро, вечер, ночь и день

Во тщетных помыслах проводит;

И так вся жизнь его переходит,

Подобно как ночная тень...

Поглощенных неисчерпаемым содержанием псалма и его переложениями, нас едва ли особенно заинтересует, что все три оды писались как бы на конкурс: участники сборника доказывали друг другу преимущества разных стихотворных размеров, Тредиаковский — хорей, Сумароков и Ломоно-

сов — ямба (ямба — писалось тогда).

Еще страстнее и куда более лично звучит у Тредиаковского «парафразис» псалма 6. Как раз шестой входит в Семь псалмов, известных в свое время (во всяком случае, на Западе) каждому мирянину, а не только монаху, твердых наизусть даже теми, кто плохо знал латынь.

Приведу то место из псалма, что, на мой взгляд, особенно удалось переложателю:

«Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие; ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое; Господь примет молитву мою».

Тредиаковский:

**Очи с плача иомутились,
От врагов весь сокрушен;
Пагубно в себе озлились,
К ненависти уклонились;
Я надежды уж лишен.
Отступите от меня, лукавцы:
Богом вопль услышан мой.
Отступите все тщеславцы
И вы, лжи за правду давцы,
Злобе преданны самой.
Бог уж от меня молитву
Милостивым слухом вял;
Презираю вашу битву,
Лестницы в сетех ловитву:
Бог моление принял.**

Пожалуй, только слово «ловитва» (ловля, охота, преследование) требует объяснения. Остальное понятно, и, главное, понятно, как не терпелось поэту излить душу через псалом.

Было, было на что и на кого жаловаться Василию Кирилловичу, из-за чего омыwać ложе свое слезами.

Он написал многие тысячи строк; трактаты, в том числе «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» — неуываемый гибрид учености и собственного поэтического опыта, вечно свежий плод, подаренный всем нам, пишущим и читающим стихи, на века вперед; без конца переводил. Выбился в придворные поэты, профессор элоквиции (красноречия).

При Анне Иоанновне был бит «палкою по голой спине», сначала 70, а потом для ровного счета еще 30 раз. Как можно разглядеть в тумане истории, за некоторую заминку с согласием вышолнить «социальный заказ»: написать оду на потешную свадьбу шути и «шутяхи» (не путать с фронтаном!), для коих строился всем известный по роману Лажечникова «Ледяной дом». Екатерина II изоощряла на нем свое остроумие.

Тредиаковского я вижу первым в длинном ряду русских поэтов, вечных страдальцев, вечных тружеников, вечных искателей истины. На плечах у него шуба с барского плеча (как ужасно аукнулась она через полтора с лишним века в судьбе Мандельштама, тоже осчастливленного шубой, но уже не битого, а убитого временщиками), под душным мехом болят и чешутся рубцы от палочных ударов. А в пальцах, заскорузлых от гусяного пера, невидимый миру «псалтерион». Пересказывая на русский лад столь любимые им псалмы, Василий Тредиаковский обретает проникающую древнего пророка и мужество человека, осознавшего, что он — образ и подобие Божие...

(Продолжение следует)

СЕМЬ ПОРТРЕТОВ НА ФОНЕ ВРЕМЕНИ

ШЕРЕМЕТЕВЫ — 300 ЛЕТ

Человек подобен воде, а время — соуду, форму которого человеку приходится принимать. Оно неизбежно подчиняет себе человека, а власть государственная усугубляет это подчинение. Под колесами державной колесницы иные гибнут, иные пытаются ее остановить. Но наиболее дальновидные сторонятся, наблюдая бег той колесницы, и при этом сохраняют свою собственную манеру поведения. К таким отнести можно род Шереметевых — один из замечательнейших родов русской истории. Историческая литература изобилует их именами, их называют «мужами войны и совета», служителями культуры и просвещения. Да, это так, следы трудов их — в Останкине, в Кускове и на Сухаревке, в Воронове, в Фонтанном доме в Петербурге и в Остафьево...

Несколько лет назад, познакомившись сперва с одним, потом с другими потомками Шереметевых, изучив не только открытые, но и частные, семейные архивы, я задалась целью проследить влияние времени на представителей этого рода на протяжении трех столетий. Так получилась серия портретов на фоне времени. Что может человек? Где и в чем его сила? Как сопротивляется он времени? Что оставляет за собой? На эти вопросы невольно возникали ответы при знакомстве с материалом. На них найдет ответы и вдумчивый читатель.

(1652—1719) Борис Петрович Шереметев

«Судить царя, исполняя его требования, не допускать вольностей или прямолинейности, снисходить до недостойных выходов есть мой долг; но не судить царскую кровь».

Из формулярного списка:

«Граф Борис Петрович Шереметев, 67 лет, Генерал-Фельдмаршал, Тайный Советник и орденов Св. Апостола Андрея, Мальтийского, Польского белого и Прусского черного Орлов кавалер... Пожалован из стольников в бояре в 1682 г. Получил титул ближнего боярина и Наместника Царского в 1684 г. Пожалован Генерал-Фельдмаршалом в 1701 г. Награжден Графским достоинством с предоставлением оного и его потомкам в 1706 г...»

В 1709 году он одержал над войсками короля Шведского многие победы и 27-го июня отличился примерно своего храбростью на Полтавском сражении и получил контузию, пробившую его рубашку, после сего сражения со всею пехотою и частью конницы отправлен в Ригу, которую осадил и взял оную на капитуляцию, торжественный же въезд имел 12 июля 1710 года. В 1711 году против турок при Пруте он находился главнокомандующий армией, где показывал неустрашимость свою; по окончании кампании он находился с войсками в Польше, в Померании и Мекленбургии и возвратился с корпусом в Россию...»



Петр I не любил бояр и родовитого дворянства, он любил людей молодых, энергичных, горячих. И тем не менее приблизил к себе Шереметева, который не отличался ни взрывчатой силой Меншикова, ни деловой практичностью Апраксина, к тому же был много старше царя.

Борис Петрович основателен и осторожен, неспешен и умен, мог быть непроницаемым и высокомерным, а мог очаровать разговором, красотой и любезностью. Царю он писал: «...Сколько есть во мне ума и силы, с великою охотою хочу служить, а себя я не жалел и не жалею». Однако на войне Борис Петрович не исполнял слепо приказаний царя, а поступал, сообразуясь с обстановкой. Трудно поначалу было воевать с опытными шведами, а Шереметев избрал тактику выжидания. Царь требовал скорейшего наступления под Нарвой, но тот не спешил, оправдываясь неблагоприятными обстоятельствами: «И я оттуда отступил не для боязни, — для лучшей целости и для промыслу над неприятелем; с сего

места мне свободно над ними искать промыслу и себя остереечь».

А через год, уразумев методы Карла XII и подобрав десять новых драгунских полков, генерал смело повел свое войско по глубокому снегу, к тому же под рождество, когда шведы предавались беспечному веселью. Пять часов длился бой, и Шереметев наголову разбил Шлиппенбаха, неприятель бежал. Можно было преследовать врага дальше, захватить много добычи, однако его принцип — избегать лишней потери в людях и в лошадей: «... нельзя было итти — всемерно лошади все стали, а пуще снега глубоки и после теплыни от морозов понастыло, где лошади увязнут — не выдеретца».

Все свои силы Б. П. Шереметев сосредотачивает на подготовке к сражению, «чтобы людей было довольно», чтобы вели их в бой толковые командиры. Если присылают неспособных дворян, аттестует их решительно и жестко, не глядя на чины и сословия: один «стар и увечен», другой «несносно дело свое правит», у третьего «сухотная болезнь».

Царь и его подданный... Много поводов для раздумий на эту тему дают отношения Петра I и Шереметева.

Борис Петрович — сильный, мужественный человек. «Боярд» — называет его Петр, то есть надежный, благородный. Однако фельдмаршал сохраняет с царем официальные отношения, не опускается до фамильярных, дружеских обращений, как Меншиков или Апраксин. А попадая в компанию молодых сподвижников царя, Борис Петрович избегает буйных застолий, не поклоняется «Ивашке Хмельницкому», не участвует в веселых разгулах.

Детство и юность провел он в Киеве, учился в духовной академии, изучал греческий и латынь, знал польский; знаком был с будущим Дмитрием Ростовским — священником Тушало. Впитал в себя и европейские знания, и вместе с тем он, именитый боярин, имел прочные московские корни, любил

древние обычаи, так что в нем отлично уживались Восток и Запад. С иноземцами имел дело и в Киеве, и в военных походах, широко принимал новшества, откуда бы они ни шли, ежели были в пользу. Смолodu не нося бороды, удивлялся, как «из-за такой малости», как борода, длина кафтана, бояре могут упрямыться и отвергать петровские реформы.

Говорят, судьба улыбается победителям — к Шереметеву она была благосклонна. Когда происходят дворцовые бури — заговор царевны Софьи, стрельцкий бунт, казнь стрельцов, — каждый раз его нет в столице, он либо в военном походе, либо ведет дипломатические переговоры за границей. На войне бросается в самую гущу боя (куда деваются его осмотpительность, медлительность!), и судьба опять оберегает его от ударов. Но однажды чуть не погиб в дороге. Навестил родных, семью, большую жену в Москве, а на обратном пути, возле Торжка хмельная компания из чужеземцев в русских матросов напала на шлафвагон фельдмаршала.

«Отроду такого страху над собою не видел, — писал Борис Петрович, — где ни обретался против неприятеля. А ехал безлюдно, только четыре человека денщиков и четыре извозчика... А русские, которые с ними были, матросы и извозчики, никто не уступался. А я им кричал, что вас перевешают, если вы меня дадите убить». Пьяные матросы разбушевались, вытащили боярина из саней, приставили к груди его пистолет и ... выстрелили. Вот тут-то вновь улыбнулась Шереметеву судьба — пистолет дал осечку. Письмо свое потерпевший закончил так: «Сие истинно пишу, безо всякого притворства. И что ласн и руган и рубаху мне драли — о том не упоминаются». Нарва, Мариенбург, Эрестфест... И Астраханская экспедиция 1706 года (бунт на Волге) — самый печальный его год. Воевать с возмнившимся о себе Карлом — одно, другое — с собственным народом, да к тому же еще под надзором согладатая, посланного Петром. Разладились и отношения с царем. Лишь в полтавский год снова вернулось прежнее понимание, царь снова благоволит к своему фельдмаршалу, называет его искуснейшим полководцем. Более того, в Полтавской баталии Б. П. Шереметев назначен главнокомандующим; Петр начертал: «Поручаю Вам, господин фельдмаршал, армию мою и надеюсь, что в начальствовании оною поступите Вы до точности предписания, Вами данного...» Не прошло и двух лет после Полтавы (в семье долгое время хранилось седло Карла XII, захваченное фельдмаршалом в бою), как снова война, — неумоимый царь отправляется в Прутский поход: у турков-османов скрывается Карл XII. В том походе Петр I впервые по-настоящему растерялся — еще немного и он попал бы в мышеловку. Что делать? Он готов на любые уступки, готов даже отдать взятые с великими трудами Азов и Таганрог. Не доверяя, однако, царю, турки потребовали заложников: сына Бориса Петровича полковника Михаила Шереметева, а также Петра Шафирова (тот был когда-то переводчиком у Шереметева, за сметливый ум царь приблизил его к себе и сделал потом вице-канцлером).

Около двух лет просидели пленники в Семибашенном замке в Стамбуле. Когда же истек срок и они уже возвращались домой, Михаил Шереметев в пути скончался и «препровожден был мертвым до Киева и погребен в Печерской обители». Так принесен был в жертву на алтарь Отечества сын фельдмаршала. Кончина многообещающего старшего сына была тяжким горем для отца. Он стал хворать и помышлять о пристани, об удалении на покой, в родной Киев.

«Государь мой, Федор Матвеевич, — писал он Апраксину 7 октября 1714 года. — При сей оказии вашему высокографскому сиятельству, за самую мою несносную и претяжкою сердечною болезнью, донести не имею, кроме того, что при старости моей сущее несчастье постигло, ибо соизволением Всевышнего сын мой Михайло умер в пути от Измаилова к Бендеру сентября 23 числа; от которой своей жалостно сердечной болезни едва дыхание во мне содержится, и зело опасаются, дабы внезапно меня, грешника, смерть не постигла, понеже все мои составы ослабли и владеть не могу. О протчем пространнее надеюсь В.С. быть известным от господина капитана Пискорского». Фельдмаршал в великой

печали, он даже хочет уйти в монастырь. Но к этому не готов император: уйти в монастырь тому, в ком воплотились лучшие боярские черты, кто снискал уважение народа, солдат? Царь этого не допустит!.. И в один прекрасный день в своем дворце Петр рассадил в разных комнатах нескольких красивых женщин и повелел, чтобы граф выбрал себе одну из них в жены. Борис Петрович выбрал Анну Петровну Нарышкину, урожденную Салтыкову. Это была вдова Льва Кирилловича Нарышкина, по существу, тетка царя. К Шереметеву приходят семейное счастье, относительный покой и еще более громкая слава. Современник пишет о нем: «Он самый важный человек своей страны и весьма научившийся вследствие своих путешествий, он в своей обстановке и в образе великолепен. Солдаты чрезвычайно любят его, и народ почти обожают... Он наслаждается здоровою старостью свыше 60 лет, хорошим сложением, почестями и личною доблестью». Другие отмечают особое благородство графа, воспитанность, галантные манеры, а также знание иностранных обычаев. К примеру, на похоронах Лефорта многие бояре держали себя беспорядочно, Шереметев же, сопровождавший иностранных гостей, счел ниже своего достоинства предаваться обжорству наравне с другими.

Трудно сказать, чего более было в благородном поведении графа: православия ли, нравственной основы, или влияния мальтийских рыцарей? (Известно, что путешествие Б. П. Шереметева на Мальту, знакомство его с законами рыцарей-госпитальеров, их девизом милосердия и помощи страждущим [странноприимым людям] сыграли немалую роль в формировании взглядов семьи.)

Впрочем, отношение Петра I к фельдмаршалу недолго оставалось ровным, доброжелательным, — закончилось оно полным охлаждением императора. Борис Петрович перестал быть угоден Петру. Как пишет Сергей Дмитриевич Шереметев, во-первых, года его были уже большие, он не мог, как прежде, быть неумоимым воином, во-вторых, во взглядах своих не мог до конца следовать в «позднейших уклонениях» царя, хотя сочувствовал его преобразованиям. Разногласия их сперва проявились в делах с Меншиковым. Темперамент Меншикова, его ревнивое чувство к Петру, зависть к «породным» сыгpали тут свою роль. Когда Меншиков и Шереметев вели общие военные действия, последний не раз выражал желание сложить с себя командование, но царь не позволял тому случиться.

«Тайный военный Совет, — говорит современник, — состоит из Царя, князя Меншикова, фельдмаршала Шереметева, боярина Федора Матвеевича Апраксина, боярина Никиты Моисеевича Зотова, Государственного канцлера и вице-канцлера Шафирова. Если же Царь и Меншиков не присутствуют, то председательствует фельдмаршал Шереметев, причем присутствует еще несколько знатных бояр. Он редко принимает какое-нибудь решение, потому что ему хорошо известно, что в случае счастливого исхода Меншиков станет завидовать, если счастливый исход и похвала за него не будут приписаны его приказаниям и разумным мероприятиям. В противном случае вместо награды можно ожидать немедленного преследования, так как князь не может перенести, чтобы кто-нибудь попал в милость Царя иначе, чем при его посредстве и по его воле, чтобы он во всякое время мог бы его свергнуть, если бы тот настолько укрепил свое положение, что не нуждался бы в милости князя. Если же решение имеет неблагоприятный исход, то это как раз соответствует намерениям князя, который всеми средствами старается низвергнуть знатные и высокопочитаемые народом роды и возвысить своих».

Тут следует заметить, что все трое: царь, фельдмаршал и Меншиков, — оказались очень сложно связанными еще и «по женской линии». Марту Скавронскую (будущую Екатерину) Шереметев взял в плен при осаде Мариенбурга, она служила у него в доме; Меншиков же, увидав ее, с немалым трудом уговорил фельдмаршала отдать ему «прачку», а потом она попала к царю. Тут были свои последствия, — по видимому, Екатерина более защищала интересы Меншикова.

Характером и определенностью своих воззрений фельдмаршал не шел за Петром так, как Меншиков, и как бы хотелось царю. При всем сочувствии и содействии преобразо-

вательной деятельности царя он не принадлежал к огульным порицателям прошлого, с которым были неразрывно связаны годами своими и бытом, семейными крепкими преданиями и твердостью взглядов. У Петра было по отношению к нему странное чувство недоверия, которое бывает иногда к людям самостоятельным... И все же главной причиной охлаждения императора к Шереметеву стало дело царевича Алексея. Описание его Сергеем Дмитриевичем открывает некоторые новые подробности этой трагедии, их нельзя миновать. Он пишет, что бывший флота поручик Захар Мешуков, «быв на едином пиришестве с Государем в Кронштадте и напившись несколько пьян, стал размышлять о летах Государя... и вдруг заплакал. Удивился Государь, возле которого он сидел, о текущих его слезах любопытно спрашивал причину оных. Мешуков ответил: что размышляя о деяниях его рук и примечая, что здоровье его, государя и благодетеля, ослабевает, не мог от слез удержаться, прилагая притом простою речью: «На кого ты нас оставишь?» Ответствовал государь: «У меня есть наследник», — разумея царевича Алексея Петровича. На сие Мешуков спяну и неосторожно сказал: «Ох, ведь он глуп, все расстроит».

В начале 1718 года Петр Андреевич Толстой привез царевича в Москву из Италии. 3 февраля последовало торжественное его отречение от престолонаследия в пользу сына Екатерины царевича Петра Петровича (он родился в 1717 году). На другой день начался страшный «Кикинский розыск», окончившийся только в Петербурге в июне 1718 года... В апреле казнены за преступление Степан Глебов и Александр Кикин, который прежде был в великой милости у государя.

Шли допросы и розыски. Царевич Алексей показывал то на одного, то на другого соратника Петра. «В главной армии Борис Петрович и прочие многие из офицеров мне друзья, — признавался он. — Борис Петрович говорил мне, будучи в Польше, не помню в какое время, при людях немногих моих и своих: напрасно-де ты малого не держишь такого, чтобы знался с теми, которые при дворе отцова; так бы де ты все ведал».

В народе ходили легенды о сношениях царевича с фельдмаршалом. «Разносились слухи, что царевич уехал с Борисом Петровичем Шереметевым неведомо куда и что Донские казаки просят большого царевича». По свидетельству царевича, его поддерживали слова князя Долгорукого (Василия), говорившего: «Давайте родителю вашему столько, сколько потребует отречения». Долгорукий говорил: «Улита едет, когда-то будет», — и полагал, что царь не примет решительных мер.

«Надеюсь, что Вашему Величеству приятны будут мои доклады, — пишет неизвестный из Москвы 26 марта 1718 года, — я посылаю еще этот, чтобы проследить всю эту трагедию до казни самой виновных. Уже семь лет продолжается заговор (следовательно, с 1711 г.) в пользу царевича. Заточенная в монастырь царица, главное действующее лицо, вместе с сестрой царя, обе подстрекаемы архиепископом Ростовским. Он обещал первой, что вследствие его молитв царь умрет в течение двух лет, и за это был крайне награжден. По истечении двух лет царица напомнила ему о его обещании, на что он ответил, что видел отца царицы в аду до горла, а его грехи замедляют смерть царя, и что он старается освободить его оттуда силою духовной панацеи, которая и есть молитва. Через год он сообщил царице, что отец ее поднялся до пуга, что... помогло вытащить его до колен. Но когда он принялся вытаскивать его совершенно; Е. В. прибыло в этот город и помешало этому. Нашлось несколько писем, в которых увещевал принцесс не оставлять великого дела, и при обыске его нашлась мужская голова, только что отсеченная. Между тем в виду этой слабой надежды был уже составлен план нового образа правления, когда царевич вступит на престол. По первому параграфу должны были быть посажены на кол 5 человек: фельдмаршал Шереметев, князь Меншиков, Шафиров, Ягузинский, имя пятого забыл, и убиты все немцы в пределах империи...» К арестованному царевичу представлены 12 человек солдат и один офицер. К княжне Голицыной приставлена также стража. Князь Долгорукий снова брошен в оковы, которые уже были

сняты с него, потому что опухли ноги... Хотели отнять у Шереметева начальство.

По поводу отречения царевича Алексея С. Д. Шереметев приводит слова де Бис: «Позволю себе почти положительно утверждать, что все русские, к какому бы сословию они не принадлежали, разделяют эти чувства, нет ни малейшего сомнения, что, пока жив царь, все будет иметь вид покорный и послушный, но, если царевич Алексей будет жив в то время, когда царевич Петр не достигнет еще известного возраста (малолетний сын Петра I), можно предвидеть, что Россия будет подвергнута большим волнениям. Страшнее всего, что здоровье царя шатко, и что наследник престола царевич Петр весьма слабого сложения, и нельзя рассчитывать на продолжительность его жизни. Ему теперь 1½ года, но он еще не говорит и не ходит и постоянно болен...»

Приговор по делу Алексея произнесен 24 июня 1718 г. и первая подпись на нем: «Александр Меншиков». «Когда все члены суда заняли свои места и все двери и окна были отворены, дабы все могли приблизиться, сидеть и слышать, царевич был введен в сопровождении четырех унтер-офицеров и поставлен против царя, который, несмотря на душевное волнение, резко упрекал его в преступных замыслах. Тогда царевич с твердостью, которой в нем не предполагали, сознался, что хотел возбудить восстание по всей России, что если царь захотел бы уничтожить соучастников его, то ему пришлось бы истребить все население страны. Он объявил себя поборником старинных нравов и обычаев, так же как и веры, и этим самым привлек к себе сочувствие.

В эту минуту царь, обратясь к духовенству, сказал: «Смотрите, как зачерствело его сердце и обратите внимание на то, что он говорит. Соберитесь после моего ухода, спросите своего совести!»

Царевич, оставшийся во все это время спокойным и являвший вид большой решимости, был после сего отвезен обратно в крепость».

В донесении де Лави французскому министерству говорится: «Царевич Алексей, сын Петра, о котором много говорили, заключен два дня тому назад в крепость, уверяют, что со времени его возвращения между бумагами государственных преступников нашлись письма, из которых оказалось, что он замышлял против жизни своего отца; мне передавали, что в прошлую субботу царь позвал его в сенат и там, обнимая его, сказал: «Я тебе отец, а ты мне сын; как же ты, несчастный, хотел меня убить?» — «Вот, — прибавил он, — доказательства», — и показал ему бумаги. Царь не мог удержаться от слез и, после того как сын просил у него прощения, передал его епископам и прочим духовным лицам, чтобы судить его преступления как можно умереннее». Процесс начался 13-го и кончился 24 июня — члены верховного суда подписали смертный приговор Алексею, однако на нем нет подписи ни фельдмаршала Шереметева, ни его брата Владимира. Щербатов об этом пишет: «Борис Петрович суд царевичев не подписал, говоря, что он рожден служить своему государю, а не кровь его судить, и не устроились гневу Государева, который несколько времени на него был, яко внутренне на доброжелателя несчастного царевича».

Фельдмаршал не поехал в С.-Петербург на заседание Сената, остался в Москве. Здоровье его было расстроено, но к расстройству здоровья прибавились сильные душевные муки: он не мог взять на душу свою такой грех, как участие в смертном приговоре царевичу. Но он и страдал от холодности Петра, она была настолько велика, что граничила с опалой. Последние годы Шереметев провел в Москве, в доме на Никольской, в приходе Троицы в Полях и в другом доме, где была церковь Жен Мироносиц...

После вынесения приговора, 26 июня царь отправился «в сопровождении сенаторов и епископов и с другими знатными персонами в замок и вошел в комнату царевича, — пишет Вильбоа. — Вскоре после того маршал Вейде вышел и приказал мне идти к М. Беар, доктору, лавка которого была близко, и приказал сделать лично им заказанную сильную порцию (strong potion), ввиду того, что царевичу очень худо.

Когда М. Беар узнал о причине моего посольства, он побледнел и высказал испуг. Его тревожное состояние меня

настолько поразило, что я спросил: что тому причиной? Но он не мог мне ответить.

В это время маршал прибыл в том же расстройстве, что и дрогист, сказал, что ему следовало бы поспешить, так как царевич сражен ударом. Тотчас же дрогист дал ему серебряный кубок с крышкой. Маршал лично снес его в комнату царевича, качаясь на ходу, как человек выпивший.

Спустя полчаса царь удалился с видом самым грустным. Тотчас же маршал мне приказал остаться в комнате царевича и в случае надобности предупредить его немедленно. Я нашел двух врачей и двух местных хирургов. Дежурный офицер был с нами. Вскоре призвали врачей, чтобы идти к царевичу, который падал из конвульсии в конвульсию [конвульсии в подобном случае — признак стрихнина]. Он испустил дух к пяти часам дня...

В публике был пущен слух, что он умер от страха, после чтения приговора о смертной казни. Немногие поверили его естественной смерти, но опасно было говорить, что было в мыслях».

Таков рассказ свидетеля, англичанина. Он проще и правдоподобнее многих других вариантов, носящих мелодраматический характер, — так резюмирует С. Д. Шереметев. Далее он приводит слова из дневника путешествий Корба: «Смерть царевича, последовавшая в прошлый четверг, была объявлена народу на следующий день. С этою смертию несомненно погибла семья возмущения и заговор, ибо этот несчастный царевич был во главе заговора».

Царь поверил рассказу сына и простил его, заливаясь горячими слезами, причем плакали и все присутствующие. Несчастный царевич признался, что если по милости Божией поправится от болезни, то не желает жить, сознался, что достоин смерти и, чувствуя ее приближение, просил, чтобы помолились о его душе. Когда царь удалился, то царевич послал за ним, прося его возвратиться. «К чему? — возразил Петр. — Я уже простил его». Барон Шафиров убедил его исполнить просьбу сына, но, идя к нему, он встретил посланного с известием, что тот уже умер. На следующий день тело его было вынесено в собор: гроб был покрыт золотой и серебряной парчой, а лицо оставалось открытым, так же как и рука».

Советник посольства Саксонского Лефорт в отчете, находящемся в Дрезденском архиве, указывает, что в день смерти царевич получил трижды удары кнута. «Он вероятно отдал дух под третьим наказанием. Другие говорят, что он был отравлен... Уже это разнообразие реляций говорит, что он погиб не своей смертью, как то делается всегда во время неожиданной кончины лица высокопоставленного... В пользу реляции менее жестокой выдвигают, что Петр Великий подобно тому, как он повелел судить и осудить сына — точно так же публично исполнил бы приговор — если действительно такое решение им было бы принято».

Как бы то ни было, событие совершилось и вместо Алексея Петровича царевичем объявлен Петр Петрович».

Когда фельдмаршал не явился на заседание Сената, Петр I не поверил в болезнь Шереметева и послал в Москву нарочного, дабы тот привез фельдмаршала в Петербург. Но нарочный отписал царю, что граф хворый, что «ножная болезнь до самого пояса и дыхание захватывает», а сам граф жаловался на «знатный ущерб сил». Однако потомок фельдмаршала, знавший историю не по документам (да и что такое документ, разве отражает он всю историю?), был уверен, что болезнь та была в некотором роде дипломатической: в споре между нововведениями Петра и стародавней Русью Шереметев занимал свою позицию и не желал осуждать Алексея.

Сегодня бы мы назвали его позицию центристской. Вероятно, это самая правильная позиция, хотя и самая трудная для воплощения. Шереметев готов служить Богу и Отечеству, но, если поступок государя расходится с высшей правдой, он предпочитает уйти в сторону, не участвовать в несправедливом деле.

Император гневался на своего старого слугу. Но тут следует добавить, что к государственному недовольству примешивалось и щекотливое личное чувство — ревность, связанная с Анной Петровной Шереметевой. Сквозь дым истории смутно просматривается эта линия; известно лишь, что

в молодые годы Анна Петровна входила в веселую компанию царя. Когда царь выдал ее за старого фельдмаршала, то думал, что сделано сие по принуждению. Однако Анна Петровна искренне привязалась к мужу, а он в союзе с нею расцвел, и царь с этим связывал нежелание Бориса Петровича являться в Петербург.

Петр не раз позволял себе скабрезные шутки по поводу того, от кого рождаются у Шереметевых дети. Фельдмаршал скрепя сердце с достоинством отвечивал. Однако когда в феврале 1719 года фельдмаршал скончался, Анну Петровну преследовал ее «неблаговидными выходками», а в порыве крайней необузданности извлек оскорбительными намеками. Женщина недюжинного характера, она решительно и смело ограждала себя от упреков. Семейные предания даже связывают раннюю смерть Анны Петровны (в 44 года) с тем сложным клубком отношений, которые возникли между Петром I и графиней Шереметевой: «Мы не знаем, чем болела была Анна Петровна, когда так рано скончалась, но знаем несомненно, что недоброежелательство ее не пощадило после кончины ее мужа, перед которым многое смолкало».

Словом, царь немало досаждал фельдмаршалу, но зато... Зато он устроил ему грандиозные похороны. Не важно, что граф завещал похоронить себя в Киеве, рядом с сыном, — царь этим пренебрег. «Ради государственного интересу» он похоронил своего верного слугу в Александро-Невской лавре, а траурное шествие возглавил сам.

Зато: он оплатил долги фельдмаршала, рассудил тяжбу вдовы с приказчиком Кудринным. Откуда, спрашивается, долги у человека, который всю жизнь провел в шатрах, на биваках, от молодости до старости выполняя указания неутомимого царя? Увы! — как говорим мы сейчас, — «слухи о его великих богатствах сильно преувеличены». К примеру, за Полтавскую баталию граф получил лишь одну деревню. Он не был богат, и вообще русская аристократия медленно и постепенно наращивала свой капитал и умела легко с ним расставаться.

Поневоле жил и воевал Шереметев — поневоле и похоронен...

Был он полководцем ярко выраженного национального типа, весьма напоминал будущего Кутузова, много помышлял о ценности человеческой жизни, о провианте и лошадях, оттого и обожаем был своими солдатами... Стал основанием могучего древа, распространившего свои корни на много лет и десятилетий... Древа, источающего ценнейшие соки: душевную цельность и ясность, твердость в словах и поступках, здравомысленное отношение к миру, открытость истинного православия, трезвость и благородство...

Корни его питают не только потомков, но и всех нас.



ПРИБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ Старейшее информационно-рекламное

агентство
"ОЛВИ"

поможет Вам быстро приобрести
квартиры и особняки
в центре Москвы,

коттеджи, дачи и садовые участки

в Московской области и прилегающих областях

Тел. 251-27-29, 251-46-84, 184-84-94

В БОГАТОЙ СТРАНЕ — БОГАТЫЕ ЛЮДИ

Интервью с президентом Российского Благотворительного Центра, президентом Ассоциации деятелей культуры «МУЗЫ СВОБОДЫ» Борисом БЕЛЕНЬКИМ взято 23 сентября 1993 года в первые дни «переворота», когда он занимался комитетом по защите реформ. Это наложило отпечаток на его ответы.

— Как соприкасался журнал «Юность» с вашей судьбой? Что вспоминается при упоминании его названия?

— Я журнал «Юность», как и все молодые люди в Советском Союзе, читал с юности, живя при этом в ближнем зарубежье, на Украине. Это был один из самых популярных журналов. Мы знали о том, что происходит вокруг журнала, поскольку на страницах это отражалось. Мне в «Юности» нравилось все, это был какой-то живой, динамичный журнал, там были откровения музы, симпатичный спортивный обзор, «Зеленый портфель» с очаровательной Галкой Галкиной. Журнал был интересный, и я его, к сожалению, перестал встречать. Очевидно, потому что с печатью сейчас вообще тяжело, а это трудности не творческие.

— Расскажите читателям немного о себе. Кем вы были до того, как стали общественным деятелем. Как вы им стали? Что помогало, а что мешало?

— Закончил филфак университета, работал на телевидении — после окончания Высших режиссерских курсов. В качестве режиссера. Стал лауреатом конкурса телевизионных фильмов в 1981 году за картину «От колыбели на всю жизнь». Это фильм о детских домах. В то время это была еще запретная тема — только что прошла Олимпиада и страна готовилась к фестивалю молодежи и студентов. Встреча с ребятами и особенно с теми, кто их воспитывает, меня поразила. Такое легло на душу, а потом — по Фрейд — воздействовало на мое подсознание при создании благотворительного общества. Мое восхождение было бы невозможно, если бы шли мы тоталитарным путем. И еще в 1981 году я понял, что пора отделяться от государства. Сейчас имею отношения с государством на уровне налогового инспектора, мне это вполне достаточно. Скоро должна состояться встреча президента с деятелями культуры. Я приглашен на встречу, и для меня она представляет интерес, потому что сегодня единственно возможное решение то, что делает сейчас Ельцин. Это антиконституционно, но конституция-то брежневская, социалистическая, а строить несоциалистическое общество по социалистической конституции — все равно, что проводить реконструкцию дома, не разрушив ни одной стены. Самое главное — сохранять спокойствие.

— Для читателей было бы интересно узнать, за чей счет осуществляется благотворительная деятельность вашего Центра и какое в этом ваше непосредственное участие, как президента?

— Мы поняли, что ждать откуда-то помощи не придется, поэтому сразу при Центре образовали коммерческие структуры. У нас тесные связи с фирмой «Тойота» и другими японскими фирмами. Чем солиднее фирмы, тем лучше. Мы почти не имеем дела с нашими ребятами, они еще не научились работать честно, так, как это делают там. Здесь еще класс Б, а там уже высшая лига. Поэтому работать с ними гораздо эффективнее, что и делают наши коммерческие структуры. Они зарабатывают деньги, но мы их не тратим, мы их вкладываем. Я убежден, что, передав деньги Шукинскому училищу, мы их вложили не просто так. Поддерживая культуру, мы поддерживаем себя.

— Как человеку, близкому к финансовым кругам, вам должно быть ясно, куда несет Россию рок событий и какое будущее ожидает ее?

— Мне кажется, что Россия должна пройти между двух скал, которые зажали ее челн: это с одной стороны — посткоммунизм, а с другой стороны — национал-фашизм.

Надо проскочить, и мне кажется, что такие лидеры, как Шумейко, Гайдар, Борис Федоров, с этим справятся. Нужно набраться президенту Ельцину мужества. Достаточно средств и возможностей у него, чтоб сохранить перспективу. Страна как бы поделится на два возрастных лагеря, с одной стороны — семидесятилетние марзматики, и мне их очень жалко... Мы, кстати сказать, очень много помогаем Совету ветеранов войны и труда. Это несчастные люди, вся жизнь которых перечеркнута, проведена в палатках, как в песне того периода: «Это даже хорошо, что пока нам плохо!» А богатая страна на самом деле — это страна, где живут богатые люди. Очень простая аксиома. Граждане России смогут стать богатыми. Надо сделать так, чтобы государство не душило налогами предприятия и частные фирмы, чтобы давало возможность им развиваться. Мне кажется, Россия выскочит из безвыходного положения, и залог этому то, что люди стали шевелиться. Вот на Российской товарно-сырьевой бирже появилась одна бабулька. Она очень старый человек, но постоянно приходит со своим ваучером на торги. Когда пик торгов нарастает к середине дня, она продает его за 10 тысяч, а когда к концу дня пик торгов снижается, покупает и делает на этом 2—3 тысячи рублей. Старый человек, но с красным флагом не бегает. Вот это и есть зачатки капитализма, это и есть настоящая биржевая игра. Только она продает не миллион баррелей нефти, она работает с ваучером и зарабатывает себе на жизнь: дай ей бог здоровья. И вот если каждый человек поверит в себя, если мы как-то вытравим из себя коммунистическое, социалистическое, большевистское мерзкое понятие, что все нужно вложить в страну и при этом ходить в рваной шинели, и вообще Павка Корчагин — самый лучший парень: умер в 30 лет, никогда в жизни не видел женщин, никогда в жизни не пил, работал, работал на страну, а в это время пировали кремлевские вожди... Страна — это моя семья. Те же самые американцы, когда стоят на пьедестале почета, смотрят на свой флаг с благоговением. Так что я с оптимизмом гляжу в будущее, потому что с оптимизмом смотрю на каждого человека, каждый может проскочить дистанцию...

— Напоследок юмористический вопрос: посоветуйте, как заработать рядовому гражданину России миллиард?

— Помните старый анекдот о Раскольникове, которого задерживает милиционер с окровавленным топором:

«Чего у тебя топор в крови?» —

«Да вот, старушку убил».

«За что?» —

«Да вот, за десять рублей».

«Ты что, с ума сошел, за десять рублей!» —

«Десять старушек — уже сто рублей!»

Вот так зарабатывать не надо. А вот пример с бабушкой, играющей на бирже ваучером, это пример идеальный. Сначала надо прислушаться к себе, в каждом человеке скрыта возможность найти свое дело. Сейчас у нас почему бизнес еще не идет? Потому что куча профанов берутся за то, чего не умеют. А если каждый будет делать то, что умеет, все будет нормально. Прислушайтесь к себе, хорошо ли у вас получается, попробуйте. Не бойтесь себя пробовать, не думайте, что вот к концу жизни все-таки стану богатым человеком на этом поприще. Американцы, да и те же самые европейцы, меняют за свою жизнь тысячи профессий, и ничего в этом нет зазорного. И еще, если говорить серьезно, нас всю жизнь, особенно в школе, учили: «Маша, будешь плохо учиться, будешь дворником или уборщицей». И все понимали, что это конец, это не жизнь. А ведь в этом нет ничего плохого. Я видел в Финляндии такую красотку, которая надела белые перчатки, фартук... в общем, в полном порядке человек. То есть мы должны уразуметь две вещи: во-первых, нужно понимать, зачем тебя мама родила, а во-вторых, ничем не гнушаться. И от родителей многое зависит. Считаю, что, если мои дети станут ассенизаторами, я насколько по этому поводу не буду переживать. У каждого своя планка. Главное, чтобы он делал это с удовольствием. А если будет удовольствие, будет и результат, будут и богатые люди...

Беседу вел
Владимир ЦАПИН

По следу Хаджи-Мурата

Оглядывая Кавказ, прежде всего видишь гигантскую цепь гор, ущелья которых служат убежищем представителям всех наций.

Александр Дюма

Моя первая поездка в страну, имя которой Кавказ, хоть и была по казенной надобности, как говорили в прошлом веке, оказалась памятной и имела любопытное продолжение. Впечатления обрушивались лавиной — одно событие затмевалось другим, впечатления, казавшиеся вчера незабываемыми, заслонялись новыми, еще более яркими и важными. К концу недели я был согласен с древними, считавшими Кавказ «троном богов». Нет, мир не знает этот край, люди еще не оценили его красоту, не приобщились к самобытности десятков народов, живущих на этой трудной и гордой земле.

«Спросите у большей части жителей Кавказа, от кого они происходят, они и сами этого не знают, с какого времени они живут в своем ущелье или на своей горе, им это также неизвестно. Но все они знают, что удалились туда для сохранения независимости и готовы пожертвовать жизнью, защищая свободу». Кому принадлежат эти любопытные строки, когда написаны? Родились они в 1859 году из впечатлений от путешествий по Кавказу великого французского романиста Александра Дюма-отца. Вдумайтесь в их глубокий смысл и поразмышляйте. А я с вашего позволения начну рассказ о событиях и встречах, которые остались в памяти от той давней поездки...

Не сомневаюсь, мой читатель, что «Хаджи-Мурат» читался и перечитывался не один раз, что в играх детства многие из нас сами были Хаджи-Муратами. В ходе поиска я ставил для себя скромную цель — в случае удачи рассказать о том, что было на Кавказе до событий, описанных Толстым, и что произошло потом, после смерти этого необычного человека, как сложилась судьба его потомков...

В октябре 1879 года Лев Николаевич Толстой занес в дневник: «К Хаджи-Мурату подробности: 1) Тень орла бежит по склону горы, 2) У реки след по песку зверей, лошадей, людей...» Но работу над «Хаджи-Муратом» Толстой начал только в середине 90-х годов. Первая пометка о горце Хаджи-Мурате, который «отстаивает жизнь до последнего», была сделана 19 июля 1896 года. Личные воспоминания о Кавказской войне Толстой дополнял материалами письменных и устных впечатлений участников тех событий. И хотя Лев Николаевич считал «Хаджи-Мурата» своим «личным увлечением», работа продвигалась медленно — уж очень противоречив был герой. «Когда я пишу историческое, я люблю быть до мельчайших подробностей верным действительности», — признавался Лев Николаевич. Есть в дневнике и такая запись: «Вчера думал очень хорошо о Хаджи-Мурате — о том, что в нем главное, надо выразить обман веры. Как он был хорош, если бы не этот обман». Именно в «Хаджи-Мурате» Толстой выразил отношение к этой «давнишней кавказской истории». Только через пять лет после последней дневниковой пометки работа над повестью была закончена. Это была десятая редакция, но и она Толстому не нравилась, работу над «Хаджи-Муратом» он продолжал еще два года. Часть повести, кстати, была написана не в Ясной Поляне, а в Гриневке, недалеко от Спаского-Лутовиново, где Лев Николаевич отдыхал одно лето. А отдыхая в Гаспре, Толстой ездил в Воронцовский дворец в Алушке, чтобы взглянуть на портрет Михаила Семеновича Воронцова — главнокомандующего русской армией на Кавказе, одного из действующих лиц повести. До самой смерти Толстой так и не передал «Хаджи-Мурата» в печать. В 1912 году «Хаджи-Мурат» был опубликован впервые по рукописи 1904 года, а в 1916 году в издательстве «Товарищества Р. Голике и А. Вильборг» издан полно с иллюстрациями Евгения Лансере. Именно Лансере двадцатидвухлетним юношей вместе с великим Репным, Суриковым, Серовым, Врубелем, Васнецовым и Левитаном иллюстрировал «Библиотеку великих писателей», которую издавали Брокгауз и Ефрон. Он работал над томом Шиллера. Позже художник иллюстрировал юбилейный трехтомник А. С. Пушкина.

К какому жанру отнес Лев Николаевич свое произведение: роман, повесть, хроника Кавказской кампании или мемуары военной молодости, а может быть, поэма в прозе или рассказ? Никакой пометки на сей счет ни в одном варианте Толстой не сделал, хотя от замысла до воплощения прошло более пятидесяти лет. Исследователи наследия Льва Николаевича назвали «Хаджи-Мурата» повестью.

Обстоятельства, предшествовавшие и случившиеся после гибели Хаджи-Мурата, требуют, чтобы мы вспомнили некоторые события повести.

«Это было в конце 1851 года» — так Лев Николаевич начинает первую главу. Но события этой драмы начали развиваться значительно раньше — с разногласий, недоверия, наконец, открытой вражды между Хаджи-Муратом и Шамилем. Жажда лидерства и власти. Гордость и тщеславие встали между двумя вождями горцев. Никто не хотел уступать. Начались интриги, ловушки, месть. Шамиль убил отца и братьев Хаджи-Мурата, захватил мать Патимат, двух жен и шестерых детей. Старшему сыну Юсуфу было 18 лет, младший, Мурат, был младенец. Семью перевезли под охрану в аул Ведена. Юсуфа посадили в яму...

Поставив этот «капкан», Шамиль стал ждать — сила и обстоятельства были на его стороне. Это был их второй, на этот раз окончательный, разрыв. Первый разлад произошел в 1835 году, когда Шамиль стал имамом. Тогда Хаджи-Мурат



ушел к русским и служил офицером милиции. Но командир крепости Хунзах полковник Лазарев, заподозрив его в тайной связи с Шамилем, арестовал его. Следуя под конвоем, Хаджи-Мурат сумел завладеть винтовкой и прыгнул в пропасть. Со сломанными ногами, убив четырех преследовавших солдат, он ушел к Шамилю. Именно с его помощью Шамиль сумел взять крепость Хунзах и нанести в 1843 году ряд серьезных поражений русским.

Хаджи-Мурат сделал в этот раз, как говорят шахматисты, цугцванг — вынужденный ход и сдался командованию русского кавказского корпуса. Он надеялся получить отряд и оружие, освободить родных и отомстить Шамилю. Ни горцы, ни русские не могли поверить, что Хаджи-Мурат, этот знаменитый и бесстрашный сподвижник имама Шамиля, сдался добровольно.

**Он скроет глущую обиду,
Глухое бешенство угроз...**

не к этому ли эпизоду адресовал нас Николай Гумилев.

«Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в чалме на папахе и в отделанном золотом оружием человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи-Мурат». Так описывает Толстой встречу командира русского отряда с горцем, первую мирную встречу, когда кинжал в ножнах, а винтовка в чехле. «Он [Полторацкий, кстати, близкий родственник Анны Керн. — В. Т.] ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбающийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное: это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, спокойно смотрели в глаза другим людям». Лев Николаевич как-то подметил: «Я в первый раз понял ту силу, которую приобретают типы от смело накладываемых теней». Именно эти «тени» дополнил позже Лансере к событиям и героям повести.

От офицера к полковнику, от полковника к генералу, от того к наместнику — главнокомандующему русскими войсками на Кавказе передавался Хаджи-Мурат. «Вечером 7 декабря 1851 года к дворцу его [Михаила Семеновича Воронцова. — В. Т.] в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черный от пыли офицер... вошел мимо часовых в широкое крыльцо... наместнического дома». Офицер привез пакет графу Воронцову от генерала Козловского о сдаче Хаджи-Мурата. «Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, удалось выманить и принять главного, могущественнейшего, второго после Шамиля, врага России». Дальше события развивались так.

«Воронцов принял [9 декабря. — В. Т.] Хаджи-Мурата, стоя у края стола... Войдя в большую комнату... Хаджи-Мурат приложил свои небольшие загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыкском наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал:

— Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови, служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим...

Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. ...глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из того, что говорил Хаджи-Мурат... И Хаджи-Мурат понимал это... Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому [Воронцову шел восьмой десяток. — В. Т.] надо бы думать о смерти, а не о войне...

Справедливости ради несколько слов об этом человеке. Сын князя Воронцова, русского посла в Англии, Новороссийский и Бессарабский наместник, с 1845 года наместник на Кавказе и главнокомандующий русской армией, фельдмаршал, граф. На Бородино был командиром дивизии, которая почти вся погибла в сражении, а сам командир вместе с другими ранеными долго лечился в лазарете, созданном в его имени. В молодости еще гвардейским поручиком он в 1803 году уже служил на Кавказе и отличился в двух сражениях с горцами.

Это был человек непоказной храбрости и рассудительности в трудной ситуации, честный, благородный и постоянный в симпатиях и дипломатичный в общении со всеми, начиная с солдата. Таков был Михаил Семенович Воронцов. Несмотря на возраст, Воронцов не раз лично участвовал в походах и сражениях с горцами, переносил опасности и лишения, за что пользовался у офицеров и солдат заслуженным уважением. Эти замечательные черты командующего кавказским корпусом следует учесть, чтобы оценить события повести Толстого.

«Скажите Шамилю, — заявил перед началом кампании Николай I, — что я сотру его в порошок». Это и был приказ императора, а главнокомандующий должен его выполнять, несмотря на бессмысленность. Тысячи русских солдат нашли могилу в чужих горах, десятки аулов мирных горцев были сожжены. Рапорт главнокомандующего фельдмаршала Воронцова императору начинался так: «Приказ Вашего Величества исполнен...». Дальше шел перечень убитых и раненых офицеров и нижних чинов, потеря орудий и имущества русской армии. Таков был Воронцов, такова правда о нем.

«Надо бы написать целую историю Кавказа, от князя Цицианова до князя Барятинского, чтобы дать объяснение той бедственной войне, которую Россия поддерживала безо всякого результата на протяжении 60 лет». К такой мысли пришел Александр Дюма, путешествуя по Кавказу.

20 декабря Воронцов написал военному министру князю Чернышову пространное донесение по-французски. Из письма следует, что Хаджи-Мурат готов служить на лезгинской линии, после того как его семья будет обменена на пленных. Наместник просил князя «повергнуть это на рассмотрение его величеству государю императору». В письме была просьба разрешить направить пленника под охраной 20 казаков в крепость Грозная.

Дальше Л. Н. Толстой пишет: «Донесение это было отправлено из Тифлиса 24 декабря. Накануне же нового, 52-го, года, фельдъегерь, загнав десяток лошадей и избив в кровь десятки ямщиков, доставил его к князю Чернышову, тогдашнему военному министру. И 1 января 1952 года Чернышов повез к императору Николаю в числе других дел и это донесение Воронцова». За 8 дней, через Кавказский хребет, через всю Россию!

При докладе, несмотря на козни Чернышова, не любившего кавказского наместника, император по просьбе Воронцова принял решение оставить Хаджи-Мурата на Кавказе. Он находился в почетном плену в городе Нухе, где комендантом был князь Тарханов.

...Шло время, наступил апрель. О Хаджи-Мурате вспоминали все реже, а обещания обменять семью на пленных черкесов не выполнялись. На его настойчивые просьбы следовали новые обещания. Тогда Хаджи-Мурат принял решение: с верными аварцами бежать в горы, ворваться в Ведена, освободить семью или умереть.

25 апреля 1852 года Хаджи-Мурат вместе с телохранителями, перебив охрану (одного застрелил, другого зарезал кинжалом, третьего тяжело ранил), бежал. Утром следующего дня их настигли между Белянджиком и Кашом и окружили. Бой был коротким — нулевым убитым. Хаджи-Мурат ранен шестью пулями. Сам он успел убить четырех и ранить шестнадцать человек. «Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает... Он собрал последние силы, поднялся из-за завала... совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромя, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал... Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь». Сломав саблю о дерево, он безоружным вышел из засады. Нет, он не шел сдаваться, он хотел умереть достойно и гордо. «Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, упал на лицо и уже не двигался...»

**Он вышел черный, вышел страшный.
И вот лежит на берегу...**

— как будто к этому случаю, писал в XX веке Николай Гумилев.

«Гаджи-Ага [бывший кунак Хаджи-Мурата, перешедший на службу к русским. — В. Т.] ударил его большим кинжалом по голове... враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-Ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову...» Так закончилась жизнь Хаджи-Мурата, одного из главных возмутителей спокойствия на Кавказе.

**И будет страшен труп забытый,
Как пес, раздавленный быком...**

Впечатление, что Гумилев был свидетелем этой страшной расправы...

Нет, голову ему отрубили позже в Закаталах, опустили в банку со спиртом и отправили в Тифлис. Полученную от Шамиля звезду князь Барятинский подарил Александру Дюма через шесть лет после гибели Хаджи-Мурата. Не остался без памятных сувениров и сопровождавший Дюма художник Муане. Он увез несколько фотографий и портрет, написанный еще с живого Хаджи-Мурата. Писатель добавляет к этому: «Я знал, что в Тифлисе найду копию его отрубленной головы». А голову Хаджи-Мурата отправили в Петербург.

Сгорчением Дюма записал в путевом дневнике: «Огромным несчастьем России на Кавказе было отсутствие единой политической линии, направленной к строго определенной цели... Иными словами, в реальных кавказских проблемах России существует столько же анархии и безалаберщины...» И еще: «Составить программу было легко, но следовать ей трудно. Легче убивать людей, нежели просвещать их: чтобы убивать их, надо иметь только порох и свинец, чтобы просвещать их, нужна некоторая социальная философия, которая не всем правительствам доступна.»

Господи! Как же все дурное имеет свойство возвращаться в нашем отечестве на круги своя...

И еще одну любопытную деталь подметил Дюма: «В России солдата рассматривают как самое несчастное существо... Русский солдат на Кавказе — веселый, живой, шутик, даже проказник... мундир для него предмет гордости... Опасность облагораживает, сближает его с начальниками... наконец, опасность веселит его, заставляя чувствовать цену жизни... Он ест черный и сырой хлеб, спит на снегу, переходит с артиллерией, багажом и пушками по дорогам, где никогда не ступала нога человека... И все это для какой войны? Для войны беспощадной, войны, не признающей плена, где каждый раненый считается уже мертвым, где самый жестокий из врагов отрубает голову, а самый кроткий довольствуется рукой».

К какой народности Кавказа принадлежал Хаджи-Мурат? Казалось бы, известно — черкес. Но это, к сожалению, ни о чем не говорит — в то время в России черкесами или татарами называли всех горцев Северного Кавказа. В повести Хаджи-Мурат говорит на кумыкском наречии. Лев Николаевич этот момент даже оговаривает: «на кумыкском наречии, на котором он хорошо говорил». Значит, Хаджи-Мурат не был кумыком, иначе зачем оговаривать, но почему именно на кумыкском, а не на родном? Если же допустить, что он был кумык, тогда кто такие кумыки? С разрешения читателя к этому мы еще вернемся в другом рассказе.

Вопрос о национальности, казавшийся вначале достаточно простым, вдруг застопорил поиск. Какая же из народностей Кавказа дала этого гордого «черкеса»? На помощь пришел мой старый друг по армейской службе — Магомет Алишейхович Алиев, ныне директор школы в ауле Аямахи. Выслушав мои затруднения с «черкесами», он посоветовал искать корни этой истории и потомков Хаджи-Мурата в Дагестане, хотя и в Кахетии, и в Чечне его тоже чтут и помнят. Но начинать поиск нужно было все-таки в Москве.

...Много лет назад выставлял Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве картины академика живописи Евгения Евгеньевича Лансере. Художник много путешество-

вал по России, Сибири, Маньчжурии и Кавказу. Рисунки кавказского цикла, наверное, сделаны *alla prima* — сразу набело, с очевидной любовью к этому горному краю и его народам. Среди них были представлены рисунки тех мест, где прошла бурная жизнь Хаджи-Мурата, натурные наброски «В сакле Садо», «Горы у аула Макхеты», «Шамиль среди мюридов», «Суд Шамиля», «Бегство из аула», «Песня Патимат» — матери Хаджи-Мурата. Видно, что Лансере искал нужные пейзажи, типичные лица, возможно, натуру для портрета Юсуфа, сына Хаджи-Мурата, или самого героя — старцев с чертами буйной и вольной молодости. Художник познакомился с кавказскими рисунками Г. Гагарина, Коррадини, фотографиями Воронцова, Шамиля и других свидетелей и участников событий того времени. Дюма в воспоминаниях записал следующее: «Первое, что обратило на себя наше внимание в большой зале, была картина, изображающая черкесского начальника, защищающего вместе со своими людьми вершину одной горы». Картина принадлежала графу Ностицу, командиру Нижегородского драгунского полка. Но что за сражение изображено, кто этот черкесский начальник? Хаджи-Мурат! Я расскажу, читатель, как это было.

Хаджи-Мурат укрепился в Картматале, на берегу Каспийского моря. Его окружили. Но Хаджи-Мурат был спокоен — у него было 800 сабель, а в родных горах он хозяин. Спешившись, драгуны, прибывшие раньше пластунов, пошли на штурм. Это было бессмысленное геройство: прежде, чем перейти в рукопашный бой, восемьдесят человек драгун погибли, а из семи офицеров погибли шесть. Командир эскадрона майор Золотухин захватил, правда, знамя Хаджи-Мурата и даже ранил его саблей, но горец тут же застрелил его из пистолета. Из атаковавших драгун только 50 остались в живых. В этом полку, кстати, служил брат Лизы Олениной, но об этом позже.

В 1912 году Лансере написал любопытный красочный портрет девочки лет семи-восьми. Яркое красное свободное платье с кружевной отделкой, на голове белая тонкая шелковая шаль, сползающая на плечи. Черные глаза опущены в смущении. Какое отношение имеет эта девочка-горянка к Толстому и к нашей истории? Оказывается, довелось художнику останавливаться в сакле потомков знаменитого горца, а та девочка — дочь Мурата, младшего сына Хаджи-Мурата. Внучка славного Хаджи-Мурата! Звали девочку Умма. Художнику с помощью Магомета, дяди Уммы, удалось убедить родных отправить ее учиться в Россию. Жила девочка в Саратове в семье Федора Платонова — внука знаменитого русского балетмейстера. Умма получала частные уроки русского языка, а затем училась в гимназии. В шестнадцать лет она вернулась на родину и стала работать воспитательницей в интернате девочек-горянок в Темир-Хан-Шуру. Позже дядя, чрезвычайный уполномоченный Дагестанского ревкома, Магомет Хирзоев настойчиво советовал племяннице и своей дочери Заире поехать на учебу в Московский университет. В 1928 году Умма Муратовна Хаджи-Мурат окончила медицинский факультет МГУ и стала врачом, первой горянкой, получившей высшее образование. В годы учебы в МГУ Умма вышла замуж за студента училища им. Баумана Николая Белова. Это была дружная, счастливая пара. Ее двоюродная сестра Заира Магометовна Хирзоева стала заместителем Председателя Совета Министров Дагестана. Кстати, столица Дагестана Махачкала носит имя друга семьи Хаджи-Мурата — Махача Дахадаева...

Одна из картин на выставке была потрясающе страшна: окровавленный, умирающий Хаджи-Мурат держится за ствол низкорослого голого дерева. Это рисунок из серии иллюстраций к повести — последняя минута жизни Хаджи-Мурата. Герой писателя и герой художника слились в один образ. Такое сродство душ писателя и художника случилось в русской литературе, пожалуй, еще только раз, когда Врубель иллюстрировал Лермонтова.

«Лансере... без всякого преувеличения... гениальный иллюстратор!.. рисунки Лансере сохраняют рядом с толстовской колоссальностью и свою значительность, свою прелесть, они не только дают тонкую и точную «справку по

ситуации» и рисуют типы действующих лиц, но, кроме того, складываются в самостоятельную песнь, прекрасно связывающуюся в могучую музыку Толстого» — так писал Александр Николаевич Бенуа о молодом Евгении Лансере. Писал на правах наставника, единомышленника и дяди. Кстати, Евгений Евгеньевич Лансере был родным братом замечательной русской художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой и внуком Николая Бенуа. Какое созвездие талантов в одном роду всего за 50 лет!

Поиск неожиданно вывел еще на нескольких интересных «черкесов». Во времена Александра Сергеевича Пушкина в «Современнике» печатался офицер, блестяще владевший русским языком и слогом. Его перу принадлежат очерк «Долина Ажигутай» и рассказ «Персидский анекдот». «Вот явление, неожиданное в нашей литературе!» — восторгался Пушкин, а Белинский, рецензируя «Современник», отмечал: «Долина Ажигутай» примечательна...» «Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей, черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно», — писал Александр Сергеевич. Кто же этот таинственный офицер-черкес? Султан Казы-Гирей, вступивший в военную службу в 1826 году рядовым, окончивший ее в чине генерала русской армии...

И еще один «черкес», родившийся через 20 лет после гибели знаменитого земляка. Он был осетин и полный тезка — Хаджи-Мурат. Сколько же бед вышло на его долю, не приведи Аллах! Участие в крестьянских восстаниях на Кавказе в 1905 году — побег в Сибирь. Рыбачья артель на Байкале, Китайско-Восточная железная дорога, где с кинжалом в руке он добывается от управляющего генерала Хорвата выплаты жалованья товарищам, — снова побег. Мексика, Лос-Анджелес, золотые прииски на Аляске. Наконец, через Гавайские острова, Японию возвращение в Россию. Участие в составе «дикой дивизии» в сражениях первой мировой войны — дважды Георгиевский кавалер. Революция — он командир эскадрона Первой конной армии, кавалер ордена Красного Знамени. Не человек, а легенда, Хаджи-Мурат нашего времени!

Осталось напомнить вам еще об одном горце, только напомним — как и Хаджи-Мурата мы знаем его с детства. Знаем и помним, так и не осознав всей глубины трагедии молодого горца. Кто он? Мцыри! Послушник, попавший случайно еще ребенком за стены горного монастыря вдали от родного аула. Была ли эта история в жизни, ведь Мцыри — это не имя, а всего лишь «монах»? Кто тот русский генерал и чем закончилась печальная лермонтовская поэма в жизни? Прочтите ее еще раз, она заслуживает этого, а я расскажу, как было в жизни.

Командующий русским корпусом на Кавказе Алексей Петрович Ермолов подобрал юношу-горца. Имени его никто не знал, а сам он был слаб, к тому же не знал русского языка. Ермолов нарек его по своему имени и отчеству, привез в Россию, воспитал и дал образование. У юноши проявился талант художника, он окончил Академию художеств. Вы видели его картины, но даже не подозреваете, что перед вами полотна Мцыри. Я оставлю вам, читатель, возможность поиска, и пусть он принесет успех.

«Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастье. Затеявая что-либо, он был вперед твердо уверен в удаче, — и все удавалось ему. Так это было, за редким исключением, во все продолжение его бурной военной жизни» — так сказано в повести Льва Николаевича. Но в тот последний раз судьба сделала исключение. Его отряд был слишком мал, а окруживших было слишком много. Холодным ноябрьским вечером 1851 года в ауле Шахет он принял решение сдаться, не зная, что в родные горы живым уже не вернется. «Вережка хороша длинная, а речь короткая», — сказал он в тот вечер. Приближается к концу и наш рассказ...

Лев Николаевич шел от событий и реальных людей того времени к полотну художественного повествования.

**«Так бросил мне кавказские ты песии,
В которых бьется и кипит та кровь...»**

— писал А. Фет с посвящением графу Л. Н. Толстому.

Художник Лансере прошел этот же путь обратно, в прошлое. На выставке Лансере был выставлен один необычный, важный для нашей истории рисунок: изображение головы Хаджи-Мурата. Рисунок был повторением зарисовки Коррадини, сделанной «с натуры» (будто бы по указанию императора Николая I голову Хаджи-Мурата доставили в Петербург). Видел ли император голову или только набросок, сведений найти не удалось. Думаю, что скорее всего Коррадини было поручено сделать рисунок для доклада царю и этим дело закончилось. А голова Хаджи-Мурата исчезла без следа...

Как же выглядит книга «Хаджи-Мурат» с иллюстрациями Евгения Лансере? Почти через 80 лет после ее выхода я расскажу вам о ней, мой читатель. На авантюре рисунок надгробного камня на могиле Хаджи-Мурата. Темно-лиловый, почти кровавый тон форзаца, на котором нанесены огромные, небольшие и совсем крошечные крылья. Орла, сокола, а может быть, это крылья ястреба из правдивой сказки, которую вспоминал Хаджи-Мурат? Может быть, художник это сделал в память об «Охоте на Кавказе», написанной братом писателя Николаем, умершим молодым от чахотки? Никому не дано знать волю художника. Очевидно одно — во всех сюжетах повести Лансере строго, до деталей, следовал за Толстым. Рука мастера работала без устали почти четыре года: акварель, масло, тушь, гуашь, кисть, перо, карандаш, картон, бумага, даже доска. Вот портрет молодого, времен кавказских событий, Льва Николаевича, вот Хаджи-Мурат с мюридами спускается с гор. Его портреты — конный и пеший, опирающийся на саблю. Жесткие, недоверчивые, пронзительные и безмятежно-добрые глаза Хаджи-Мурата...

Читатель, мне кажется, вам будет любопытен портрет Шамиля. Я заимствую его из путевых заметок Дюма — он очень похож на тот, который дал Л. Н. Толстой, описывая Хаджи-Мурата. А сам Дюма получил эти детали от русского офицера, находившегося пять месяцев в плену у Шамиля.

По внешнему виду Шамилю было около 40 лет. Сказать точно никто не мог, так как мусульмане не ведут счет прожитым годам, а внешний вид горцев обманчив. Я убежден, что во время, когда произошла встреча Дюма с офицером-рассказчиком, Шамиль был намного старше. В начале Кавказской войны, при осаде русскими крепости Гимры (в этом сражении Шамиль был ранен), он уже зрелый наив у Казы-Муллы, основателя мюридизма на Кавказе. В 1834 году Шамиль стал имамом — человеком, сосредоточившим в своих руках всю духовную и светскую власть на Кавказе. Значит, к этому времени он был отнюдь не молод и беспрекословно почитаем. В рассказ офицера Дюма внес поправку к возрасту Шамиля: 50—58 лет. Думаю, к истине Дюма ближе. Шамиль был авантюристом и принадлежал к одному из 37 родовых племен — лезги тогда занимали все пространство между реками Самуром и Койсу. Это, так сказать, предыстория к портрету Шамиля, а портрет таков. Лицо кроткое, спокойное и важное, черные глаза на бледном лице, брови резко обозначены. Ровные, мелкие зубы и красные губы, борода рыжая. Руки небольшие, ухоженные. Рост высокий, походка медленная и степенная. С первого взгляда в нем угадывался человек высокого достоинства, умеющий повелевать. К проступкам, слабостям и малодушию строг до жестокости. Умел читать и писать. Не курил сам и не разрешал никому из окружения, а на «табачные» деньги покупал порох. Носил черкеску зеленого или белого сукна, белую папаху с тюрбаном из белой кисеи. На ногах штилеты из красного или желтого сафьяна. Вооружен богатыми кинжалом и шашкой, двумя пистолетами и ружьем. На коне сидит красиво, опасные горные дороги преодолевает легко и смело. В еде воздержан до непереносимости. Обожаем детей, своих и чужих. Дети Орбелиани и Чавчавадзе за время плена так к нему привязались, что при прощании даже плакали. Своих детей имам, по свидетельству очевидцев, любил до беспамятства.

Как сложилась судьба Шамиля и его потомков? Любопытно, что она оказалась похожей на судьбу Хаджи-Мурата.

Первым к русским попал старший сын Шамиля — Джемал-Алдин. Раненный в руку, он был взят в русский плен при осаде крепости Ахульго в 1838 году и помещен в Александровский Царскосельский кадетский корпус. Затем он был переведен в Первый кадетский корпус, а позднее ему была дана возможность прослушать курс лекций в Пажеском корпусе. По окончании молодой горец был определен в военную службу и стал офицером уланского полка. Он бегло говорил по-русски, блестяще — по-французски и по-немецки. В нем открылись совершенно замечательные способности к математике. На свою и чужую беду, он влюбился в красавицу Лизоньку Оленину, воспитанницу Крылова, внучку энциклопедически образованного человека, президента Российской Академии художеств А. Н. Оленина. И, о счастье, Лиза ответила взаимностью, а ее родители благословили брак. Увы, их счастье не состоялось — у молодого горца был отец, и звали его Шамиль. Брат юноши Кази-Магома совершил в это время с лезгинцами набег и захватил обоз, идущий в Тифлис. В обозе были княгини Орбелиани и Чавчавадзе с детьми. Шамиль предложил Николаю I обмен — всех пленных за своего сына. В силу сложившихся обстоятельств царь на такой обмен согласился.

Обрусевшего, почти не говорившего на родном языке сына Шамиль приказал посадить в яму и бросать ему еду, как собаке. Такова версия Валентина Пикуля, далекая, впрочем, от истины. Шамиль вызывал к сыну русского врача из крепости, но это не помогло. Попытка Алексея Оленина, служившего на Кавказе, освободить жениха сестры не удалась, а сломленный Джемал-Алдин вскоре умер.

Историю своей несчастной любви Елизавета Петровна Оленина (в замужестве Энгельгарт) в глубокой старости рассказала племяннику Петру Оленину. Из его воспоминаний и стала мне известна трагедия этой любви. Почему так мало людей посвящено в эту романтическую историю, конец которой затерялся в бурных событиях кавказской войны? Потому, что забыть сам автор воспоминаний, русский писатель Петр Алексеевич Волгарь (Оленин). Никто в наше время не читает его любопытных книг. Были, возможно, посвящены в историю тетушки ее племянник певец П. Оленин, композитор А. Оленин, знаменитая французская певица Е. Д'Альгейм — тоже племянница Елизаветы Петровны. Но то ли они не оставили воспоминаний, то ли эти воспоминания не дошли до нас...

Сам Шамиль с упорством фаната продолжал проливать на Кавказе кровь своих единоверцев и русскую кровь. Прошло уже восемь лет, как погиб Хаджи-Мурат, а войне не видно было конца. За это упорство в борьбе с Россией Шамиль получил чин генералиссимуса турецкой армии.

25 августа 1859 года во время штурма крепости Гуниб Шамиль попал в плен к русским и наконец сложил оружие. Сначала его привезли в Петербург, а потом местом жительства для его семьи определили Калугу. Ежегодно на содержание двух его жен, сыновей и их жен, дочерей и их мужей выделялось 15 тысяч золотом из государственной казны.

Почти десять лет жило семейство Шамиля в Калуге, не давая покоя русскому правительству просьбами о деньгах и поездке в Мекку, истязало претензиями местные власти, а жителей окрестных деревень — беспорядками. На письма в адрес военного министра, которые, кстати, готовил знакомый с Шамилем еще с кавказской войны, служивший при нем переводчиком в Калуге Исая Иванович Грамов, из Петербурга следовали вежливые ответы. Вот один из них: «Светилу учености, достойному уважения Шамилю! Да будет ваша мудрость полезным примером для других...» А далее следовали полуотказы. Наконец в 1868 году игра в ироническое почтение закончилась, и Шамиль с семьей через Киев отправился в Мекку. В 75-летнем возрасте он еще раз решил проделать этот путь, но Аллах призвал его к себе — Шамиль упал с верблюда и умер. Похоронен он в Медине на кладбище Джанно-эль-Баки. Оставшийся с ним сын, Кази-Магома, жестокий фанат со злодейским лицом, стал генералом Турции и сражался в русско-турецкой войне против России.

А Магомет-Шафи, белокурый силач и добрый человек, считавшийся лучшим джигитом на Кавказе, после того как его жена от издевательств младшей жены Шамиля умерла на

седьмом месяце беременности, порвал с отцом и поступил на службу в русскую кавалерию. Он стал генералом и много раз просился у царя на турецкий фронт, но согласия во избежание братоубийства не получил. В Казани он второй раз женился на выпускнице гимназии, имел троих детей. Его сын был дружен со многими актерами русских театров, а дочь Нафисат окончила Смольный в 1913 году...

Многое, что нам известно о событиях того времени, к сожалению, полуправда, перемешанная с легендами. В XX веке о Хаджи-Мурате и его потомках, имаме Шамиле и его потомках, кроме повести «Хаджи-Мурат» Л. Н. Толстого и одного этюда В. С. Пикуля, не было написано ничего. Даже в Большой Энциклопедии даны ссылки на источники, имеющие весьма косвенное касательство к этим людям. Произошло странное: они были, оставили след в истории нескольких народов, но их вроде бы и не было. Я их помню еще из учебника истории для четвертого класса — они там были как борцы против царской тирании. Потом их тихо «замолчали» и предали полному забвению. Кому это было нужно и зачем? Прав, наверное, Оноре де Бальзак: «Существует две истории: история официальная, которую преподают в школе, и история секретная, в которой скрыты истинные причины событий».

Правда, город энергетиков, выросший рядом с родиной Шамиля через 100 лет после смерти имама, был назван Шамилькалу — крепость Шамиля...

Что же случилось с головой Хаджи-Мурата? Уже в наше время в Ленинградском анатомическом музее случайно был найден экспонат — бритая голова. Внутри банки лежала инвентарная этикетка — это была голова Хаджи-Мурата. По ней М. И. Герасимов создал скульптурный портрет горца. Что было дальше? Голову Хаджи-Мурата отправили на родину и захоронили рядом с телом. Славный горец лежит на Кавказе под резным могильным камнем у города Нуха в долине реки Алазань. Вспомните строки Николая Гумилева:

**Взгляни, как злобно смотрит камень,
В нем щели странно глубоки,
Под мхом мерцает скрытый пламень...**

Резные надгробные камни у народов Кавказа имеют особый смысл. Называются они везде по-разному, но переводятся по смыслу почти одинаково. У христиан «хачкар» — это камень-крест, у мусульманских народов — камень памяти. Главное в нем — рисунок, он ни в чем и ни у кого не должен повторяться, как и судьба человека. «У каждой национальной трагедии свое лицо», — писал Арсений Тарковский, земляк Хаджи-Мурата. Не только на Кавказе, но и у других народов слова Генри Торо оказываются, к сожалению, пророческими: «Сколько бы камня ни обтесала нация, он идет большей частью на ее гробницу...»

Много раз бывал я потом на Кавказе. В каждой новой поездке невольно вспоминались строчки Александра Сергеевича Пушкина: «Они были все те же, все на том же месте, это — снежные вершины Кавказской цепи».

Прощание было грустным. Стояла осень, одна за другой пролетали в вечерних сумерках журавлиные стаи. Боже, как давно я их не видел. У нас в России так не бывает: они появляются из-за гор внезапно и так же неожиданно скрываются за хребтом. Приходит какое-то странное, необычное для жителя равнины чувство, которое можно объяснить, пожалуй, только тем, что здесь, на Кавказе, нет горизонта...

Москва — Петербург — аул Алмахи — Ясная Поляна — Калуга

О БУРЕНКИНОМ СЧАСТЬЕ НЕМНОГО СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

*И нет указанья
На зло и добро,
И бес любознания
Толкает в ребро...*
В. Лодных

Возможно, сенсация еще успеет почтить своим приходом и этот век, но век следующий уж точно будет смотреть на своего прокопченного предшественника с грустным сочувствием.

А куда нам следует поспешить закоулками да задворками от метро «Ленинский проспект» прямо до проспекта 60-летия Октября. Впрочем, до проспекта и не дойти — попадешь в грязный извилистый аппендикс-проулок, придавленный некой величественной в своем былом презрении к бывлой природе ТЭЦ, — и уже у цели. Подавляющее большинство москвичей проулка этого в упор не видели и пусть никогда не увидят, во что тот упирается, однако же подавляющее большинство не только москвичей, но и жителей (Экономического) Союза видели его хотя бы раз и хотя бы часть. Именно здесь, говорят, Тарковский снимал самые тяжелые планы для своего «Сталкера».

Прямо напротив уж этим одним знаменательной ТЭЦ будет типовое пятиэтажное здание школы. (На ней и висит вещественное доказательство того, что тут проспект.) В школе — институт. Ей-богу не хочется ерничать, но факт, что стрелки часов на фронтоне за два года так и не шевельнулись, наводит на мысль, что институт научный. В институте — Городецкий. Он в данной части нашей совсем некинематографической вселенной сам есть для нас «сталкеровские». Профессор и Писатель одновременно, ибо загадка одного будет столь же светлого, сколь и темного происхождения. «Профессором» является Городецкий, поскольку ученый он не только по сути, но и по должности, а именно заведующий лабораторией молекулярной генетики Института биологии гена. «Писатель»... Наверно, очень он своим исподлобно-глубоким взглядом похож на актера Солоницына, а может, и чем-то еще...

Право, не знаю, какая вышняя сила в виде руки газетной киоскерши сунула мне утром пару европейских научно-популярных журналов, а вечером привела к Городецкому, листавшему это же самое по моему вторжению в его крохотную комнатку.

То было два года назад. Люди роптали возле пустых аптечных прилавков. Были деньги, не было лекарств. Потом появились лекарства, не стало денег. Гриппозная осень девяносто третьего вернула нас к изначальной позиции. Шахматисты при повторении трех ходов объявляют ничью. Ничья — ни лекарств, ни денег — как-то не очень устраивала, и я снова направился к Городецкому. (Ведь тогда, два года назад, статистика уверяла, что от нехватки лекарств страна потеряет до полутора миллионов жителей. Но еще ничего не говорилось о превышении смертности над рождаемостью. Я не знаю, полтора ли миллиона потеряла страна. Но что «никакой человек не остров» и «по ком звонит колокол» — тема эта ранит не только такого глубоко религиозного и воцерковленного человека, как Городецкий, — это точно.)

Галлоны чая (а, говорят, чай не водка — много не вы-

пешь!) и погонные метры сигарет не очень-то помогали понять, как все это возможно, но Городецкий упорно доказывал, что небольшой симпатичной фермы в живописном лесочке где-нибудь под Рязанью будет достаточно, чтоб снабдить всю Россию дешевым и качественным лекарством.

— Так-таки и никаких биохимзаводов?

— Так-таки. Видите ли, — продолжает Городецкий, — человек по Божьему замыслу сам себе фармкомбинат. Нет такого лекарства, какого он сам бы не мог для себя произвести. Человек — самоизлечивающаяся система. Не будем говорить о парапсихологии, биополях, самовнушении, саморегуляции и всяком таком. Все это известно как моление, молитва... Нам пока важно, что в каждой клеточке человека спрятано по два метра ДНК, всем знакомой со школы. Из ста тысяч генов ДНК расшифровано на сегодня лишь пять процентов. Но уже достаточно, чтобы лечить...

— Если организм такой уж фармоцентр вкупе с заводом да, вероятно, и клиникой, с чего ж мы болеем?

— С того, что несколько сложновато устроены, организм обладает моментом инерции. Когда гены, отвечающие за синтез необходимого нам лекарства, всерьез примутся за работу, болезнь заходит уже далеко. А потом мы разве знаем, когда мы не болеем? Внутри, может, целая война разразилась, а глянь ты на нас — ничего, здоровенькие... Да, кроме того, благодаря капризам... чуть не сказал природы... экологии все расширяется россыпь наследственных заболеваний, с которыми человек уже никогда не справится сам. Хотя, может, и справится, если проделает к себе еще один путь эволюции...

— Вы признаете эволюцию как ученый, а...

— Еще в начале своих занятий геной инженерией я испросил благословения у митрополита ленинградского Антония, предшественника по епархии нынешнего патриарха Алексия II, ныне там — владыка Иоанн...

Не знаю более сложного и интересного человека, с кем можно было бы неспешно, в русском духе, поговорить о Боге. Отдельная тема, но истинный, воистину глубокий ученый религиозен. История науки говорит о том же... Покуда же, как для меня оказалось, фармакология основывается на старых методах химии и микробиологии, питающих своими идеями наших гигантских, все вокруг себя отравляющих монстров фарминдустрии. И это при том, что человек сам способен вырабатывать широкую гамму белков, имеющих лекарственные свойства: интерфероны, инсулины, иммуноглобулины и т. д. Генная инженерия позволила расшифровать и выделить гены, что кодируют многие активные соединения, уже сейчас позарез необходимые здравоохранению. Но те недоступны из-за цены. Два литра человеческой крови надобно для получения одной дозы интерферона, тогда как для лечения некоторых форм рака требуется тысячи таких доз. Можно получать интерфероны, инсулины и прочее из штаммов бактерий, можно из культуры клеток животных. Однако бешено дорога очистка. Одна доза «активатора плазминогена» стоит две тысячи долларов. В то время как всем практически людям старше тридцати лет следует промывать этим «плазминогеном» свои сосуды для удаления тромбов...

А тут какая-то волоокая буренка или коза-дереза даст молочко с этим самым дефицитным препаратом...

Два года назад идеи Городецкого казались очень научной, но слишком фантастичной.

Идеи же его, высказанные не им, но им мгновенно подхваченные лет десять назад, как раз на заре перестройки, когда закат отечественной науки еще не был столь очевиден, гласили, что в геном, то есть в ДНК практически любого животного, в ту его часть, что отвечает, например, за выработку молока, можно ввести один из уже расшифрованных «лечебных» человеческих генов, который сможет вне человека, точнее, в организме животного, работать на производство лекарства для человека. Такое трансгенное животное, а еще точнее, его молочная железа, представляет собой живую и уж безусловно чистую — в той степени, в какой чисто будет на ферме, — биофабрику, биореактор. И совсем не мини-, если, например, потребность всей Америки в некоем «факторе свертываемости крови» составляет всего сто двадцать граммов в год, что может быть получено от одной трансгенной козы. Или двух кроликов.

Два года назад кролики в лаборатории Городецкого начали дохнуть от недокорма. Мыши перестали плодиться. Ручейки реактивов, необходимых для исследований, стремительно истончались, как Амударья с Сырдарьей, даже поваренная соль стала поступать черная, будто ее только что отскребли со дна пересохшего Арала. Наука в стране задыхалась. Ныне с кроликов и мышей лаборатория перешла на крыс — те поживучее. Да только одна такая тварюшка стоит как пачка «Мальборо». Для одного же опыта таких «пачек» полагается около ста. Реактивы... Зарплата... («В день зарплаты «зарпачут» и самые стойкие!») Наука позадыхалась-позадыхалась да и задохнулась.

Задохнулась?

Задохнулась, бы, если бы не Запад. Не врал Остап Бендер! Запад помог.

— Видите ли, — говорит Городецкий, — хотя бы такой пример. Америка подсчитала свои потребности в препарате, имеющем мудреное название, — все равно не запомните. И определила их в четыре тонны. Препарат необходим для спасения жизней людей, страдающих опасным наследственным заболеванием, что приводит к развитию эмфиземы легких. Недугом страдают мужчины, потомки кавказских народов, ныне проживающие в США. Впрочем, этой же болезнью подвержены шахтеры да и все люди, работающие в пыльном производстве. Курильщики... (Тут мы дружно вкрутили в пепельницу свои окурки.) Все идет к тому, — оно уже пришло к тому! — что теперь свои силы, образно говоря, мы бросили на спасение жизней американских «кавказцев»... Дойдет ли дело до наших граждан — один Бог ведает. Если дойдет, то лишь после того, как излечим Америку. Америке надо четыре тонны этого препарата. Сколько нам? Из человеческой крови препарат получать накладно — каждому больному надо в год двести граммов. Тем не менее и «ферма одной фирмы» уже сейчас получает его по 35 граммов из овечьего молока. «Там». Но этот пример такой общий. Ведь если два года назад речь только еще заходила о выделении грантов для продолжения исследований, то сейчас мы, например, вообще существуем лишь благодаря средствам от Национального института здоровья США. Шестидесят тысяч долларов на три года. Двадцать тысяч в год.

— А что наши?

— Наши в рамках государственной научно-технической программы «Новейшие методы биоинженерии» обещают двести — триста тысяч рублей... в год. Сейчас вообще ничего не дают.

— Наука-то, по сути своей, интернациональна, и делаете, выходит, вы дело общее, общечеловеческое?

— Когда Флемминг открыл пенициллин, он специально не стал его патентовать дабы все человечество и как можно скорее приняло его открытие на вооружение.

— Станем надеяться, что история повторится, и заморское «ноу-хау», созданное в том числе и вами, актом доброй воли передадут нам...

— Воистину актом доброй воли. Но за доллары.

— А что наши?

Я не стал ждать еще один вариант ответа на этот кощунственнейше риторический вопрос, хорошо зная, как однажды

молодые и богатые (если по сегодняшним меркам богатство — способность содержать машину) предприниматели с женьшеневой фирмы «Панакс» бросились в благородную эту идею и что из этого вышло. Ферма коз, пригодных для трансгенных операций, при одном колхозе едва было не состоялась... Да колхозники решили ее приватизировать: каждому по трансгенной козе. Как будто знали, что в Казахстане как-то трансгенных овец-великанов с введенным в них геном роста вообще съели... Ведь кто бы знал заранее, что некогда оптимистичная формула «что-то делаешь» так быстро при этом правительстве сменится пессимистичной — «ничего не поделаешь», подкрепленной известным разводом руками.

Нет, страшно интересно говорить с Городецким.

Истинно православный христианин... Но будто бы убежден, что помогает Богу, раскрывая для Него ж самого Его же Божественный смысл живого...

Истинно кабинетный товарищ... Но в отпуске бродит неприкаянно по деревням, как калика переходный, кормится, чем подадут, спит, где предложат...

Истинный патриот Отечества... «Спасает американцев», ибо наука интернациональна, а крохи с чужого стола смогут в будущем перепасть и нам...

Два года назад он еще «рыпался». Искал журналистов, предпринимателей, дубасил в дубовые правительственные двери...

А в чем же, собственно, дело?

В том, что мы живем — уже! — в прошлом веке, только и всего. Ну, а календарный перелом веков — он так, он лишь отбросит нас в век позапрошлый...

Пресловутый западный бизнесмен не раз имел возможность радостно оттопирить большой палец и смачно по-русски произнести: «Дьешевое и сьтердито!» А полный закат науки на территории, где, следуя древней риторике, никогда не заходит солнце, помог ему освоить и сравнительную степень русских прилагательных — еще дешевле и еще сердитее. Об утечке мозгов как-то неудобно и вспоминать. Мощные морские земснаряды прокачивают через свои утробы последние тихие заводы российской науки. Увесистая — по нашим меркам — стипендия да вид на жительство с правом через пять лет избирать американского главу государства доступны для любого подающего надежды студента. Сколько уехало, говорить не хочется. В докладе же Российской Академии наук сказано: уехал один процент всех ученых. Но вот как бы «качество» этого одного процента не было бы соизмеримо с остальными девятью... Ох, эти вечные поиски счастья! Комнатки, где сбываются мечты...

Сколько вернулось назад?... Кое-кто из молодых вернулся. Сам видел — нарочно ходил смотреть! — одного такого парня, что отказался от ихней стипендии и сидит до позднего вечера в лаборатории Городецкого, оборудованной, кстати сказать, не хуже заокеанской. Почему вернулся? Наверно, потому же, почему и Городецкий не уезжает. Об этом чуть позже. Пока лишь уточним то, над чем, собственно, бьется Городецкий Станислав Иванович.

Чтоб корова (ее вымя не знает конкуренции) могла родить телку, способную далее в свое молоко индуцировать лекарство, для этого в ядро оплодотворенной коровой яйцеклетки тончайшей стеклянной иглой под микроскопом женские руки (лишь им под силу такая операция, и одни такие руки в стране есть — сам опять-таки видел: это эмбриолог из Института молекулярной генетики Людмила Андреева) вводят в раствор несколько миллионов человеческих генов, предварительно размноженных. Пусть психологи-философы-богословы разбираются, насколько человечна (и счастлива оттого, что человечна) корова с человеческим геном, но то, что один такой ген в корову иногда внедряется — факт. Правда, вместо трансгенной телки порой рождается трансгенный бык, как в Калифорнии. Но в Калифорнии все же упорно верят, что вскоре катастрофическую и повсеместную в Старом и Новом свете нехватку женского материнского молока вполне восполнит коровье, и, как ни странно, это самое — наше женско-материнское. Но отвлеклись. Чтобы сперва размножить какой-нибудь «лекарственный» человеческий ген в какой-нибудь бактериальной среде, у челове-

ка его надо будет взять. То есть отобрать, к примеру, капельку крови. Между уколом в палец и инъекцией в яйцеклетку лежит вся цепь проблем. И было в ней узкое звено, так называемый процесс PCR — polimerase change reaction, попросту — Пэ-Цэ-Эр. Без нее вся цепочка не держится — некий же фермент позволял выделять и копировать человеческий ген в объеме, достаточном для инъекции. Так называемая полимераз Кленова (sic!). Но та оказалась нетехнологична, и вот описана была ДНК одной бактерии, живущей в геотермальных источниках при температуре 72 градуса, и уже с этой полимеразой процесс пошел. Ген копировался, размножался, внедрялся, животного созревала до «молочной» спелости...

Теперь на Западе из-за этого «процесс пошел» затеялась целая судебная буча. По словам журналов «NATURE» и «SCIENCE», американская фирма «Promega», штат Висконсин, подала в суд на швейцарскую «Hoffmann-La Roche», дабы оспорить ее права на эту самую полимеразу, хотя швейцарцы, в свою очередь, за 300 миллионов долларов купили права у американской «Cetus Corporation», добившейся в США патента на нее в 1991 году. Было из-за чего спорить — ныне в одной только Европе этой полимеразы продается на 25 миллионов долларов...

Вы, может, спросите, да в каком таком сравнении эти западные гиганты фарминдустрии с их судебными распрями да бешеными миллионами упоминаются по отношению к нашему «сталкеровскому» герою? Да в таком — очевидном, что их миллионы так же относятся к американскому гранту, выделенному Городецкому, как сам этот грант — к деньгам, обещанным здесь, «от правительства». Да еще в таком... Ну вы, наверно, уже догадались, что этот фермент выделил сам Городецкий со товарищи (журнал «Биохимия», апрель, 1980), факт, который фирма-истец и выложила на стол перед судьей. Аннулирование патента дало бы право любым компаниям, способным производить фермент, свободно поставлять его на рынок, разрушив монополию одной лишь фирмы. Опять же момент для нас важный, ибо при таком раскладе Городецкий мог бы покупать «свою» полимеразу дешевле.

— Так что ж получается, Станислав Иванович, те шестьдесят тысяч долларов для продолжения вашей работы Штаты дают вам вроде отступного?

Городецкий смотрит долго и недоуменно:

— Так английское «Королевское общество» естествоиспытателей тоже дает мне грант...

Наконец до него «доходит». Люди более эмоциональные в таких случаях заплотило машут руками — что, мол, за чушь! Он обстоятельно закуривает:

— В 1978 году мы могли получить на свою идею только авторское свидетельство, что засекретило б разработку на годы. Может, и сейчас валялась бы где-нибудь на полке... Нам казалось более важным известить о находке научный мир...

Флемминг? Вот и я говорю — Флемминг! Нет, там где религия и наука, патриотизм и научный космополитизм перемешаны столь, что их и лабораторной центрифугой, разделяющей, кстати, гены, не расцепишь, там, где здоровая мечта о здоровом и счастливом человечестве ходит под руку с древней как мир озабоченностью «нищих гениев», там, где колыхание биохимических левиафанов за океаном не колыхает «тут» и чашки чая на столе, там, то есть здесь, воистину так уютно чувствуешь себя в родной нам тарелке своего, то бишь прошлого, российского века: нич-чего не понятно! И, увы, как ни грустно, понятно...

Он сам признается, что в науке у нас сейчас остались лишь «чокнутые», что в лаборатории у него сплошной «детский сад», что перспектив давно уже никаких, что своих трансгенных животных нам едва ли видать... Но упорствует. Тысячу раз грозился все бросить к этойкой матери и уехать. Обрыдло! Тысячу раз на звонки своих коллег «оттуда» — можно ли уже приезжать? — радостно восклицал: «Конечно же!» — и тут же, но уже другим тоном и вполголоса добавлял: «На месяц. В отпуск». Тысячу раз... Но это как начин в стихе — на тему русской трансгенной буренки можно писать поэму.

Черчилль говорил, политики думают о настоящем, а госу-

дарственные деятели о будущем. У нас пока думают. В то время как вострепнулись «молодые тигры» Юго-Восточной Азии, не говоря уже о Японии, даже Китай и Северная Корея навестили свои «драконы» уши... В то время как самую что ни на есть дешевую в мире научную элиту — это нашу с вами! — не вербуют разве что реликтивно-первобытные племена Амазонии... В то время как... Но это еще один бесконечный зачин. Так по ком звонит колокол?

Удар колокола, возвестивший о нарушении экологического равновесия, прозвучал на Земле еще в те самые времена, когда первобытный человек впервые самостоятельно получил реакцию окисления, то бишь добыл огонь. С тех пор, хотя и не сразу, энергетическое обжорство человечества при вечном голоде на энергию становится космическим фактом, а планета все острее чувствует гнилостный запах обреченности. Ведь что из того, что она оборудована водосливным устройством, если стоки все равно возвращаются через кухонный кран? Это порочный круг, когда отравленная среда наводит болезни, требующие для их лечения все новые лекарства, производство которых еще больше губит среду. А прорехи в озоновом одеяле? А мутагенная радиация военных и гражданских реакторов? Их отходы? Люди однажды поймут, что, изменив среду обитания, обязаны будут успеть измениться сами, дабы не вымереть, как динозавры. И Бог — по Городецкому — даст на то позволения. Может, я чересчур заливаю, но может быть, и то, что пресловутую Пэ-Цэ-Эр будут проходить в школе как основу принципиально нового воочеловечивания человека...

Теперь только заглянуть из будущего в нынешний день России и понять, почему Городецкий не уезжает. Потому что... Ибо! Ибо сытые западные «кормушки» по стойлам науки — вовсе еще не те «ясли», в которых родился Христос. Ибо земля наша, видимо, все еще благословлена свыше, коли ученый люд ее так пророчески распространяется по всей планете — читатель да не потребует примеров! Ибо, если в лаборатории Городецкого «детский сад» — значит, «дети-то» все же есть! И «детям-то» интересно!

Кому уж не ясно, что западные инвесторы не вложат свои кровные «зеленые» в создание фермы трансгенных животных где-нибудь в зеленом уголке под Рязанью. Скорее разрежут красную ленточку пред новым промышленным чудищем с приставкой «биохим» — благо память о Бхопале совсем сошла на нет. Фермам стоять в Массачусетсе. И еще в Шотландии, и еще в Голландии... Но не в России, не в Казахстане, не в Индии... Короче, чего и ждать от чужого быка трансгенного молока?

Четыре крупнейшие биотехнологические компании заявляют, что через пять лет трансгенные животные поставят на рынок первые лекарственные препараты. Овцы, козы, свиньи, коровы...

Все спланировано как в лучшей плановой экономике — каждая фирма выбрала по одной скотине... «Объявляется посадка на ковчег, отплывающий в третье тысячелетие...»

Мы...

— Ме-е...

...бы...

— Бе-е...

Ни бе ни ме.

Му-у...чительно все это.

Вот, может, если корову и кормить будем досьята по-человечески, и убирать за ней по-людски, и не пускать то и дело на мясо в поисках все новых выходов из все новых хозяйственных тупиков, то... Может, в том и будет буренкино счастье? Мы же ее не спрашивали пока, с ее нынешними-то чисто коровьими генами... Пока.

А всяк человек да ищет свою комнату счастья.

Кто-то нашел. И снова понял вслед за Тарковским, что счастье — это когда его не спрашивают прийти.

Если найдутся к тому же в России богатые мудрые россияне, пойдемте — чего уж там? — провозу. Проспект 60-летия Октября, прямо напротив ТЭЦ.

Р. С. Поздно! Городецкий уехал. С семьей. В Америку. В университет штата Висконсин. Специализация — молочная железа животных. Каюсь, сглазил.

ведь он был добрым, но все-таки волшебником! А даже добрые волшебники в минуты плохого настроения могут такое натворить!

- Ай-яй! - засуетились обитатели высокопородного дома. - Ая-яй! - и бросились враспынную по своим аппаратам, залам и комнатам. Никто больше зауживаться не хотел.

Хлоп! Бам-с! Вжик-к! Блям-с! - гремели двери, шуришали задвижки, тренькали цепочки, бренчали замки. Коридор опустел. Только один маленький Журнальчик остался стоять у ног дядюшки Наля.

- Пойдем, малыш! - ласково произнес волшебник. - Пойдем домой, в 20-ю комнату. Не надо было тебе отсюда выходить, да еще раньше времени. Ведь я тебя еще не доделал.

Они вошли в свою комнату, и дядюшка Наль крепко-накрепко запер дверь.

- Дожись-ка лучше спать, вот так, вот так, - бормотал Наль, заботливо укладывая Журнальчик в ящик своего письменного стола. - Ты спи, а я пока тут немножко подумаю, помечтаю, - говорил Наль, затагиваясь волшебной трубкой. Облако сказочного дыма поплыло над столами, над шкафами, над папками... Все вокруг замерцало, заколыхалось... Дядюшка Наль начал колдовать...

На следующее утро у маленького Журнальчика объявился товарищ - другой мальчик-журнальчик. Дядюшка Наль дал своим мальчикам новые имена: первого назвал Жур, второго - Чик, а сам решил стать их наставником. Он тут же сводил мальчишек к Самому Главному Редактору, чтобы познать его с ними и, конечно же, взять Санкцию на их Рождение и Проживание в этом доме. Самый Главный обрадовался появлению ребят, Санкцию дал, и теперь уже никакие дяди-романы и тети-поэмы были им не страшны. Мальчики стали вести очень веселую и интересную жизнь в своем журнале, особенно у себя в 20-й комнате.



КАК РОДИЛСЯ "ЖУРНАЛЬЧИК"

В журнале "Юность" произошло событие: родился "Журнальчик". Юность была такая большая, такая солидная, а Журнальчик такой маленький, такой худенький, он едва едва держался на двух своих тоненьких ножках. Поначалу в своем родном доме ему показалось очень даже одиноко и неуютно. В доме было много разных помещений: комнат - больших и маленьких, залов, коридоров, чуланчиков и просто темных закутков. В просторных залах жили романы - суровые и надменные; в больших комнатах размещались повести - такие же неразговорчивые и высокомерные; в комнатах поменьше находились стихи и поэмы. Стихи оказались более общительными и, завидев Журнальчик, побежали в коридор, обступив его со всех сторон.

- Как тебя зовут? - осмелилось, наконец, спросить Четверостишие.

- Журнальчик, - поспешно ответил малыш.

- Откуда же ты взялся? - степенно спросила поэма Музылаина. - Наш дом очень хорошо охраняется и посторонних сюда не пускают.

- Я, кажется, здесь родился, - тихо сказал Журнальчик и от смущения опустил голову.

- Он здесь родился, родился, - защебетали стихи, - вот новость-то какая!

На шум выбежала повесть Вечный Диалог:

- Что я слышу? Кто это здесь родился и по какому такому праву? Кто разрешил?

Двери комнат начали распахиваться и оттуда стали появляться жильцы.

- У нас объявился незаконнорожденный, - мрачно констатировала поема Серая Лебедь.

- Незаконнорожденный, - повторила юмореска Крылья и Локти.

- Незаконнорожденный!.. - эхом пронеслось по всем комнатам.

В ближайшие годы и десятилетия в этом доме никто не должен был рождаться, - продолжала мрачить Серая Лебедь. - Нам самим места мало.

- Правильно, - подтвердил роман Привидение, покачивая бесчисленными страницами, - в скором времени я собираюсь объявиться новыми сюжетами, а вот теперь мне приходится думать, где я их буду располагать.

- А я хотела удлинить повествование на некоторое, еще неопределенное количество страниц, - запережила повесть Вечный Диалог. - Иначе читатель так и не проникнет в суть моего гениального замысла.

- Мне нужно было вставить одну строфу длиной в пятьдесят семь строк, - я бы от этого могла оказаться философинее.

- А мне не доставало двух строк, - пискнуло Четверостишие, - для полной завершенности...

- Итак, - нас кто-то предал, - подвели итог собравшиеся. Но кто? - вот в чем вопрос.

- Сейчас мы это выясним, - с готовностью прошипели Крылья и Локти. - Мальчик, скажи нам, пожалуйста, кто твои родители?

- Я не знаю, - пролепетал Журнальчик, - когда я родился, в комнате никого не было.

- Безобразие! Оставляют младенца без присмотра! - в полной тишине прокричал женский голос.

- А в какой комнате ты родился? - с настойчивостью следователя допытывались Крылья и Локти.

- В самой дальней, в конце второго коридора, - виновато прошептал Журнальчик.

- Это 20-я комната! 20-я комната! - зашумели жильцы.

ВНИИ

СЛБА

- Мальчишка дядюшка Наля! Ясное дело - его придумки!

- Вечно от этой 20-й комнаты одни неприятности, - загалдели вокруг, - то какой-нибудь Неминованный Лист выскочит, то Свободный Микрофон! А Русская провинция откуда взялась? Теперь вот еще и Журнальчик объявился. Сдать эту комнату иностранцам, да и дело с концом!

- Надо пожаловаться Самому Главному! А то дядюшка Наля делает, что хочет!

- Да, друзья мои, кто тут упомянул мое имя? - произнес вдруг неизвестно откуда взявшийся дядюшка Наля.

Присутствующие мгновенно примолгли.

К слову сказать, дядюшка Наля был добрым-добрым волшебником. Он как-то кудесничал на досуге и так, от нечего делать, наколдовал себе Журнальчик. Волшебство, правда, не совсем еще было закончено. Журнальчик только-только нарисовался, но тут Наля отвлекли какие-то важные дела и он срочно должен был удалиться. Ведь не думал же он, что новорожденный в его отсутствие встанет и отправится гулять.

- Итак, дорогие мои, что вам угодно? - повторил дядюшка Наля. - Как я догадываюсь, вас интересует этот крохотный Журнальчик? Да, это мой малыш. Он только что родился. Я, к сожалению, не совсем еще завершил свою работу, меня отвлекли очень важные дела.

- А у вас есть Санкция на рождение этого ребенка? - сварливо заверещали Крылья и Локти.

- Санкция! Санкция! За подписью Главного Редактора! И Зама! И Зама! - зашумели вокруг.

- Друзья! Вы слишком нервничаете, - спокойно ответил Наля. - Как известно, от сильного волнения у вас могут порваться страницы и осыпаться текст. Тогда вы сидите только в макулатуру. Кроме того, если вы и дальше будете так жалничать, вас придется посадить на диету. Мы с Главным Редактором завтра же составим план вашего похудания. А сейчас, чтобы вы знали свое место и не совались куда не надо, я сам кой-кого слегка заужу. Тут дядюшка Наля нацелился своей волшебной простыней на повесть Вечный Диалог и ловко сорвал с нее несколько десятков листов.

- Кара-ул! Гра-бят! - зычно вскрикнула Вечный Диалог и пустилась бежать.

В этот момент все поняли, что дядюшка Наля не шутил,



В распахнутую дверь 20-й комнаты (а та всегда нараспашку) вошел человек и сказал... Вот просто пришел с улицы и сказал... Ну и что, спросите, такого? Великое дело — пришел человек и сказал... Да еще и не с улицы вовсе, а с Киевского вокзала, где в данный момент имел проживание. Великое дело! Однако же, по врожденной в нас, как оказалось, склонности к возвеличиванию пребывающих и прибывающих в комнату лиц, дело представилось нам действительно великим. Что может быть проще, а стало быть, гениальнее, когда вот такой человек, с хемингуэвской бородой и говорящими глазами монаха-молчалика, приходит и запросто предлагает: «Напечатайте меня про меня и про других». Человека попросили выйти и снова зайти, но уже в рубрику

Пришел и говорю

Именно это Григорий БОНДАРЕНКО и сделал, сделав при этом и нечто большее — махом одним и совершенно для нас мимолетно производя на свет эти вот снабженные эпиграфом из Фазиля Искандера: «Приезжие удивленно смотрели на этот воздухоплавательный аппарат, а местные давно к этому привыкли...»

МАХОЛЕТНЫЕ ЗАМЕТКИ

Летел над миром махолет. Летел себе, махая крыльями, на то он и махолет. Поскрипывая малость изношенными маховиками, летел он куда-то к своей махолетной цели ни

шибко, ни валко... Но все ж больше валко, чем шибко. «Шибче!» — сказал командир, что в переводе значило — «Дашь ускорение!». Ускорение не давалось. «Перестроить тут все к бисам надо, — сказал тогда командир, вытащив из-под себя слесарный ящик, — а то мы никак не ускоримся». Махолет затрещал крыльями, как стрекоза над застойным прудом, да правое крыло отчего-то стало заклинивать, а левое в трепете так все и заходило, будто поймал какой-то могучий дядя стрекозу за одно крыло и держит так... Побежали пилоты да бортмеханики к правому крылу с тяжелым молотом наперевес, чтоб стукнуть того большого нехорошего дядю по пальцу, мол, не хватай ты нас за крыло, этакий! А там в том уже мхом покрытом махолетно-моторном отсеке, что по правую будет руку от командира,

глядь, стоит еще один дядя, поменьше того большого, наружного, да и вообще свой, местный, из махолетчиков. «Не перестроить вам этот ваш махолет», — говорит, берет парашют и смело ступает в васьиковую бездну неба по-над самой что ни на есть пшеничной нивой. И летел он вниз, махолетно махая руками, потому как иначе летать не умел, а парашют так все до конца и не раскрывался... И падал рядом, крутясь в штопоре, распадающийся на куски махолет... А приезжие удивленно смотрели на этот воздухоплавательный парад, а местные давно к этому привыкли...

Мне было девять лет, когда я впервые увидел Красную площадь. Я написал:

Москва, Москва!
Ты ярче солнца светишь!
И я люблю тебя
За то, что ты — Москва!

Когда принимали в октябрята, я радовался, что на груди такая яркая и красивая звездочка... Другую звездочку я сам выпилил из фанеры, как стал пионером. Написал на ней кое-что и закопал в огороде. Я любил дедушку Ленина. Ни одного своего дедушки я не видел даже на фотографии. Просто «своего», как врага народа еще в тридцать третьем закопали... где-то.

Недавно спросил одного мальчика:

— За что ты любишь Ленина?

— За то, что он построил нам мавзолей.

В юности очарован был Пушкиным. Подражал. Например... (Редактор примера не пропустил. — Г. Б.) в армии писал все больше частушки, на гауптвахте. (Их редактор тоже не пропустил. — Г. Б.) От дисбата спас подполковник Драган, очень похож был на Брежнева.

После службы начал вступать в комсомол. Помню, спросили:

— В каком году Ленин попал в ссылку?

— В семнадцатом.

— И почему?

— Потому что в семнадцатом он не смог справиться со своими же, сыновьями.

— Почему не мог?

— Потому что тех стало много.

— А почему стало много?

— Потому что Ленин в семнадцатом не попал в тюрьму.

— ?

Никто ничего не понял, но в комсомол меня все равно приняли, потому что я поставил бутылку. А потому

и в Луганский пединститут приняли на истфак. Это еще потому, что отец тоже кое-кому кое-чего поставил.

В институте я писал девушкам стихи и акrostихи. (Их редактор опять почему-то не пропустил. — Г. Б.)

У меня был друг, донской казак. Он изучал философию Гегеля, оскорбил зачем-то декана и ушел с первого курса. А на третьем я познакомился с Владиславом Карабулиным. Тот изучал «Доклады Римскому клубу». Друзья его звали Влад. Влад организовал кружок «Абракадабра». Вечерами мы штудировали идеи Печчеи. Вдруг вызывают Влада в КГБ и предупреждают. А он не внял и открыто выступил с трибуны факультета против институтской номенклатуры в лице старшестурника Мясоедова, которого тянули в партию. За это Влада изгнали с пятого курса как хулигана и антисоветчика. «Враг!» — замахнулась на него шваброй уборщица. И до сих пор эта швабра общественного мнения на него замахивается.

Потом мы поехали с ним на швабашку. Влад писал свою повесть — «НЛО». Я — свою. Но мы выпивали, и у нас из двух повестей получился всего лишь рассказ «Неожиданный день из жизни Заначкина». Я хотел посвятить его Солженицыну, но Влад сказал, лучше напечатаем его в нашем самиздатовском альманахе «Черный квадрат», а Солженицын пусть еще подождет. (Он и рассказа, редактор, не пропустил. — Г. Б.)

В то время, когда перестройка уже подходила к своему концу, в Луганске как раз образовалась первая демократическая ячейка «Комитет поддержки перестройки». Ее возглавил преподаватель философии Козовский, который Карабулина хорошо знал, но побаивался, поскольку Влад был умнее его раз в пятнадцать. Козовский поддерживал только свой авторитет, а тех же шахтеров, когда начались забастовки, испугался и не поддержал почему-то... Наверно, потому, что у шахтеров были крепкие руки.

Козовский теперь поддерживает РУХ, а там крепких рук не хватает — некому его выгнать, старого черта. Вот ищет себе приключений на старости лет. Карабулина почему-то упорно называют представителем номенклатуры, потому что... Влад работает на кирпичном заводе составителем вагонов. Это редкая профессия и прибыльная — он кирпич подает

для местного начальства, чтоб они строили свои виллы, или продает его за границу и за валюту. А Козовский торгует старыми книгами по философии, а тех никто не берет. Козовский на Влада — «Москаль!». А тот на него — «Масон!». Черт знает что! Разве что скоро помиряется, если Козовский начнет брать себе кирпич на строительство дачи...

...Как-то был у меня пес по кличке Вайт. Я в то время сады с приятелем охранял под Луганском. Пес был среди других собак вроде клоуна. Однажды сели мы с другом ужинать, и тут Вайт дает знать, что в саду кто-то появился. Обычно этим не отличался, была другая на то собака — с верхним нюхом. А тут собаки поверили Вайту — и за ним. И мы туда ж. В саду ни души, и вайтов тоже. Возвращаемся — ужина нет. Вайт облизывается.

К чему это все говорю? Да к фашистам. Раз по Луганску прошел слух, что фашисты откуда-то появились. Будут праздновать в кафе день рождения фюрера. Переполюх. Позакрывали все кафе. И рестораны в придачу. Притихли детские сады и ясли. Милиция перекрыла улицу Советскую. Молодежь вооружилась цепями и пошла к библиотеке Горького. Я видел, как у Дома книги вышагивал бывший истфаковец Мясоедов. Он раздавал приказания и посылал своих орлов к библиотеке, а по мегафону чей-то тревожный голос все волновался: «Кто видел фашиста? Кто же видел фашиста — пойдите!»

Я хотел сказать, что фашисты ушли, пришли коммунисты, но Влад отсоветовал. Фашистов проводили с Украины полвека назад, а коммунисты и не уходили. А чего им уходить, если не уходили? А чего им уходить, если, наверно, настоящие коммунисты вообще никогда не приходили? А если настоящие не приходили, то зачем было приходить настоящим фашистам? Настоящий — это, наверно, на-стоящий, на — чем-то — стоящий. А у нас, что ни «на», то вот те на! Я, в общем, за то, чтоб все были настоящие. Чтoб коммунисты за одну махолетную ночь не перемахивали в антикоммунистов, а демократы за двадцать минут трансляции очередного указа не становились тут же цепными псами беззакония и произвола... Тогда и путаницы в мозгах меньше будет.. А сколько еще есть людей, которые в чем-то своим настоящие!

Мой бывший сокурсник, археолог Николай Тарасенко однажды уехал в Латинскую Америку. Там сделал археологическое открытие, но вскоре вернулся... живет сейчас в родном селе, построил там на скале хижину и засел за китайскую философию...

А вот Москва не умеет спокойно жить: то у нее август девяносто первого, то октябрь девяносто третьего... Еще недавно на планете был один Белый дом. Тут стало два. Один — на западном полушарии, другой — на восточном. Как полушария мозга: одно отвечает за рациональное, другое — за образное мышление. Так вот второе-то все штурмуют, штурмуют... Образ первого Белого дома, он лишь на слуху, а перед глазами контур мишени на стрельбище... Белой... Назвали бы уж Ла Мо-неда.

А с «Черным квадратом» у нас не получилось. Вышло только три номера. Влад хотел его видеть только общественно-политическим, я был против и решил издавать журнал «Бомж» (стихотворение «Бомжиниана» вылетело. — Г. Б.), но время самиздата ушло...

В Луганске все спокойно, поскольку все отдано на откуп воротилам из купле-продажных фирм. Нашее истинной демократии затягивают удавку. Кто не согласен — снова враги, немножко старые — «представители номенклатуры» или поновей — «москальи». Одного такого еще в «Черном квадрате» окрестили шовинистом за то, что он поднял вопрос о русских — «Русские, что делать?».

Я выступал сперва против коммунистов, теперь — против т. н. демократов. Я не знаю, как будет полатыни «демократ крадущий», а то бы сказал весомее.

Мне довелось исколесить на товарняках весь б. Союз, работая техником рефрижераторных секций. И все время писал, но, кроме областных да районных газет, нигде не печатали. Наверно, в поэзии, как на фронте, должны быть и неизвестные поэты. Иначе фронт бы не удержался. Ведь это не ново, что войну выигрывают неизвестные герои.

Встречался с Фазилем Искандером, он говорит, надо работать, работать, работать... Я и работал, работал, пока не стал бомжем... Может, когда-нибудь напишу «Бомжественную комедию».

За годы нынешнего махолетия я понял лишь, что в демократии объединяет не страх, а выгода. Когда

невыгодно писать стихи, выгодно их не писать. Я демократ «по невыгодности» и всю жизнь искал таких же демократов. Если журналу невыгодно печатать мои заметки — пусть печатает.

А закончить я хочу так: желто-голубой парашют давно уже парит в небе, хороводя с такими же новцветными или старцветными собратями, но парашютисты под ними, мне показалось, вовсе не жаждут встречи с такой родной, как принято величать ее, землей-матушкой. Больно может ударить. И непонятно, то ли снова они хотят назад в махолет (впрочем, еще не бывало, чтобы парашютист возвращался на борт), то ли сама невозмутимая махолетность этой громаднейшей части евразийского континента не хочет уже никогда принимать обратно.

А непознанный летающий махолет все продолжает падение. И все не падает. Не хочется ему, видно, падать. И у кого повернется язык осудить его за такое?

А местные к этому давно привыкли... А приезжие все удивляются...

Чего удивляться?

Однажды утром, когда ничего и нигде не стало, и только таинственно появлялись и исчезали куда-то неопознанные летающие тарелки, я подошел к окну и увидел закусочную «Макдональдс»...

(Редактор вообще ничего не хотел пропускать из стихотворений, кроме первого и последнего. Я заключил, что он «москаль» и «ксенофоб». — Г. Б.)

Так приходил и говорил в 20-й комнате Григорий Бондаренко. Напоминаем, что дверь данной комнаты — нараспашку. В ее стандартную коробку проходят любые, сколь угодно широкие души, а также, как угодно, то есть, никому не в угоду, даже нам, — разномысленные. Лишь бы нараспашку.

Редактор

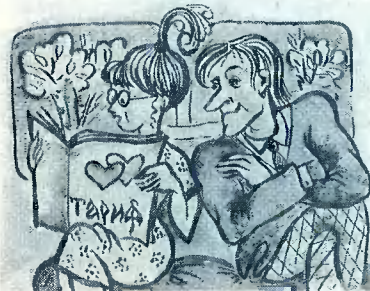
Гм.

Гл. редактор

История

О. СЕВЕРИНА

ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ ЗНАКОМСТВО



— Простите, здесь не занято?

Я ближе пододвинулась к окну. Теперь рядом места хватило бы и слону, если б тому вздумалось прокатиться в общественном транспорте.

— Ничего, если я присяду?

Я раздраженно пожала плечами: «Чем спрашивать, уж лучше бы сел себе молча», — и горько усмехнулась: сколько же их было, подобных историй. Уже можешь сказать наперед, чем все закончится. Опять прицепится какое-нибудь чмо или заезжий альфонс и будет, как истукан, долбить всю дорогу: «Дэвушка, как тебя зовут?» А потом потащится еще тебя домой провожать — не отвертись-ся...

— Значит, вы принципиально не возражаете?

Глупый вопрос. Все равно, как у моей многоопытной напарницы в детском саду: «Вы не возражаете, если я заберу эту кашку?» — хотя знает, что «эту кашку» я и на нюх не переносу...

То, как он сел рядом, я не услышала, а скорее почувствовала не то по возникшей весенней свежести лосьона или туалетной воды, не то по тому, как вдруг все бешено заколотилось внутри, разгоняя скопившуюся за день усталость. Уже по одному этому симптому я могла почти безошибочно сказать, что рядом сидел молодой человек.

«Ну и пусть, — стучало в мозг, — пусть себе сидит. Тебе-то что... Странная, неужели ты еще веришь?..» Но желание взглянуть на него уже выросло и рвалось за ворота, неуправляемое никакими страхами разочарований.

— Простите мою навязчивость, но, по-моему, вам скучно.

Вот теперь, выдержав все правила приличия, можно было и повернуться с надменно-удивленной гримасой: «Какая редкостная проницательность?» Но едва я увидела попутчика, как от гримасы не осталось и следа: сидящий рядом мало того что действительно оказался молодым человеком, но к тому же был высок, светловолос, синеглаз, тонкогуб, прямонос, белорубашен и узкобрюк, так элегантно разместив на своем теле весь этот джентльменский набор, что из моей груди невольно вырвался вздох восторга и сожаления. Увы, такие мальчики нравятся слишком многим, чтобы можно было на что-то рассчитывать и мне. Мой открытый затылок и гимнастическая гулька на макушке по крайней мере были грациозны, но теперь, сидя к нему анфас, уже никакой гулькой нельзя было прикрыть ни мою близорукость, в очках оборачивающуюся пучеглазостью, ни сморщенную востром улыбку, ни легкий пунктир морщин на лбу — неизбежный отпечаток ежедневных всплесков чаще всего негативных эмоций.

— Вы, я вижу, чем-то опечалены? Хотите, я вас немного развлеку?

Я еще раз недоверчиво оглядела парня, надеясь обнаружить признаки хоть какого-нибудь психического или физического расстройства. Но ничего похожего на нервный тик, косоглазие или хромоту, судя по отсутствию костылей, на глаза не попадалось. Я принялась: он был трезв.

— Так вы согласны? — При этом он так умоляюще улыбнулся, что я начала сомневаться: уж не заблуждаюсь ли я в оценке своих внешних данных.

— Что ж, развлекайте, если у вас получится.

— Не сомневаюсь. Только мне нужно будет немножко-оочечко помочь!

— Какое же это тогда развлечение! Впрочем, в чем заключается помощь?

— Не волнуйтесь, это совсем не больно. Я у вас кое-что спрошу, а вы мне искренне, подчеркиваю: искренне, — ответите.

— Мне кажется, вы собирались меня развлекать, а не допрашивать...

Он деланно надул губки, ну совсем, как мой младший братишка.

— Я же должен как-то узнать ваши вкусы! Хотя одно мне уже ясно: с чувством юмора у вас все в порядке. Кстати, хотите анекдот?

Это уже немного напоминало развлечение.

— Хочу.

Он предупредил, что анекдот будет немного пошлый.

Я снисходительно ухмыльнулась, мол, вполне естественно.

Но анекдот попался очень даже ничего, из тех, над которыми пока смеешься, успеваешь забыть, над чем. Да и пошлости, на мой целомудренный взгляд, в нем было не больше, чем в сказке о попе и Балде.

Следующим номером в развлекательной программе стояла психологическая угадайка: кто я такая.

— Для деловой женщины у вас вид слишком отрешенный...

«Говорил бы уж прямо: блеклый».

— ...Для рабочей вы слишком романтичны...

«Определенно, я себя недооцениваю!»

— ...Для домохозяйки вы недостаточно озабочены проблемами добычи картошки и колбасы... Наверное, вы студентка.

— А вот и нет! — Хотя он был не так уж далек от истины. За время трехкратного штурма консерватории я понабралась кое-чего у «местной» публики. Но я нарочно торжествующе ответила, не желая стимулировать самоуверенность «начинающего психолога». Тем более что без нее молодой человек сделался еще привлекательнее. Особенно когда с великой осторожностью в голосе спросил:

— Значит, вы работаете?..

— Да. В детском саду. Музработником и по мере необходимости воспитателем.

Он укоризненно покачал головой:

— Мы ведь с вами договаривались об искренности. Зачем же вы спрятали руки?!

— Можно подумать, вы бы на них обратили внимание!

Вместо ответа он бережно вынул из кармана мою привычно округленную кисть с длинными, нескладными, как подросток, пальцами и смотрел на них таким долгим взглядом, что казалось, сочинял отдельную поэму, каждой фаланге.

— У вас очень изящные руки. Вы играете на фортепьяно?

— Угу. И на скрипке тоже.

— И до смерти устали и от того, и от другого, — подхватил он, — судя по тому, каким тоном о них отзываетесь.

Наверное, это сон. Я даже ущипнула себя за ногу, на всякий случай — никаких изменений. Рядом со мной по-прежнему сидел за всю жизнь впервые встреченный мужчина, способный не только рассказывать анекдоты и делать комплименты, но и слушать твой голос, улавливая интонации!! Трубите трубы! Летите цветы! Оживайте мамонты!!! Наконец-то все поймут, что не существует никакой особенной женской логики, а есть лишь природная глухота мужчин! Наконец-то они поймут, что ищут загадку женской природы совсем не там... Неужели он сам до этого дошел?! Грандиозно! И теперь этот единственный в своем таланте мужчина будет принадлежать мне...

Спасибо, он прервал мои восторги, а то еще немного — и я бы бросилась ему на шею.

— Меня, кстати, в детстве тоже пытались дрессировать на пианиста. Был у родителей, знаете, моцартовский синдром. Зато сейчас все пригложилось.

— Каким же образом?

— По роду службы. У нас никогда не угадаешь, с какими людьми придется иметь дело.

— А где вы «служите»?

— Как, вы разве не поняли?!

Все еще недоумевая, парень вытянул из брюк и протянул мне бордовую с черной фигурной обводкой визитную карточку. На ней золотыми буквами было вытеснено: «Кареев Андрей Викторович. Фирма «Мистер Икс». Любые виды услуг — женщинам». Внизу были указаны адрес и телефон, а также то, что цены на услуги гораздо ниже, чем в странах «третьего мира».

— И чем же вы занимаетесь? — как можно бравурнее спросила я, медленно начиная возвращаться в свое измерение и машинально нащупывая в кармане кошелек.

Парень учтиво протянул мне свернутый вчетверо лист бумаги.

— Вот, ознакомьтесь. И это еще далеко не все, на что мы способны.

Лист назывался «Примерный перечень услуг, оказываемых сотрудниками фирмы «Мистер Икс». Дальше шел этот самый перечень.

1. Знакомство

- простое 100 р.
- театрализованное 200 р.
- с правонарушениями 1000 р.
- с провождением домой 500 р.

2. Комплименты

- банальные 30 р.
- оригинальные 50 р.
- литературные (поэтические) 70 р.

— в стихах собственного сочинения 200 р.

3. Выслушивание

- жалоб на жизнь (за 30 мин.) 200 р.
- жалоб на мужа (за 30 мин.) 300 р.

Это уже мне было неинтересно. Я пробежала по списку глазами:

14. Приглашение в кафе 300 р.

.....

27. Подарок к 8 Марта (без стоимости подарка) 200 р.

.....

40. Половая близость (за 1 час) 1000 р.

По дряблости стенок кошелька нетрудно было догадаться, что вчерашний аванс я забыла дома. Вот будет номер, если у меня вообще не окажется денег!.. Интересно, почему же эти услуги в странах «третьего мира» и почему это у нас дешевле?! Что, наши женщины хуже, что ли?! Хорошо, что хотя бы общение у нас было «интеллектуальное», выйдет не так накладно... И, как назло, ничего ценного с собою нет, чтобы под залог оставить...

По «прейскуранту» я насчитала себе 270 р. В кошельке как раз нашлось 300.

Брать с него, тем более просить сдачу было почему-то неудобно. Я еще раз взглянула на перечень. За

25 р. можно было оставить свой номер телефона.

— Запишите мой телефон, пожалуйста.

— С удовольствием! — вскинулся парень. — Я как раз сам собирался вам предложить.

Он вынул из кармана такую же бордовую, как визитка, записную книжку, обнажил наконечник массивной блестящей ручки и замер в ожидании.

Я продиктовала номер. Расплатилась. Поблагодарила и двинулась к выходу.

— Я позвоню. Я вам обязательно позвоню, хорошо? — раздался позади знакомый голос с неподдельным надрывом. Я кивнула на прощание и прыгнула на еще не просохшую от утреннего дождя мостовую. На асфальте по кромкам луж золотился закат, напоминая золоченые литеры визитки. Мистер Икс... А вдруг он и вправду позвонит? — Но тут же сама усмехнулась своей наивности, вспомнив, что во всем перечне услуг не было ничего дешевле клятв и обещаний. С учетом оставленных 5 р. «на чай» с моим попутчиком мы были квиты...

Вдруг я отчетливо услышала, как кто-то меня окликнул. Я обернулась. На остановке стояла моя подруга Катя. В ответ на «Как поживаешь?» я выложила ей все случившееся. «Ну и дура!» — сказала Катя и побежала к диспетчерскому окошку узнавать номер только что ушедшего троллейбуса.



Взор

Татьяна ВОЛЬТСКАЯ

ЯЩИЧКИ на груди ВЕНЕРЫ



Когда ночью не спишь, и перебираешь в душе всякое, всякое, и вдруг над белым листом как-то без сожаления замечаешь, что ничего не сделано ни сегодня, ни вчера, не будет сделано завтра, — тогда-то, уже под утро, в глухой час, начинается идти снег. Он идет под фонарем, в конусе света, и кажется, что он идет только там, а вокруг темно и пусто. Снег идет в душе, укрывая собой все, что умерло, и кажется, что он идет только там, а мир вокруг спокоен и неподвижен.

И вспоминается почему-то забытый пейзаж. Выпуклый покаты́й луг, как бы нехотя наклоненный к реке, голое бронзовое бревно, перевернутая лодка. Лес, развернувшийся полукруглым, степенным жестом, монашески-сли, увешанные четками шишек. Что-то цыганское есть в этих синах, дырявыми юбками взметнувших по берегам, — дрожащих, звенящих. Какой-то надрыв, надлом скрыт в повороте реки, слишком резко запрокинутой в горизонт.

Как верно — как страшно — называли у нас когда-то землю женой. Вот она на кого похожа — на лесовскую Грушеньку: брошенную. Землю разлюбили — оттого лезут из воды рогатые коряги, похудело поле, затмилось озеро. Когда-то Сусанин водил здешними дебрями поляков, Рубцов, хмельной, бормотал вирши. Было — и прошло. Грушенька не то чтобы утопилась, а превратилась в меднолицую продавщицу из местного магазина, и неизвестно еще, какой

способ самоубийства вернее. Да и народ, конечно, — не заскучавший барин, а вечно пьяный муж, только и научившийся, что бить да материть ее, да держать в черном теле. Одно непонятно — откуда сквозь худобу и огрубелость, сквозь синяки и ссадины, неистребимая, как ножом по сердцу, такая проглядывает красота...

Проглянет, полоснет, ошпарит — и снова подернется гусиной кожей дождя. Глянешь — лес расползается по швам, окрестность перекручивается чулком, дома безобразно распухают, падая, съезжают вниз в кучу, как будто невидимую коробку встряхнули и поставили на бок. Лица расплющиваются, река завивается проволокой, закат лиловеет огромной распоротой утробой, откуда вываливаются кишки дорог, проводов, ветвей. Из элегического пейзаж в мгновение ока становится апокалиптическим. Это и есть сюрреализм.

Мир сюрреализма — это мир, из которого вынута Любовь. Поэтому сюрреализм, быть может, самое правдивое и самое трагическое направление в искусстве XX века.

Каркас вынут — и небо сморщивается, холмы опадают безвольными складками, вода ржавеет, а из груди Венеры выдвигаются конторские ящички.

Любовь — это постоянное ощущение чуда в самом обыкновенном: в заурядном человеческом лице, в мокром снеге, в сереньком пейзаже. Любящий взгляд превращает горсть праха в драгоценность, он не пресыщается и не ищет невероятных зрелищ, потому что радуется тому, что у него есть. Взгляд равнодушный любую драгоценность превращает в прах — он, наоборот, быстро пресыщается и жаждет необычного, невиданного и фантастического.

Нельзя сказать, что эту землю не любили, но, может быть, любили как-то не так — не ее саму, а свои больные миражи, иначе отчего бы это здесь издавна нарождалось столько маниловых, угрюм-бурчеевых, выпрямителей улиц, строителей городов на болоте, творцов новых и истребителей старых морей, создателей богопротивных механизмов и природоубийственных монстров? Что аракчеевские поселения, что БАМ — все это сюрреализм, пронизавший здешнюю жизнь давно и насквозь, перехлестнувший через плотины литературы и искусства, при-

шедший к своему логическому завершению — абсурду.

Итак, мир, лишенный любви, — а, следственно, мир разрушающийся. Человек остается голым и одиноким посреди пустынного мира. И сейчас, глядя в окно на отечественную метель, я понимаю, что этот ветер не только здешний — он вездесущ, он обвивает ледяными пеленами всю планету, он бушует на полотнах Сальвадора Дали, на страницах «Палисандрии» Саши Соколова, в фантазиях Станислава Лема. Везде разгуливает легко узнаваемый герой, кажущийся себе цветущим и полным сил, а на самом деле — подагрическое чудило с дыроу в груди, хитроумной железной конструкцией вместо ноги и выменем вместо лица. Потому что любовь к самому себе, как натуральное хозяйство, обречена на смерть от удушья.

Быть может, именно романы Саши Соколова — одно из самых точных зеркал для неуловимых изменений в нашем сознании и в материальном мире. Тончайшее человеческое тепло, разлитое в «Школе для дураков», чуть-чуть слабее «Между собакой и волком», обволакивает и согревает прихотливую плоть этих книг, как кровь по капиллярам, проникает во все закоулки языка, в мельчайшие поры, как бы придавая ему румянец и упругость живого тела. Но, когда эта незримая жизненная влага совершенно остывает и высыхает в «Палисандрии», происходит невероятное: те же самые приемы и игры, которые были нам знакомы и восхищали нас раньше глубиной и блеском, совершенно преобразуются, как известная порода людей, безупречных в качестве слуг, но невыносимых в роли господ. Что-то главное ушло — и на мертвом унылом пространстве бродят призраки литературных стилей и речевых конструкций разных эпох и школ, выются пестрой свитой вокруг героев, важно делающих вид, что они есть. Здесь переидная черта, за которой искусство превращается в черную магию, за что по непреложному закону полагается вполне определенная расплата.

Да и ящички, выдвинутые Сальвадором Дали из груди Венеры, не вполне безобидны. Это не просто аллегория потерявшей смысл любви, пустой внутри, от которой осталась только хрупкая мраморная скорлупка. В самой скорлупке пусто, но

именно поэтому из ящичков выпрыгивают бесы. Они ловко прячутся в складках одежд, в которые Дали задрапировал своих святых и апостолов, в холодных глазах американизированного Христа, в пурпурном пульсирующем рубине «Святого Сердца», в резких тенях и предметах, пугающе реальных и выпуклых, — оттого, что между ними и глазом нет той же теплой и спасательной дымки, которая катастрофически быстро исчезает и со страниц современной прозы.

...Падает снег под фонарем. В высших инстанциях еще не решено, будет ли весна. Душа ощущает себя под снегом — вместе со всей землей, независимо от климатических поясов и государственных границ. Просто здесь, вокруг, он настолько глубок, ощущим и реален, что, имея в руках зерно, не знаешь, доживешь ли до времени, когда можно будет опустить его в землю.

А может быть, земля просто спит в изнеможении от бед и обид, окруженная свивущей тьмой. Многие пытаются растолкать ее пинками, блеском остроумных изображений, громом адской музыки, бряцанием металлических фраз и заревом магических видений. А она, как всегда, ждет того, кто назовет ее по имени и разбудит поцелуем.

Легкое дыхание

Борис ПРИМОЧКИН

ПОЦЕЛУЙ



Поцелуй не из породы долгожителей. Если сложить все моменты пребывания его на земле, то наберется не больше одного дня. Продолжительность жизни бабочки.

Что же это такое? Пустяк, ерунда, мимолетное прикосновение теплых губ... Э, нет! В элементарной этой частице бытия спрессованы удивительные по своей силе цельность и единство. Страшно подумать, что было бы с миром, не будь у него этой единицы соединимости, хотя бы на краткий миг. Мал золотник, да дорог.

Портрет героя нарисовать довольно сложно. Постоянно в движении, переменах. Он то легок и воздушен, а то жарок и силен. То скромнен и застенчив, а то откровенен и жаде. То бесцветен, то ал, ярк и замечен...

Откуда же Поцелуй родом? Где он зреет, набирает силу и чувство?

Мама вынашивает не плод, не ребенка, а ядрышко нежности. Мечту о Поцелуе к своему дитя. Она мысленно ласкает и целует его. Пока далекого, испуганного, спрятавшегося... Она слушает свои глубины...

Но вот приходит пора. Сколько можно ждать? Малыш уже топает ножкой. Барабанит ручками. Хватит меня держать. Нетерпеливость переходит в нетерпимость... И в самом деле пора. Ключ на старт... Два. Один. Ноль. Пуск. Маленькая фигурка космонавта отделяется от корабля-носителя и входит в открытый космос. Сквозь боль, крик и стоны вступает в мир новый человек. Огромный мир чудидом наваливается на него всей своей непонятной жутью. Белый свет ослепляет глаза. Воздух сушит нежную кожу, обжигает легкие. Незнакомые запахи врываются в ноздри. Даже легкий шорох похож на удар грома. Тяжело первые минуты одному. Горько. Одиноко. Ошеломительно. И вдруг...

Среди этого яростного, бушующего океана приходит на помощь нежный мамин Поцелуй. Он спасательный круг. Он подбадривает и защищает. Успокаивает и лечит...

Малыш не знает еще, как на него надо отвечать. Да и для ответа нет сил. Он односторонний, этот первый Поцелуй. Только со стороны мамы. Сколько в этом прикосновении ликования, любви, радости и... тоски. Да, и тоски по разрушенному девятимесячному единству. И когда Он и Она были вместе, сплошным слитным Поцелуем. А теперь Поцелуй в маминых руках. Материализовался. Отделился. Обратно не вернуть. Прощай и здравствуй! Наступает новая эра.

Малыш растет. Овладел речью, улыбкой, ходьбой шагом и слезами... Окружен стихами, сказками и поцелуями. Ласковый, теплый этот поцелуйный дождик. Их так много, словно бабочек и мотыльков. Вылезают, взлетают... Садятся бабушке на щеки, забираются в дедушкины усы в бороду. Каждый со своим подходом-подлетцем. Вот восхищенно-благодарный. Это за игрушку. Вот игривый-неминучий. Просто от хорошего настроения. Вот задумчивый. Вот шаловливо-баловливый. Поцелуй лукавый, очень даже славный... А вот долгожданный. Целый день не видел мамы. Дверь открылась наконец. Побежал. Взлетел. На руках под потолок. И с налету в щеку много.

Задохнуться, разрыдаться, в маминых руках остаться. Успокоиться... И вновь разгорается любовь.

Детство прошагало и нет. Поцелуй из щедрого, плескучего стал стеснительным, робким, замкнутым. Те детские Поцелуи, такие цветные, щебечущие, разлетелись пушинками одуванчика по телу прошлому. Юность застенчива, стыдлива, затенена. Любая мелочь смущает. Зане-ловливает. Особенно когда он и она остаются наедине.

Да и сам Поцелуй меняется. Становится каким-то другим. Из невинного готов взять вину на себя. И глаза встретят глаза. И будет тихий взрыв. Слышный только двоим. Хорошо, если потрясет обоих. Двоим легче себя вылечить. Каждый ранен. А вылечит он — Поцелуй.

И вновь зигзаг. Ссора. Разрыв. Одиночество обиженных самолюбий. Упрямство железобетонное. Никто не хочет уступить. Ядерная зима для отдельно взятого человека. Стынет душа. Двое рядом. Каждый создан для счастья другого. И каждый замерзает. Да есть ли что-нибудь непременней, безысходней?

Что спасает? Согревает? Воспоминание и сны. Там все сбывается. Там прилетают теплые бабочки милых губ. Звук не слышно. Да он и не нужен. Губы что-то говорят. Порхают пухлые крылышки... Все ближе... ближе... Неужели сядут? Есть! Жаль, что сон. Но до чего реально-четкое ощущение! Открыть глаза — все пропадает. Нет! Не пропадает. Явь! Мир! Ура! Прощение...

Хватит ссор. Вечный мир и лад. Полное вроде бы единство. Да, Поцелуй, укротитель споров...

На свадьбе кричат «горько». Хитрецы. Хотят выманить сладкий Поцелуй на свет Божий из его потаенных, заповедных глубин. Посмотреть, какой он у них в полный рост. Ладно, хорошо, уговорили...

Это высший взлет Поцелуя. Зенит его... А дальше будни семейной жизни. Поцелуи ставят на поток. Уходит трепетное, чуткое. Так нельзя. Это дело штучное, уникально-неповторимое.

Поцелуй обижается. Уходит, кажется, что навсегда. Но это не так. Он здесь, рядом... Ночью он возвращается. Голодный и жадный. Нетерпеливый и ненасытный. Влажные губы искусаны. В смятении и порыве. И слышен сладкий стон. Да нет, это скрытая музыка любви. Двое играют ее друг для друга. Друг на друге. Через него — Поцелуй...

Праздник слияния. Части с частью. Вспышки или всполохи зачатия? Раздельное замешивание в общее. Так вот он какой — обычный шаг к новой жизни!

Его Поцелуй стремителен и долог, как затаенный прыжок с парашютом. Еще немного, еще чуть-чуть... Большие теперь нельзя. Рывок за кольцо. Над головой раскрывается огромное полотнище купола.

Плавнo сносит ветер два осты-

вающих полета. Утомленный Поцелуй тает на глазах. Сносит куда-то в дрему, сны, забвение...

Кто поверит, что после суда единства придет чудовище отторжения и разлада. Но вот оно.

От любви до ненависти — один шаг. Но как он стремителен, горек и болезнен. Этот шаг.

То ли стоишь, то ли лежишь раненым и пустым. Истекаешь жизнью. Слабеющей мыслью понять, почему так?

И вдруг понимаешь. Да ведь это приходит старость.

Неслышно подкрадывалась эта гостья... Медленно просачивалась, осторожно. Сначала Поцелуй уходил в томность, лень, истому, становясь лишь слегка однообразным. В этом однотонном пространстве собиралась капелька безразличия. Росла, набухала, пухла. И вот опухоль готова. Ушел первый трепет, за ним свежесть, буйство и половодье... Засуха. Пустыня. А свято место пусто не бывает. Его займут. Уже занимают. Тайно, скрыто, за спиной. И чужой Поцелуй будет нежен и прекрасен. По-особому волнующ и... приятно-лжив.

Коготки беды еще не прощупываются в мягкой поцелуйной упаковке. Но придет миг, они вонзятся и закоптят беззащитное сердце с победным клекотом. Бытовой скандал сменит бытийный.

Придет напряженная двойная жизнь. Поцелуй станет двуликим Янусом. И каждый лик будет рвать на части. Нечто обратное зачатию. Отчатию...

Значит, снова зима. Уже настоящая. Зима старости и одиночества. Снаружи градусник показывает 36,6. Внутри стынь. Взгляд замороженный, безразличный, почти мертвый...

И вдруг что-то живое и горячее прикасается к твоей щеке. Что такое? Поцелуй ребенка? Да это же твой внук. И горит след родного прикосновения, разжигает костер, согревает сердце.

Откуда же прилетела эта искорка любви и сочувствия? Из прошлого. Бумеранг из нас самих.

Сидят у подъезда на лавочке старики и старухи. Замедленные движения. Негромкий разговор. Кожа в морщинах, на руках, на лице. Слово. обвисшие паруса без ветра. Штиль. Приближение последнего события...

И вот он, уход. На кладбище столпились скорбные кресты. Последний, прощальный Поцелуй уже неживому, холодному телу.

Глухие удары комьев земли о гроб. Все темнее, глуше...

Неужели конец?!

Ничего подобного! Поцелуй вечен и прыгуч. Да, да, он умеет перепрыгивать даже через могилы... В детей, внуков, правнуков... И дальше, дальше...

Вариант «ОТРАВЛЕННАЯ ПЕШКА»

Из СЕРИИ «ЧАСОВЩИК»



В возрасте шестидесяти четырех лет оставил свой клетчатый мир какой-то гроссмейстер, и где-то в курзале имело быть умилительное публичное проигрывание последней, навсегда им отложенной партии.

Саша СОКОЛОВ

Случилось так, что приятели юности не виделись много лет, а встретились на шахматном турнире. Один — ну, скажем, мистер Найт — стал к тому времени сочинителем де-

тективов, другой — назовем его просто: мистер Часовщик, совершенно верно — часовщиком.

— Друг мой, Найт! — вопрошал Часовщик после непрерывных объятий. — Я здесь по долгу службы, отвечаю за исправность шахматных часов, а что привело сюда вас?

Межконтинентальный турнир всех звезд, с неслыханным доселе призовым фондом — около миллиона денег проходил в пятизвездочном мотеле «Мартель». Со старта и по последний тур сочувствием местной публики безраздельно владел ее молодой кумир по имени, к примеру, Поун, в недавнее время хорем ворвавшийся в мировую шахматную элиту. Он вел яркую борьбу с признанным лидером сезона, маэстро — пусть будет Куином — и перед заключительным днем отставал от того на пол-очка. Однако Куин уже закончил все свои поединки и в последнем оставшем туре был от игры свободен, тогда как юному Поуну противостоял еще старик — почему бы не Бишоп: основательный, тяжеловесный мамонт, славный непробиваемой защитой; тем не менее мало кто сомневался в том, что волевой Поун раздавит его своими белыми.

— Профессиональный интерес, — ответил Найт на вопрос своего вновь обретенного приятеля. — Я криминальный новеллист, а детектив и шахматы — суть вещи одной природы; полагаю, вы со мной согласитесь, ведь, помнится, вы сами были изрядным шахматистом.

Найт и Часовщик сидели в третьем ряду затемненного игрового зала, кидая машинальные взоры на долгий ряд демонстрационных досок, везде отражавших, впрочем, лишь исходное положение фигур: до начала тура оставалось еще около четверти часа.

— Истинный детектив, равно как и классические шахматы, — продолжал Найт, — суть занятия для людей тонкой интеллектуальной организации. Эти люди получают удовольствие от замысловатости сюжета — новеллы ли, партии ли — большее, чем, собственно, от развязки — кто кого убил или кто кому поставил мат. Подобно шахматам, детектив апеллирует к разуму, а не сердцу, он силен своей логикой, и чем сложнее система доказательств, тем полнее удовлетворение чтением или игрой. Без сомнения, детектив можно так же назвать гимнастикой ума, как квалифицировал когда-то шахматы один известный гимнаст.

В зале тем временем объявился высокий лысоватый Куин, он легко взбежал на сцену, поручкался с судьей турнира, почти величественно продефилировал вдоль столов, как полководец вдоль парадного строя, и вновь спустился в зал. Всем видом своим Куин тщился излучать добродушную убогость, но неподвижные темные глаза сразу выдавали

знобящее нутряное напряжение; почти физически ощущалось, сколь невыносима для Куина роль бессильного наблюдателя за тем, как некий ражий молодец отберет, вполне возможно, его законную победу.

— С другой стороны, — продолжал Найт, — интеллектуальная игра требует непременно установления общих правил, то есть никакая логическая поступь невозможна, пока не будет достигнуто согласие соперников — в случае шахмат, либо автора и читателя — в случае детектива, относительно исходных данных. К примеру, выявление в детективе преступника с помощью какого-либо спиритического сеанса или иной ворожбы, без сомнения, является обманом настроенного на материальную развязку читателя, а значит, и нарушением правил игры, что обесценивает всю, пусть даже безупречную, предварительную цепь рассуждений, точно так же, как если бы шахматист, в результате хитрой комбинации доведший пешку до восьмой горизонтали, превратил ее во второго короля.

По рядам прошелестел взволнованный выдох: на сцене появился Поун. Он был, как всегда, сдержан и невозмутим; мимолетно улыбнулся залу углами тонких губ, ровной походкой подошел к своему столу и, сев за него очень твердо и прямо, принялся деловито поправлять фигуры обеими руками. Затем вытащил платок, небрежно обмахнулся, быстро обер высокий бледный лоб и снова ощущал покосившиеся фигуры. Соперник Поуна запаздывал.

— Прямым следствием твердого установления правил игры, — продолжал Найт, — является общая замкнутость структуры, отличающая как детектив, так и шахматы. У каждого предмета в детективе — одно-единственное значение, сюжет не допускает смысловых колебаний, вывод естественно и неизбежно вытекает из посылок, причем всегда единственно возможен. Если авторское «только так, а не иначе» теряет в глазах читателя свою непреложность, с ним пропадает и искомый эффект детективного произведения. То же и в шахматах: разве не лишается для нас львиной доли очарования эффектный фейерверк жертв, через пятнадцать ходов форсированно приводящий к выигранному окончанию с лишней пешкой, если мы видим, что альтернативой ему служил простой мат в два хода?

Ударил гонг, возвестивший о начале; судья, продвигаясь вдоль столов, запускал часы белых. Поуну следовало бы сделать первый ход, но он не замечал этого, неотрывно глядя в сторону дальней кулисы, откуда только теперь выступил грузный и мрачный Бишоп. Зал встретил его вмиг погробовевшим молчанием; одышливо кряхтя и переваливаясь поутину, Бишоп доковылял до своей доски, мешковато плюхнулся на стул и воинственно простер короткую руку к сопернику. Поун безразлично пожал его толстые пальцы и, секунду помедлив, двинул вперед центральную пешку, затем изящно ударил по кнопке часов.

— Эти, помнится, отставали, — озабоченно хмыкнул себе под нос Часовщик, — надо бы сверить. — Он полез было в шестилетний карман, но тут демонстратор воспроизвел на большой доске сделанный ход, и зал ахнул. Впервые за турнир Поун отказался от своего всегдашнего начала королевской пешкой, предпочтя выступить ферзевой.

— Он сошел с ума, — пробормотал Часовщик, — сейчас

старик отстроит свою неизменную тяготящую новинку, где его не прошибить. Видите ли, друг мой, — это Часовщик обратился уже к своему собеседнику, — я, конечно, не могу считать себя основательным знатоком детектива, но, мне кажется, вы упускаете из виду вот что. Никто не требует от шахматного короля реальной влюбленности в свою венценосную супругу, никто не приписывает деревянным фигуркам подлинных человеческих страстей; тогда как персонажи детектива — суть, хотя и воображаемые, но все же люди, и мы вправе ожидать от них по меньшей мере подобия человекообразности. Не обедняем ли мы детективную, но все же литературу, низводя ее до уровня искусной, но все же игры в маленькие деревянные куколки?

Своим первым делом Бишоп выставил вперед королевского коня, и на пятом ходу позиция действительно приняла очертания классического варианта новиндской защиты с характерным диагональным противостоянием белопольных слонов, зрящих друг на друга сквозь бойницы пешечных крепостей, что на языке шахматистов носит красивое наименование «фианкетто».

— Вы в чем-то правы, — отвечал Найт, — но в целом мне трудно с вами согласиться. Детектив требует тайны. Если тайна доминирует — да, человекообразие разрушается и новеллистическое начало деградирует. А если тайна никого не может поставить в тупик, детектив напрочь утрачивает магическую притягательность и, я бы сказал, свой специфический флер. Да, сочинитель детективов — поистине раздвоенная личность. Преступление всегда представит ему в двух трудноразрешимых ипостасях: как произведение, рождающее вопросы: кто? каким образом? — и как деяние, где главные вопросы: почему? что заставило? Но детектив не может одновременно и с одинаковым успехом заниматься и преступлением, и преступником. Либо преступление заслоняет своего свершителя — вот это и есть детектив, как я его понимаю, либо преступник заслоняет свое деяние — оставим же это психологическому роману. Немыслимо играть сразу две партии на одной доске. Да, никто не требует от шахматного короля подлинной страсти к, простите, ферзю, но никто не требует от него также того, чтобы по доске он ходил, как ферзь. Детектив есть детектив. Будем же судить его по тем правилам игры, о которых говорилось выше.

Пятым своим ходом Бишоп осторожно вывел королевского слона, установив того непосредственно перед королем; предполагалось, впрочем, что Его величество вскоре покинет свое место, и действительно, соперники синхронно рокировали.

— Не станете ли вы утверждать, — спросил приятеля Часовщик, — что неестественность коллизий и, я не побоюсь слова, ходульность образов — суть особенности, органически присущие детективу? Ведь по тем же самым правилам игры, о которых вы столь убедительно рассуждали, обещанное автором объяснение загадки должно быть не только механически выверено, но и хоть сколько-нибудь правдоподобно, иначе оно превращается в голословное утверждение, а читатель лишается того интеллектуального удовлетворения, на которое рассчитывал.

Седьмым ходом Поун развил ферзевого коня, Бишоп же немедленно двинул вперед королевского, который, таким образом, перемкнул демаркационную линию и атаковал своего только лишь вступившего в игру сородича, предлагая взаимное истребление.

— Правдоподобно?! — воскликнул Найт. — Вы сказали «правдоподобно»? Да сие словечко, если уж на то пошло, менее, чем какое-либо иное, подходит для осуждения детектива! Да вся наша любовь к детективу в изрядной мере жижется как раз на любви к неправдоподобному! Вы рассуждаете как шахматист-игрок, отрицающий искусство шахматного этюда на том основании, что расположение фигур здесь выглядит подчас весьма неправдоподобно для практической партии.

— Однако и в этюде существует понятие легальности, — возразил Часовщик, — что означает необходимость хотя бы формальной выводимости данного расположения фигур из

исходного, то есть того, что мы видим на доске пред началом практической партии.

— Вот именно! — утвердил Найт. — Именно «формальной»! Точно так же обстоит дело и в детективе. Автор убеждает нас, что некие события, сколь бы неправдоподобно они ни выглядели, все же могли иметь место в действительности согласно формальной логике, и этого достаточно вполне.

Поун не стал брать выдвинутого черного коня, а прикрыл ферзем с тыла своего — это, впрочем, теорией также не возбранялось.

— Кстати, — продолжал Найт, — желаете немедленно убедиться в том, что детектив и шахматы смыкаются подчас самым неожиданным образом? Видите вон того усатого господина, что прислонился к стене у входа?

— О да, — ответил Часовщик, приглядевшись, — я заметил его еще раньше. Сегодня, когда я, входя, сунул руку в жилетный карман, он пристально посмотрел на меня, а когда я достал часы — отвернулся.

— Отлично. Подойдите к нему и как бы между прочим спросите, не пора ли, по его мнению, Поуну рокировать.

— Помилуйте, друг мой, — удивился Часовщик, — да ведь Поун уже рокировал!

— Вот именно. Подите, подите, спросите.

Бишоп снял своим конем коня белых, Часовщик вернулся через минуту.

— Ну, что он ответил? — нетерпеливо спросил Найт.

— Он сказал, что, по его мнению, Поун непременно сделает это в одном из ближайших заходов... Кто это, друг мой?

— Я так и думал! — хохотнул Найт. — Это мой знакомый из федеральной полиции, зовут его — если не ошибаюсь — Кэстл; он консультировал меня как-то раз по поводу одной из моих новелл. В шахматах он понимает так же, как вы в криминалистике, а тут, полагаю, на него возложена миссия оберегать участников турнира от нежелательных эксцессов. Как видите, куда ни кинь — детектив и шахматы идут бок о бок!

Зал ахнул вновь: вместо того чтобы побить черного коня ферзем, Поун вдруг бросил вперед другого своего коня, недвусмысленно угрожая королю соперника матом в один ход.

— Наверное, вы правы, мой друг, — примирительно заключил Часовщик, не сводя глаз с позиции, — тем более что сам разговор наш происходит на страницах детектива, и ни к чему делать вид, будто это не так...

Возможно, Найт и хотел бы что-то возразить, но не успел, ибо со стороны сцены отчетливо послышался вдруг леденящий душу придавленный хрип. Бишоп замер, навалившись на стол грудью и занеся над доской сжатый кулак; одутловатое лицо на глазах обретало багровый, а следом фиолетовый тон; затем все тучное тело разогнулось с несвойственной ему судорожной силой и тяжело рухнуло навзничь вместе со стулом.

На мгновение воцарилась потрясенная тишина. Найт перескочил через подлокотник и опометью ринулся к сцене, где спустя секунды уже началось столпотворение; усатый Кэстл отскочил от дверного косяка и, коротко свистнув, как показалось Часовщику, в перстень на среднем пальце, исчез в давке.

Так случилось, что приятели юности сначала встретились через много лет, а затем — еще немного часов спустя — в притихшем баре мотеля «Мартель».

Мертвое тело уже увезли для вскрытия, прерванные партии были через час возобновлены, однако продолжались весьма недолго, словно шахматистов так и тянуло поскорее покинуть сцену. Куина во время доигрывания в зале не было, и никто не заметил, когда он ушел.

— Это просто кошмар, — говорил Часовщик, — все, конечно, знали, что у старика большое сердце, но он именно сегодня казался таким бодрым! Разве повернется язык назвать эту смерть «естественной»?

— И правильно, не повернется, — хмуро отвечал Найт, — глотая безвкусный «петушинный хвост».

— Кстати, что за кулек вы передали своему усатому знакомцу из полиции? — спросил Часовщик.

— А, вы заметили? — усмехнулся Найт. — Кулек был моим платком, а содержимое его было зажато в мертвой руке бедняги Бишопа и извлечено мною с помощью того платка.

— Что же это было, друг мой?

— Это была, — промолвил Найт, — на вид вполне обыкновенная белая пешка.

Приятели помолчали с минуту.

— Смерть через посредство шахматной фигуры... — задумчиво проронил Часовщик. — Прием, кажется, не новый для детективной литературы?

— Да, это было уже у старушки Агаты, — кивнул Найт, — однако, насколько мне помнится, там это был удар током, что требовало чрезвычайно сложных технических приготовлений. Немыслимо допустить, что при нынешнем уровне охранных мероприятий такое могло сойти незамеченным. Во всяком случае, завтра я зайду за платком в полицию.

— Мне боязно произносить это вслух, — проговорил Часовщик, наклоняясь к приятелю, — но стоит только задаться древним, как мир, юридическим вопросом «*cuī prodest*», как придется признать, что если смерть несчастного Бишопа и припала кому-то ко двору, то... — Он так и не решился договорить.

— Быть может, я и согласился бы с вами, — отвечал Найт, — если бы пешка была черной.

Он вдруг задумался на секунду и резко поднялся из-за стола.

— Завтра здесь же, — бросил он Часовщику, уже выбегая вон.

Случилось еще так, что приятели юности встретились много лет и еще сутки спустя там же, где спустя много лет и немного часов.

Ввиду невозможности для черных продолжать партию Поун — Бишоп победителем оной, а следовательно, и всего турнира был уже объявлен Поун.

— Мне помнится, — сказав конячку, начал Найт, — в одном из шахматных дебютов есть вариант «отравленная пешка». А вы немного представляете себе, что такое контрцианид Фалькбеера-Кизерицкого?

— Признаться, не вполне, — отвечал Часовщик.

— А я, признаться, вовсе не имею об этом понятия, но Кэстл уверяет, что всего одна кака-нибудь милликанля этой штуки может мгновенно прикончить любого, а старику Бишопу с его хворым сердцем хватило бы и половины.

— Значит, все-таки пешка... — пробормотал Часовщик.

— Именно. Вот смотрите: в головке ее, — для иллюстрации Найт воспользовался рюмкой, — замаскированы три тончайшие, в разные стороны торчащие, глазу почти незаметные, однако вполне отравленные иглы; в шейке — своего рода спусковой механизм; что же касается донца — оно чуть выпукло, однако легко вдавливаясь даже под ничтожным весом самой пешки, от чего срабатывает этот вышеотмеченный механизм, и из вышеозначенной головки на какую-нибудь милличутьточку вытарчиваются вышеупомянутые иглы. Таким образом, находясь у кого-либо в руках, сия белая пешка вполне безобидна, но стоит, аккуратно и держась, разумеется, за шейку, опустить ее на ровную поверхность, как, — Найт поставил рюмку на стол, — она обращается в «черную вдову».

— Вы многое вывели, — отметил Часовщик.

— Я же оказал неоценимую помощь следствию, — самодовольно улыбнулся Найт, — передав полиции орудие преступления. Кэстл был со мной откровенен. И это еще далеко не все. В первую минуту я, подобно вам, решил, что смерть старика была бы выгодна только Поуну, но затем подумал: а почему, собственно, пешка оказалась белой? И меня осенило. Вспомните партию, какая это могла быть пешка?

— Что значит какая? — удивился Часовщик. — Вы же сами сказали: белая.

— Верно, белая, но какая белая, какая?

— Вы имеете в виду, что королевская? — догадался Часовщик.

— Вот! — торжествующе воскликнул Найт. — А теперь

вспомните, какой пешкой Поун обычно начинает партии, и сделайте вывод сами.

— Уж не хотите ли вы сказать, — задыхнулся Часовщик, — что яд предназначался Поуну?

— Хочу, — подтвердил Найт, — и Поун только потому остался жив, что, к своему счастью, предпочел на сей раз иной дебют. В противном случае вместо е два — е четыре он пошел бы, извините за неуместный каламбур, е два — е два.

— Так значит, — продолжал Часовщик, — старик Бишоп стал жертвой преступления лишь потому, что побил белую королевскую пешку на девятом ходу?

— Совершенно точно. И вот, когда вы помянули свое допотопное «кому выгодно», меня осенило вторично. Я, как вы помните, спешно вас покинул и устремился на поиски судьи соревнований. Судьи не нашел, зато наткнулся на одного субъекта вроде вас — из обслуживающего персонала, кому и задал свой вопрос: не пропадали ли в последние дни с досок какие-либо фигуры? Мне повезло: субъект сразу припомнил, что действительно, собирая фигуры по окончании предпоследнего тура, он недосчитался одной белой пешки, чему, впрочем, не придал особого значения. Тогда я задал другой вопрос: а не запомнил ли он, с какого именно стола пропала пешка? Мне повезло вторично: субъект помнил, и далее вашему покорному слуге уже не составило труда вычислить, что за искомым столом играл в тот вечер Куин. Улавливаете, что сие означает?

— Погодите, — возразил Часовщик, — если, по вашему разумению, Куин замыслил убийство Поуна и решил подготовить отравленную пешку, зачем же он похитил ее именно со своего стола, этим явно себя выдавая?

— Резонно, — согласился Найт, — однако вспомните, как сыграл Куин в предпоследнем, а для себя, собственно, последнем туре?

— Сейчас, — задумался Часовщик, — нет, я прекрасно помню, он сделал весьма быструю ничью черными, а Поун затем черными же проиграл, вследствие чего отстал на полочка.

— Вот именно. Куин закончил партию первым, поэтому вынужден был, уходя, прихватить пешку со своего стола. Не мог же он увести ее из-под носа у кого-либо, кто еще продолжал играть! Своими соображениями я поделился сегодня с Кэстлом. Он в целом принял их к сведению, но дал понять, что прищучить Куина будет нелегко, если вообще возможно. Куин как-никак иностранец, без веских оснований тронуть его немисливо, а оснований этих пока маловато. Кэстл резонно подметил, что историю с пропажей пешки Куин легко может обернуть в свою пользу: ведь он закончил партию первым, следовательно, с его пустующего стола мог незаметно взять фигуру кто угодно.

— Кто угодно, — задумчиво повторил Часовщик, — вот именно...

— Далее. На пешке нет отпечатков ничьих пальцев, кроме пальцев покойника. И, наконец, самое слабое место в моей версии: если действительно ничто не мешало Куину тайно снять пешку со своего стола, то как удалось ему день спустя так же неприметно подменить пешку на доске Поуна? Он, разумеется, за каким-то бесом вышел на сцену, хотя и не должен был играть; но все же, чтобы проделать такой фокус на виду у полного зала, нужна почти невозможная ловкость рук!

— Совершенно невозможная, — согласился Часовщик, — вы знаете, друг мой, я, кажется, понял, в чем тут дело.

— Вы? — недоверчиво выронил Найт. — И в чем же, по вашему, тут дело?

— Для начала я задам вам один вопрос. Мы оба видели, как Поун перед началом партии энергично, обеими руками, поправлял свои фигуры. Каким же образом он остался жив?

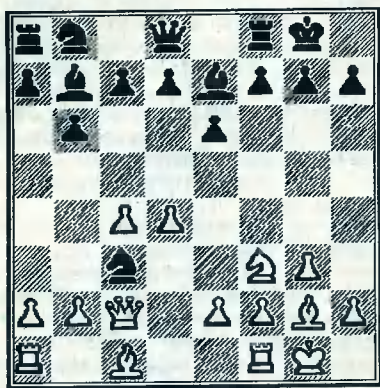
— Ну, вероятно, он не задел по счастливой случайности королевскую пешку, — предположил Найт.

— Еще одна счастливая случайность, — покачал головой Часовщик, — допустим. Но, видите ли, друг мой, наша ошибка мне видится в том, что с самого начала мы увлеклись

чисто детективным аспектом данного происшествия, совершенно позабыв аспект шахматный. Вам, по роду вашей деятельности, ближе, конечно, детектив: и во вчерашних рассуждениях вы касались в основном одного, на примере шахмат лишь подтверждая и развивая свои мысли. Мне же, извините, чуть ближе собственно шахматы.

Часовщик извлек из кармана миниатюрную клетчатую коробку.

— До сего дня, — продолжал он, расставляя фигуры, — я не знал доподлинно, отчего погиб старик Бишоп, но теперь, когда вы это прояснили, я, кажется, разрешил загадку, что мучила меня весь день минувший. Почему так странно играл вчера Поун? Зная о том, что Бишоп славен упорной защитой, особенно в закрытых дебютах, он все же отказывается от своего в прямом смысле коронного первого хода и начинает ферзевой пешкой. Так обычно поступают шахматисты, ведая, что за вариант будет разыгрывать партнер, и готовя ему сюрприз. Но смотрите, как играет Поун, вот позиция после восьми ходов:



Бишоп только что побил конем ферзевого коня белых, но вместо того, чтобы спокойно отыграть его ферзем, Поун вдруг делает выпад конем королевским, угрожая дать противнику незамедлительный мат. Может померещиться, что черные принуждены забрать нахального коня, а тогда белопольный слон белых бьет по диагонали своего визави, и в результате разменов белые имеют лишнее качество. Но все это только видимость. На самом деле черные не берут белого коня, а своим, увязшим во вражеском стане и, очевидно, обреченным конем бьют королевскую пешку с шахом. Белые должны снять коня ферзем, снимая тем самым с черных также и угрозу мата, а тогда черные спокойно меняются белопольными слонами, после чего им остается только съесть последнего коня белых и получить лишнюю фигуру. И вот я спрашиваю себя, как спрашивал вчера: мог ли шахматист уровня Поуна не видеть столь очевидного опровержения? Да только двух его необъяснимых ходов — первого и девятого — достаточно, чтобы сделать из всей этой истории один неумолимый вывод.

— Какой же? — нетерпеливо спросил Найт.

— Поун знал о том, что его королевская пешка отравлена.

— Поймите, поймите, — запротестовал Найт, — ваш вывод неоснователен. Ну, например, даже если допустить, что Поун знал об этом, зачем ему было делать необъяснимый, как вы говорите, первый ход? Что мешало ему, по обыкновению, двинуть вперед королевскую пешку, касаясь только не темечка, а основания ее?

— Взгляните на доску и вы поймете, что, — ответил Часовщик, — за этой пешкой в начале партии стоит король — самая высокая фигура, и взявшись за королевскую пешку можно только через его макушку, то есть сверху.

— Да откуда, откуда Поун знал, что пешка отравлена? — спросил Найт.

— Он сам отравил ее, — твердо ответил Часовщик.

— Сам отравил свою же пешку?! — вскричал Найт и испуганно оглянулся.

— Ну, может быть, не сам своими руками, — уточнил Часовщик, — в таком случае он заказал это устройство сообщнику, какому-нибудь мистеру Кингу. Ничего особенного: я бы мог смастерить такое за пару часов. — Найт молчал, потрясенный.

— Всем нам казалось, — продолжал Часовщик, — что Поун неколебимо уверен в собственных силах, даже главный его конкурент, судя по вялой ничьей в последней своей партии, смирился со вторым местом, однако, проиграв вдруг на финише, Поун испугался, что упустит столь близкую уже удачу, и решился на злодейство... Мы, друг мой, оба видели, как Поун доставал платок, отирал невидимый пот со лба и тут же поправлял якобы косо стоящие фигуры. Здесь уже не нужно немыслимой ловкости рук: вместе с платком Поун достал отравленную пешку, опять же под прикрытием платка убрал другой рукой пешку обычную и поставил на ее место свою.

— Стоп, — перебил Найт, — как Поун мог поставить на доску свою пешку, не получив смертельного укола?

— Например, так. — Часовщик чуть приподнял над столом рюмку и разжал пальцы; скупо звякнув, рюмка утвердилось донцем на полированной поверхности. — С пешкой это проделать еще легче, она более устойчива, — добавил Часовщик.

— Но откуда Поун знал, что Бишоп возьмет его королевскую пешку? — все еще не соглашался Найт.

— Он сам спровоцировал Бишоп на это, умышленно сделав проигрывающий девятый ход, — уверенно утвердил Часовщик. — Видите ли, друг мой, шахматисты профессионально проницательны и хорошо изучили повадки друг друга. Поун знал, что Бишоп при возможности непременно играет основной вариант новоиндийской защиты, в котором съел собаку, и уж, конечно, не упустит наказать соперника за явную оплошность.

— Все-таки большой риск, — с сомнением в голосе промолвил Найт.

— Не больший, чем просто поставить проклятую пешку на стол, — возразил Часовщик, — в самом крайнем случае Поун мог бы разок пойти и ею, нужно было только сперва рокировать, то есть убрать, короля — а он сделал это уже на шестом ходу — и потом, по вашему же рецепту, аккуратно двинуть пешку, касаясь только подошвы.

— Шахматы, — продолжал Часовщик после паузы, — так же, как и детектив, учат считать на несколько ходов вперед. Поун совершенно точно рассчитал нашу с вами, дорогой друг, последовательность мыслей: первый ход — кому выгодно? — второй — Поун-убийца! — третий — но пешка белая! — и мы покорно ушли с истинного пути в сторону. Ведь правда, ну кто поверит, что преступник, задумав злодеяние, кладет яд не в бокал жертвы, а в свой собственный?

— Никто, — мрачно подтвердил Найт, — никто. Может быть, все и обстоит именно так, как вы сейчас предположили, но этому действительно никто не поверит. У вас нет и не предвидится ни малейших доказательств. Как ни печально, но, боюсь, в глазах людских бедолага Бишоп навсегда останется жертвой сердечного припадка.

— Но мы знаем его убийцу, — напомнил Часовщик.

— Если он даже и убийца, — вздохнул Найт, — то он уже не только убийца, но и миллионщик. А также любимец публики. Конечно, я сегодня же ознакомлю Кэстля с вашей интересной версией, но, думаю, он ответит то же, что и я вам сейчас.

Часовщик допил коньяк, поднялся и направился к выходу. Уже в дверях он обернулся и сказал громко, так что его слова слышали все посетители бара:

— А вот это, господин Найт, и есть то самое, что вы изволили называть нарушением правил игры; как если бы шахматист, вовсе не двигая пешку, превратил ее в короля!

И случилось так, что приятели юности расстались еще на много лет.

Для сугубых любителей шахмат здесь приводится полный текст неоконченной партии Поун — Бишоп: 1. d4 Kf6 2. e4 e6 3. Kf3 b6. 4. g3 Cb7 5. Cg2 Ce7 6. 0-0 0-0 7. Kc3 Ke4 8. Фc2 K:c3 9. Kg5 K:e2+...



Константин МЕЛИХАН ВОЕННЫЙ МИР

Расскажите это своей бабушке.

Русская поговорка.

*Расскажите это солдатам
морской пехоты.*

Английская поговорка.

Я служил в ракетных войсках. Ракеты были с ядерными боеголовками. Местные жители называли их «болеголовками». Вероятно, потому, что имели от этого головную боль.

В лесу, где стояла наша дивизия, было полно грибов. Причем все белые. И рыжики, и мухоморы, и красные, и черноголовики — все белого цвета.

И это понятно: радиационный фон в лесу превышал допустимое количество рентген.

Но местных жителей это не смущало, потому что грибы они не ели. А только собирали. Смущало это покупателей на рынке.

— А они не заразные? — спрашивал какой-нибудь хитрый покупатель у старухи-грибницы.

— Откуда? — говорила старуха и разрезала гриб ножом. — Вишь? Ничего нет! Ни одного рейгана.

Если же покупатель продолжал сомневаться, нет ли в грибах какой другой химии или физики, ему объясняли:

— А если и есть. Так что? Ты их кушай в противогазе.

В армии считается, что главное на войне — это аккуратно пришитый подворотничок и умение ходить строем. Блеск уша в армии заменяют на блеск сапог. И, что интересно, сапоги чистят почему-то перед едой. Солдат занят своим внешним видом больше, чем голливудская кинозвезда. Он все время что-то чистит, стирает, подметает, смазывает, скребет, надраивает, моет и моется сам. Такое чувство, что солдат все время готовится не к нападению противника, а к свиданию с девушкой.

И это действительно так. Я даже знаю имена этих девушек. Их зовут: Поверка, Проверка, Тревога, Патруль и Инспекция.

Да! Инспекция — это девушка: она никогда не появляется вовремя,

причем в то время, которое сама же и назначила. Но ждешь ее всегда, она снится тебе даже ночью; а как ты готовишься к встрече с ней! — приводишь в порядок свою одежду, аккуратно застилаешь кровать, моешь пол, качаешь мышцу, учишь слова, которые ласкали бы ее слух; а когда, наконец, с ней встречаешься, забываешь все, что должен был ей сказать, мнешься, обливаешься потом, оттого что не знаешь, как она к тебе отнесется, что взбредет ей сейчас в голову и больше всего боишься ее приговора: «Нет, из тебя так и не получился настоящий мужчина!»

Можно представить себе наши чувства, когда мы узнали, что из штаба округа к нам едет инспекция! Инспектировать нас в стрельбе.

Командование полка стало думать, как нам лучше отстреляться.

Перебрали уйму вариантов, вплоть до поголовной дезинтерии, чтобы всякие инспекции нас за версту обходили. И наконец остановились на следующем.

Насыпать перед мишенями гравий. Если пуля-дура промажет, она попадет в гравий, а гравий-молодец отскочит и попадет в мишень!

— А если дура пуля промажет и мимо дурака гравия? — строго спросил командир полка.

— А мы подстрахуемся, — сказали командиру. — Посадим орла-снайпера на дерево.

И вот приезжает инспекция во главе с генералом.

— Кто отстреляется на «отлично», — говорит генерал, — тот получит отпуск на родину с завтрашнего дня.

Начали мы стрелять — и генерал бледнеет. Получается, что с завтрашнего дня в отпуск уйдет весь полк.

Потом генерал багровеет, потому что, видно, что-то смикитил, и говорит:

— А может ли кто-нибудь из вас промазать?

И — надо же! — никто промазать не может. Хотя стараются.

Вдруг один смазал.

— Стоп! — обрадовался генерал. — Посмотрим, действительно ли он смазал.

Идем. Все видят: вокруг мишеней — гравий. Под деревом — снайпер. Кровь — на заднице.

В отпуск мы, конечно, не поехали, но «отлично» получили. За солдатскую смекалку.

Наш полк охранял ракетные точки. Перед заступлением на дежурство начальник караула нас инструктировал:

— Задача охраны. Первое — не допустить проникновения на охраняемый объект посторонних лиц. Второе — если таковые лица проникли на охраняемый объект, не допустить

ими запуска ракеты. Третье — если запуск ракеты ими произведен, расстрелять ракету из автомата.

Что делать, если ракета из автомата не расстреляется, начальник караула не объяснял. Но ясно было всем: застрелиться.

Я все не мог понять, от кого охраняется ракета. Потом я понял: ракета охраняется не столько от врагов, сколько от своих. Чтобы ее не растащили на хозяйственные нужды, сувениры, украшения и просто так: «А чего она без дела стоит?» Потом я понял, ЧТО охраняет вообще армия: она охраняет себя, стоит на страже собственных интересов.

Солдат, несущий охрану, должен владеть не только оружием, но и приемами рукопашного боя.

Занятий по рукопашному бою у нас было не очень много. Точнее — одно. Вел его капитан, владевший приемами как рукопашного боя, так и ногопашного.

Он построил нас в шеренгу и сказал:

— Кто хочет вступить со мной в единоборство?

И тут же не дав нам опомниться, вызвал из строя самого маленького и хилого солдата. Мы его так и звали — Хилый.

Хилой вышел из строя, снял автомат и положил его на землю.

— Бросок через бедро! — объявил капитан и бросил через бедро Хилого.

Хилой поднялся, а капитан обратился к остальным:

— Кто может повторить?

— Я! — сказал солдат по фамилии Доценко. — Только сильно не бросайте.

— Да не я должен бросать, а ты, — объяснил ему капитан.

Доценко взял Хилого за шкуру и бросил. Правда, не через бедро, а через что-то другое.

— Не так, — сказал капитан и бросил Хилого еще раз. — А теперь, — капитан кивнул на Хилого, — представьте, что у него нож.

Хилой весь напрягся.

— Не так держишь нож, — сказал капитан.

Хилой сжал руку в кулак.

Капитан крикнул «Я!» и ударил Хилого ногой по запястью.

— Нож выбит, — сказал капитан.

И тут Хилой, шатаясь, поднимает за дуло автомат и говорит капитану: — А теперь представьте, что у меня в руках ничего нет.

И вмазал капитану прикладом.

Капитан крикнул «Я!» и свалился. Больше рукопашным боем с нами никто не занимался.

Мы иногда сами занимались. Один парень у нас чего-то не поделил с другим из соседнего полка. Пошел туда разбираться.

Через час приползает обратно. Морда — как у колобка к концу до-роги.

— Что с тобой, — говорим, — Валера?

Он сплюнул кровью и говорит:

— Будут знать!

А генерал приезжал к нам еще раз со своей внезапной проверкой, о которой мы знали за месяц.

Подкатывает, значит, генерал к воротам нашей дивизии. А там для него солдат тополя из брандспойта моет.

Увидел генерала — выпустил из рук брандспойт, чтобы честь отдать. А брандспойт как вырвался на свободу, так и окатил генерала.

Генерал ничего не ответил. Сел, обмоченный, обратно в машину и назад уехал.

И больше у нас уже никогда не появлялся.

А наш командир хотел этого поливальщика даже наградить, потому что благодаря ему вся дивизия вышла сухой из воды.

Кстати — о воде. Самые мягкие отношения между командирами и воинами — на флоте. Матрос меньше отличается от морского офицера, чем солдат от офицера сухопутного. Потому что после рабочего дня сухопутный офицер идет домой к жене, а морской — остается на работе с матросом.

Ничто так не сближает людей, как подводная лодка.

В одном ленинградском военноморском училище преподавал капитан первого ранга — настолько мягкий, что если бы он преподавал в другом месте, его бы давно съели. У него для курсантов было только две оценки: «пять» и «пять с плюсом».

И вот какой-то курсант поспорил с товарищами, что получит на экзамене у этого старикана «двойку».

Приходит на экзамен и говорит этому старикану первого ранга:

— Ничего не знаю. Ставьте два.

Тот говорит:

— Как — не знаете? Вы же еще билет не брали!

Курсант берет билет и читает:

— «Пожар на корабле. Ваши действия».

— Ну? — говорит старикан.

Курсант нарочно молчит.

— Ну, что вы будете делать, если на корабле вспыхнет пожар?

— Ничего не буду! — говорит курсант.

— Правильно! — обрадовался старикан. — Главное — не подымать панику.

Еще — несколько замечок:

Командир — как дорожный указатель: показывает всем, куда идти, но сам туда не идет.

В армии все делается быстро, поэтому служба там тянется медленно.

Начальство лучше ни о чем не спрашивать: тебя же заставит и отвечать.

Тяготы военной службы облегчают семейную жизнь. Сказал жене: «Ночные маневры», — и ушел. Поди проверь, с кем он всю ночь маневрировал.

Марш-бросок — это бег в каске, противогазе, с автоматом, вещмешком и шинелью за спиной, когда хочется все это бросить. Чем выше звание, тем легче переносится марш-бросок. Лейтенант бежит с пистолетом. Майор едет в автомобиле. Полковник наблюдает в бинокль. Генерал проводит пальцем по карте.

Помню, во время одного марш-броска какой-то солдат настолько вырвался вперед, что его чуть не обвинили в дезертирстве.

Страшней марш-броска, наверно, только заплыв в каске, противогазе, с автоматом, вещмешком и шинелью за спиной.

Как-то такой заплыв провели не то корейцы, не то вьетнамцы. Когда солдата, который первым доплыл до противоположного берега, спросили: «Самыми тяжелыми, вероятно, были последние метры?» — он ответил: «Наоборот, последние метры были самыми легкими, потому что никто уже не мешал из остальных семисот участников заплыва».

В армии юноши становятся мужчинами, а девушки — женщинами.

Одна дама говорила:

— Военных ни о чем нельзя попросить. Им надо просто приказывать.

Генерал читает речь:

— Идут солдаты-кобели... Простите... Идут солдаты к обелиску славы!

Военный портной мне объяснял: «У военных должно быть две формы: для праздников — парадный мундир, а для отступлений — драповое пальто».

Санкт-Петербург *Рисунок В. Пескова*



АВТОМОБИЛИСТЫ - БЕРЕГИТЕ РЕЗИНУ!

Предлагается устройство

для контроля и

регулировки

схода-развала колес

автомобилей

ВАЗ, Волга, Москвич, ЗАЗ

Доступно любителям

Оптовым покупателям

существенные скидки

Слуховые аппараты

заушного типа

фирмы "ОТИКОН"

(Дания)

Высокая эффективность,

коррекция слуха,

надежность

Гарантийное

обслуживание

Оптом и в розницу

Уникальные светящиеся в

темноте изделия, краски,

композиции, материалы,

изготовленные с помощью

экологически безопасных

люминофоров длительного

свечения, предлагает

фирма

"ЛЮМИН"

Возможно использование в

быту

Худейте на здоровье!

Предлагается

американский продукт

диетического питания,

способствующий

выведению шлаков,

снижению холестерина,

омоложению кожи

Контактные телефоны

по всем рекламам:

(095) 251-27-29,

453-47-25



КОНКУРС НА МОЙ АВТОПОРТРЕТ

Как я и обещал в № 1 «Юности» за прошлый год, на наших Задворках бурно начался объявленный конкурс на мой автопортрет. В жюри вошли лучшие художественные силы из Академий художеств самых разных стран. Выдающиеся мастера оживленно спорили о качестве присылаемых работ, о сходстве автопортретов с оригиналом. Чтобы лучше понять мой характер и мои особенности и сопоставить вышеупомянутое, меня неоднократно приглашали, и я не преминул воспользоваться... Из поездок мне особенно запомнились Гавайские острова, где обитают очень красивые дамы и где самый комфортный климат на земном шаре. А также — Париж, Рим, Токио... Ах, какие замечательные там пальмы, то есть нет, что это я, пинии, пинии! А также апельсины, магазины, синьоры и синьори-

ты, мадам и мусью... Но, конечно, как всякий настоящий поэт-патриот, я очень скучал, тосковал, даже ностальгировал по моим родным индустриальным Мытищам! И писал об этом проникновенные строки и мемуары:

В Париже изнуриет скукотища.
Отдам полцарства за свои Мытищи!

Выразил также и свое любовное отношение к подмосковному Нахабину, предоставившему мне свежий псевдоним:

Я по дороге Аппия (под Римом) шел
с тоской:

Одни колдобины на ией,
Одни ухабины!

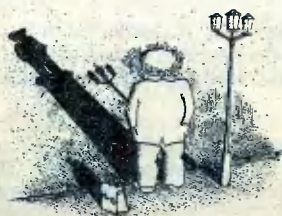
Совсем другое дело — под Москвой
Гулять по улочкам любезного
Нахабина.

Можете, конечно, не соглашаться, однако такова особенность моей музыки, таков настрой моей лиры.

Но вернемся к конкурсу. Группа академиков, просмотрев большое количество автопортретов, остановилась на двух, принадлежащих перу (я не ошибся — перу!) московского художника Петра Янданэ. Я вполне солидарен с выдающимися знатоками. Скажу больше и тоже в стихах:

Очень-очень приглянулся мне
Стиль монументальный Янданэ.

Поэтому — публикую!
Прикол НАХАБИН (псевдоним)



Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации России
Регистрационный номер 112

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность»

Художественный редактор Юрий ПЕТЕЛИН
Технический редактор Людмила ГУДКОВА
Фотограф номера Леонид ШИМАНОВИЧ

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна
К сведениям уважаемых авторов: Редакция не рецензирует рукописи и не возвращает,
а также не вступает в переписку

Принимаются к рассмотрению первые машинописные экземпляры рукописей

Авторы ответственны за точность цифр и дат и достоверность фактов

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах

обращаться в издательство «Пресса» по адресу:
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Формат 84×108 1/4. Тираж 53900 экз. Заказ № 1036

Адрес редакции: 101524, Москва, К-6, ГСП, ул. 1-я Тверская-Ямская, 2/1.

Телефон для справок: (095) 251-31-22 Отдел рекламы: 251-05-06

Телефон корпункта по Уралу и Сибири: (342) 25-98-80 (г. Пермь)

© «ЮНОСТЬ», 1994 г.

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ	
Светлый истер в ночь	
Рождества	4
Дмитрий РАХМАНОВ	
Художник и маски. Повесть.	11
Лев ЛЮБИМОВ	
Тайна императора Александра I.	
Историческое повествование (предисловие Владислава ХОДАСЕВИЧА)	36

ДОМ ПОЭТОВ

Юлия СКОРОДУМОВА	2
Алексей БЕРДНИКОВ	3
Герман ГЕЦЕВИЧ.	33
Милена БОГДАНОВА.	34
Евгения ТИТУНОВА.	34
Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ.	34
Андрей ИППОЛИТОВ.	34
Всеволод КОНСТАНТИНОВ.	34
Мария БЛИНКИНА.	35
Максим ГЛИКИН.	35
Александр КРЫЛАСОВ.	35
Алена ЧУБАРОВА.	35
Алексей ТИМАТКОВ.	35
Александр ВАЙНШТЕЙН.	35
Задорки Дома поэтов	96

ПУБЛИЦИСТИКА

Русская провинция	
Стихотворение Анны БЕРДИЧЕВСКОЙ. Надежда ГАШЕВА.	
Тень кружки. Сергей НОХРИН.	
Исход.	27
Виктор ЛИПАТОВ	
Звезда Гольбеина.	64
Тамара ЖИРМУНСКАЯ	
Библия и русская поэзия.	66
Адель АЛЕКСЕЕВА	
Семь портретов	
на фоне времени.	68
Клуб	
«Двенадцать миллионов».	72
Владимир ТОКАРЕВ	
По следу Хаджи-Мурата.	73
Александр КОРМАШОВ	
О Буренкином счастье иемного	
стать человеком.	78
Алексей ГОМАЗКОВ	
Вариант «Отравленная пешка». .	90

20-я КОМНАТА	83
--------------------	----

ЖУРНАЛЬЧИК.	81
------------------	----

ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

Константин МЕЛИХАН	
Военный мир	94

Дмитрий АБАЗА г. Москва.

Он склонен недооценивать учебу и переоценивать самость таланта. Впрочем, он отнюдь не самонадеян, но обладает чувством собственного достоинства и уверен в своих силах. Долгое время он писал «сюр» и сознательно оставлял в своих вещах «адреса» всевозможных альянсов. Главные — это Дали и Магритт. И вот теперь все в прошлом, он утверждает себя только через death-реализм, в упрощенном переносе смерть-реализм. Расшифровать это непросто, хотя сам поиск довольно несложен: death-реализм — одно из направлений рок-музыки, тяжелый металл, битые ритмы, низкий тягуче-призрачный зон преисподней. Сейчас молодой художник во власти этой энергии. Отдавая дань современности и признавая ее влияние, он ищет истоки неповторимости своей личности. Абазы и молдаване, поляки и финны мерцают среди предков этому высокому и страстному русскому парню с тягучей размышляющей речью. Оттого он, католик, и похаживал в костел, оттого такое рассудочное присматривание к жизни. Его поколению, полагает Абаза, дан шанс — каждому хоть в чем-то проявить себя, правда, одновременно он замечает, что поколение абсолютно лишено идеалов: для многих его более молодых знакомых продажа «Сникерса» в торговой палатке — предел мечтаний. Но у Абазы идеал есть — это искрометный Рубенс, художник, который столь легко и неистощимо живописал свои мечтания на рубеже XVII века... Картины, чьи репродукции мы воспроизводим сегодня, — это собственно ранний Абаза, поклонник самодовлеющей формы и пространства, любящий и понимающий изящное как абсолют. Это Абаза, представляющий окружающий мир окружающим. Пугающие и загадочные покрывала, обрисовывающие некие фигуры. Эти покрывала преследуют художника, словно обязанность перед ним — сохранять их, не допускать, чтобы раскрылись ниспави. Он хочет тайны и исполнителя тайны бытия. И при том стремится показать тайну эффектно, любясь. Потому она возникает как нечто удивительно-небывальное и приманивающее. К тому же все действительно реально. Во всяком случае, для художника. Одну из картин он так и называет: «Плюралистический реализм». Это диптих. Справа — загадка в покрывале, почти привидение на фоне замка-руины; слева — совершенно заурядный пейзаж. «Я мыслю — значит, существую», «я вижу — значит, видение реально», «я воображаю — значит, я проникаю время»...

В. СЕРГЕЕВ



Миграция. Холст, масло, 1990 г.



Демисезонный суицид. Холст, масло, 1991 г.

Дмитрий АБАЗА г. Москва.



Плюралистический реализм. Холст, масло. 1991 г.

Позиция № 69. Холст, масло. 1990 г.

